

Путь памяти

*Томские писатели
о Великой Отечественной войне*



Путь памяти

*Томские писатели
о Великой Отечественной войне*

Томск-2015

ББК 84(2Р)6
П90

Путь памяти. Томские писатели о Великой Отечественной войне — Томск, 2015. — 324 с.

Эта книга — скромный вклад томских писателей к 70-летию Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Это наше поздравление томичам, ветеранам и труженикам тыла с праздником.

Мы благодарим председателя Совета ветеранов Томской области Николая Васильевича Кобелева за помощь в издании книги.

*На обложке — рисунок томского художника
Бориса Перцева*

© Томская писательская организация:
составление, издание, 2015

святая,
 фронтовая.
 Они идут сквозь Время...
 Боже мой,
 Как высоки их головы седые!
 Пока они в строю,
 пока живые,
 Победа остаётся молодой.

Давид Лившиц

* * *

Ты принесла букет лесных гвоздик,
и я, разлукой близкою волнуем,
к твоим губам в последний раз приник
порывистым, горячим поцелуем.

Ты подняла печальные глаза,
отпрянула и что-то прошептала.
Мой друг!
Пройдёт военная гроза,
и мы всё повторим сначала.

Я поцелуй последний сберегу,
грома врага с утроенной отвагой.
Я отомщу заклятому врагу
за то, что взгляд твой затуманен влагой,

за ранние морщинки матерей,
за слёзы, что расплылись на конверте,
за злые вести у дверей,
раскрытых холоду и смерти.

За всё с врагами рассчитаюсь я
в строю бойцов, которым страх неведом.
Прощай...
Прощай, любимая моя,
и верь: с победой я приеду.

Солнце

В последний час перед закатом
оно купалось в облаках
над лесом лапчатым, мохнатым.

И стыли блики на стволах.
И золотился каждый атом
седого снега на ветвях.

Бросался ветер хвоей колкой.
Дрожали веточки осин.
Дуб, устремляясь ввысь, над ёлкой
простёр могучий балдахин.

Как витязь, клён в блестящих латах.
В подвесках ледяных — ольха.
За ними — строй вершин зубчатых,
одетых в белые меха.

И всё тянулось, хорошея,
в пространство, в золотой простор, —
туда, где над моей траншеей
взметнулся огненный костёр.

Руфь Тамирина

Фронтальная ночь

На чёрном небе — ни одной звезды.
Глухи раскаты тяжких дальнбоек,
и скакуном, не знающим узды,
весенний ветер бьётся, беспокоен...
На всех дорогах среди чёрной зги
грузовиков коротконосых стаи
торопятся туда, где, далеки,
разрывы красных молний вырастают.
Уставши от бессонниц, шофера,
чадя нещадно крепким самосадом,
берут атакой каждый буерак
и матерятся изредка с досады.

Так по ночам живёт и дышит фронт:
мотор рокочет в побледневшем небе,
рокочет где-то на земле мотор,
в хлебопекарне пахнет свежим хлебом...
А в час рассвета, дымчатый, сырой,
звезда ракеты сумрак разрывает —
в задуманный командованием срок
идут в атаку на переднем крае.

* * *

В медном марше запели трубы:
солдаты шагают строгим строем,
как будто все как один — герои —
сверкают на солнце в улыбке зубы.
Одним дыханьем колонну колышет
один и тот же чеканный ритм...
А мне всегда, когда марш услышу,
хочется горько заплакать навзрыд...

Михаил Карбышев

Деревянный ковшик

Всё ковыляет деда Вася
Уж сорок с лихом — скок-ковыль!
Одна, увечная, в запасе
Нога гребёт пятою пыль.
Два костыля под мышки вделал,
Да по овражку — на пруды,
Да поскользнулся.
— В душу-у! В деда-а!
Да раз — туды!
Да два — сюды!..
Такие старый вышил коймы,
Так расцветил родную речь!
И дал по Гитлеру обойму,
И по рейхстагу — всю картечь.
А солнце светит!
По дороге
Машины хлеб везут с полей,
А деда Вася,
Скрючив ногу,
Лежит в пыли меж костылей.
Под старость руки поослабли,
Ведь трижды мечен был войной.
Ему и в поле так, и в баню —
Всё на увечной, на одной.
Через жару,
Через морозы
Несут неспешно костыли.
Берёзы,
Русские берёзы
Под мышки намертво вросли.
Толкует внукам дед Василий:

— Уже недолго им служить.
Когда умру,
Со мной в могилу
Их не забудьте положить.

Отец жалел коня...

Семикилометровая дорога,
То в горку, то под горку — на поля.
И каждый день от чёрного порога
Шагала мать.
Отец жалел коня...

Котомка с хлебом, туес с простоквашей,
Да две корзины ломают сгибы рук —
Носила терпеливая Дуняша.
Темно в глазах, в ушах звенящий звук.
Шла от одной зари к другой навстречу,
Из тёмной ночи шла к началу дня.
Ломило ей натруженные плечи,
Но как же быть?
Отец жалел коня.

Придя на ток, стирала с глаз росинки,
Брала ведро и мчалась за водой.
Варила суп под трепетной осинкой,
Чтоб угодить хозяину едой.
Потом снопы пудовые вязала.
Ножами руки резала стерня.
А после в ночь, спеша домой, шагала,
Опять пешком —
Отец жалел коня...

Несла в суме усталость, боль и страхи,
Придя домой, упасть бы на кровать,
Да где уж там?.. Мальчишечьи рубахи,
К корыту встав, стирала ночью мать.

Топила печь, пекла на завтрак хлеба,
Спала часок, не потушив огня.
И, встав с зарёй, молилась молча Богу.
И в поле шла.
Отец жалел коня...

Поводырь

Поэма

Кто воевал,
Кто был на фронте,
Тот положение знавал,
Что не кузнец лихой хозроты,
А бог войны коней ковал.
Уж те подковы круто гнуты,
Прибитые — не оторвать!
И ездовой такой, что:
Ну, ты!
В крест-перекрест,
Да в перемать!
И эти ездки, эти возки
Туда, где смерть,
Туда, где бой.
Кобыла с груженой повозкой
Сновала по передовой.
Летала вмах с походной кухней,
Успеть солдатам — хлеб да соль!
А тут как жажнет,
Тут как ухнет! —
Перед глазами тыща солнц.
И не было на целом свете
Из адской жизни в рай мостов,
Ни лошадиных лазаретов,
Ни перевязочных постов.
И как, бывало, лошадь ранят,
То скорой помощи не жди,

А тут ей в сердце выстрел грянет —
Бери кинжал и режь гужи.
Прости нам, лошадь, грубость нашу,
Полуголодных дней житьё.
Сама везла солдатам кашу,
Да угодила же в неё.
Под свистом пуль освеживали,
Потом, у смерти на краю,
Кой-как сварили и сжевали
Конягу добрую свою.
Однако не всегда так было,
Чтоб раненой скотине пасть:
Убить жеребую кобылу
Ничья рука не поднялась.
Не то что робость охватила,
А понимали люди те,
Что целый мир несла кобыла
В своём упругом животе —
Военный фельдшер из санроты
Ей голову перевязал
И, уходя:
— Живи, пехота! —
Как бы напутственно сказал.
Ей ездовой погладил брюхо,
Крестьянской ласкою лучась.
Ну, что ж, пойдём в роддом, Карюха,
Видать, настал твой бабий час.
Уж счастьем нагуляла тело,
Роди народу скакуна.
Ну, а война — не бабье дело,
Будь она проклята — война!
Не утомлю рассказом долгим,
Всех баек в книгу не сложить.
В деревне маленькой на Волге
С тех пор Карюха стала жить.
Пришла пора рожать Карюхе,
И, чтоб облегчить ей дела,
Во двор к Ивану все старухи

Сбежались со всего села.
А сам Иван на место прибыл,
Когда, шатаясь, ноги врозь,
Стояла дорогая прибыль:
Конёк — как из земли пророс.
Он весь ещё, как дым шатучий,
Качался, серенький, слегка,
И дед Иван на всякий случай
Держал малютку за бока.
С небес огнём стекала алость,
Как по калёному стеклу,
Вокруг стоящие шептались:
— Ну, слава Богу, опросталась,
И нынче можно будет в плуг!
— И на лугу работы вдоволь!
— И возле дома дел гора! —
Старухи-матери и вдовы
Судили так и сяк с утра.
Пришла удача к людям летом,
Как говорится — прибыль в дом!
Всё хорошо, да суть не в этом,
Рассказ тут будет о другом.
Ещё от родов не окрепла,
Иль раны дали всё же знать:
Родив дитя, она ослепла —
Во двор беда: слепая мать!
Ведь только что всё было, было:
Стоял жеребчик у куста.
И не могла понять кобыла,
Что наступила слепота.
Ещё, как в слюдяном оконце,
Из-за туманной пелены
Чуть-чуть просматривалось солнце,
Как отблеск памятной войны.
Ещё она и не старуха,
Зубами грызла удила.
Куда б ни шла теперь Карюха,
Дорогу памятью вела.

Всё время с матерью слепой
Ходил жеребчик постоянно,
Водил её на водопой,
Искал ей травные поляны.
Ему бы взбрыкать через дол,
Ногам ретивым дать работу,
А он неторопливо шёл
И знал сыновнюю заботу.
Кругом глядел во все глаза,
И там, где клевера дымились,
Чтоб ни корова, ни овца
Не забрели: тут мать кормилась!
Так шли они скорей-скорей,
Катился следом гул орудий,
И из зенитных батарей
Зенит расстреливали люди.
И бомбы вдалеке рвались,
Земля испуганно дрожала,
Война, как раненая рысь,
Кровавая землю, вдаль бежала.
Ещё в селеньях стлался дым
От пепелищ, где трубы горлом
Взывали к небесам седым,
А у небес не меньше горя.
И вся земля, полна беды,
Как чаша с горечью, стояла.
В степи у горестной звезды
Жена иль чья-то мать рыдала.
Селилось горе в городах,
На костылях ходило пьяно,
Оно хрипело в поездах
Под визг гармошек и баянов.
Через Урал, через Сибирь,
По городам и стылым сёлам
Возил их поезд-поводырь,
По имени «пятьсот-весёлый».
И было тут со всех сторон
Спешащих, от беды бегущих,

На каждый старенький вагон
По три ведомых и ведущих.
И кто кого водил в тот раз,
О том сегодня не расскажешь.
Был на троих один лишь глаз,
На четверых рука одна лишь.
Но с хлебом для чужого рта,
Ещё в любви не разуверясь,
Жила на свете доброта
И человеческая щедрость.
Приют давала и тепло,
А это всё не так уж мало.
За каждый город и село
Ещё Отчизна воевала.
И сталь её напряжена
В последнем боевом усилье,
И шла победная весна
Уж за пределами России.
И снова в путь по паровозным
Гудкам, по солнышку-теплу,
Шли кони от села к селу,
Так птицы, может быть, по звёздам
Весной к своим летели гнёздам.
Мать знала сердцем, зрила кровью,
Своей неистовой любовью,
Ловила ухом звон окружный,
Душой искала путь, ей нужный.
И день настал, когда знакомый,
Такой духмяный запах трав,
Земли распаханной и дома
Карюхе принесли ветра.
Пока на фронте «воевала»,
Кровавым запахом дыша,
Всегда о доме тосковала
Её животная душа.
И вот она всем сердцем слышит
Знакомый с детства звон полей,
Как вновь кедрач смолисто дышит,

Гортанный возглас журавлей.
Поют холмы, и в вечной дрожи
Осины ропщут не со зла.
Волною трепетной по коже
И у Карюхи дрожь пошла,
И встрепенулось сердце странно,
Когда услышала она
Вдруг голос конюха Гурьяна.
Кричал кому-то старина:
— Гляди, Карюха появилась,
Да с жеребёнком. Ну и ну! —
Ушла-то девкой на войну,
Да там, видать, и окрутилась.
Ах ты, лошадка, мать-солдатка,
С тобою встрече каждый рад.
А конюх тот на шулки падкий,
Сказал, вводя коней в оградку:
— Пришла с войны — и без наград.
А фронтовик беспалый Спирька
С табачным дымом шулку гнал:
— Она, наверно, дезертирка,
Потянут с ней под трибунал.
Народ на шулку не ответил,
Поскольку шулки те пусты,
И лошадиной слепоты
Никто сначала не заметил.
И уж потом, когда слепой
Пришлось идти на водопой,
Увидели, как шла нетвёрдо —
На спину жеребёнку морду.
И весь недлинный путь вот так,
Она от сына ни на шаг.
А справа, слева жизнь кипела,
Но лошадь встала у пруда
И будто бы окаменела.
В себя ли, в даль она глядела,
Иль не глядела никуда?
И по селу, как боль тупая,

Пошла от дома к дому весть:
— Матрёна, лошадь-то слепая!
— Да ну?
— Слепая, вот те крест!
Ты ей взгляни в глаза, Матрёна,
В них нет ни света, ни огней.
А жеребёнок-то — ребёнок,
Он вроде поводырь при ней.
Кончаю сказку ли, рассказ ли,
В них всё едино — наша боль.
Глаза у лошади погасли,
Но ей, бедняге, хлеб да соль.
И не поверить в сказку можно,
А можно и поверить ей.
Но что не ложно — то возможно
В стране особенной моей,
Где на дорогах меты, меты:
Тут хлеб растил,
Там сад сажил.
А дедов наших, что ни лето,
Язык до Киева водил.
И всем слепым, калекам сирым,
Бывало, зла не сотвори,
И по дорогам всей России
Водили их поводыри.
Так шли неспешно, осторожно,
По краю тракта — слеп и бос.
И где ступали — подорожник
На их следах упрямо рос.
Ни колесом и ни копытом
Его не выбить никому.
Монгольской конницею пытан,
Но он растёт назло всему.
У места памятной ночёвки,
Где вдоволь пить дала река,
Следочек русского мальчонки
И след слепого старика.

Мост

«За выдающиеся успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, и проявленную трудовую доблесть в досрочном выполнении заданий девятой пятилетки присвоить звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот» Пахомову Ивану Дмитриевичу — бригадиру совхоза имени XXI съезда КПСС Кожевниковского района Томской области».

**(Из Указа Президиума
Верховного Совета СССР)**

— Нету Вани дома, нету. С утра как в контору ушёл, так ещё не был. Да ты не стесняйся, проходи в горницу... К нам второй день народ. Марфа, подай стул человеку... Только что почтальонша телеграммы принесла, вот они, на столе. А ты, мил человек, стало быть, к нам тоже из-за Вани? Вчера Чекулаев его поздравлять приезжал. Поди, знаешь Василия Ивановича, секретаря нашего? Должно быть, он всем известный... Мне руку пожал: «Спасибо тебе, Дмитрий Константинович, за сына-героя». И Марфу поздравил. А нам что остаётся отвечать? Благодарствуем, мол, вам спасибо. Сынами своими мы всегда довольны.

Ваня у нас орёл, фронтовые награды имеет. Придёт, так сам поглядишь... Эхма, я ведь тоже когда-то был молодой, атаман с виду и казак душой... Германскую отвоевал, а в Отечественную уже вместе с сыном пришлось шинельки надеть... В сорок первом я на фронт ушёл, а маленько по-

годя из дому письмо — мол, в покос и Ваню на войну проводили.

Веришь ли, случай какой — сколько миру было на войне, можно сказать, весь народ поднялся, а через год довелось с сыном встретиться. Я, ежели тебе всё по порядку рассказать, после ранения при медицинской части служил. Вызывает меня как-то командир к себе. «Поедешь, — говорит, — товарищ Пахомов, в Москву, сопровождать при эшелоне на ремонт рентгеновские аппараты. Известно, мол, мне, что твой сын Иван находится в госпитале в Павло-Посаде. Это, говорит, с Москвой совсем рядом, а потому даю тебе такую возможность с ним повидаться».

Я-то и не чаял свидеться. Письма только друг дружке на полевую почту писали: дескать, я, сынок, живой, а ты как? «И я, батя, живой, фашистов бью...» Спасибо моему командиру, капитану Леви: я, говорит, своего сына больше не увижу, а ты повидаешься... Сыну у него танкистом был, сгорел в танке...

Так вот, прибыл я в Москву, сдал всё честь по чести — и на вокзал. Откуда ни возьмись — патруль, задержали меня: дескать, гимнастёрка грязная. Я объясняю, что с фронта, к сыну повидаться, — отпустили... Да куда разбегались, куда до Павло-Посада добрался, время моё уже кончается.

В госпитальную ограду вхожу — Ваня в сером халате возле входа на костылях. Остриженный, шея тонкая, и вроде вытянулся за военный год. Парнишкой ведь я его дома оставил...

— Сынок! — кричу. — Сынок...

Посидели с ним в сторонке на скамеечке, проводил он меня после до мостика у чугунных ворот, и опять развела нас война. Я в сорок пятом домой возвратился, а он ещё на востоке воевал, и после опять в Германии служил.

А в тот год, как ему вернуться, приехал попроведовать нас брат мой Аркаша с Камчатки. Погостил, сколь ему можно было, а кончился отпуск, усадил я его с ребятами на телегу и повёз на железнодорожную станцию в Болотную — от нас тут всего шестьдесят километров,

ежели напрямик. Только въезжаем в Болотную, глядь — шагает навстречу по мосту военный. Статный такой, бравый, грудь в наградах... Первым его Аркаша увидел. «Гляди, Митя, — говорит, — вон наш братец Павлик живой идёт». — «Нет, — отвечаю ему. — Не Павлик это, а Ваня, сыночек мой...» Голос у меня перехватило, слёзы душат.

Обнялись с сыном. Ваня и говорит: «Помнишь, папа, когда ты в госпиталь ко мне приезжал, мы на мосту расстались, а теперь вот на мосту же встретились». Такая судьба — мост разъединил, он же и соединил... Вёз Ваня из-за границы бутылочку рома, выпили мы этот заграничный ром в Болотной, на станции. Аркаша председателем рыболовецкого колхоза тогда был, Ваню к себе звал: поедem, мол, ко мне на Камчатку, всё там тебе будет — и дом, и деньги большие. А Ваня говорит: «Нет, дядя, за деньгами я гоняться не буду».

Он же землю любит... Он в Днепре тонул, Карпатские горы одолел, маньчжурские сопки прошёл, но к своей земле воротился... Второй сыночек, Алёша, тоже колхозную землю не оставил, здесь же, в Еловке, живёт. А возле сынов и нам со старухой тепло. Один только лебедок от нас отбился — Коля. На шахтах работает. Запрошлый год, когда приезжал сюда, говорил ему: «Вернись, Коля, в поле страдовать, как твои братовья». Смеётся: «Я, папа, уже не могу наверху». Два сына на земле, а третий из-под земли уголь достаёт... Только Коля, он тоже родителей не опозорил — почётный шахтёр...

Ты, мил человек, поди, есть хочешь? Соловья-то баснями не кормят... Ну ладно, Ваню дождём, вместе пообедаем. Должен он скоро быть. Работы ему сейчас много — в бригаде, почитай, столь тракторов, сколь до войны во всей метеес было. День-деньской при технике... Сызмальства у него к машинам тяга. Бывало, мальчонкой со школы прибежит, сумку с книжками на лавку, а сам — в поле. Костя Ромашов да ещё тракторист один, Петрухой звали, наш же, деревенский, — они и приучили его к этой работе, Всё с ними, как галчонок на пашне... А после войны, когда первый самоходный комбайн в метеес привезли, дирек-

тор никому, окромя как Ване, его не доверил. В ту осень триста гектаров он, однако, в своём колхозе убрал, да в Шегарский район ещё пособлять поехал. За страду поболее десяти тыщ центнеров хлеба намолотил. Орден Ленина ему тогда дали.

Не в похвалу скажу — у него всякая крестьянская работа получается. Вот хотя бы прошлым летом. Поди, сам помнишь — засуха была, трава по гривкам выросла слабенькая, реденькая, а косить пора подошла. С сеном ведь известно как: время упустил — уборка навалится, все работы тогда враз... Чего-нибудь да упустишь. Вот и пошли они траву на луга глядеть — директор, секретарь парткома да Ваня наш. Ходят, сокрушаются — мала трава, свалишь, а грести нечего — грабли не возьмут. Опять же начинать время — вот-ни-вот август. Остановились посоветоваться. Ваня и говорит: «Давайте попробуем не косилками косить, а перегоним сюда комбайны с жатками, и уложим на этих гривах траву в валки...»

И наметали стожков. Скосили бы косилками, так по всему бы лугу траву рассеяли, а тут ряды получились широкие, толстые, как при ручной косьбе. И вся духовитость в сене сохранилась. Соседи дивились: глядите, мол, у Пахомова комбайны по лугу ходят... А после так же сделали.

По урожаю Ванина бригада oprичь первого места не нанимает. Наши, еловские, они ж испокон века хлеборобы. И пашню как надо быть разборонят, и уберут хлеб вовремя, и всякую машину наладят, чтобы чисто работала. Ваня, когда ему Героя дали, так и сказал принародно — это, мол, награда всем еловским.

Теперь, если у моих сынов награды вместе собрать, так наберётся, что у твоего генерала... А Героя среди нас, Пахомовых, Ваня первый заслужил. Он в моей семье старшой... И до него рожала Марфа детей, да все отчего-то махонькими помирали. А этот во какой вымахал, на две головы выше меня... Да обо мне теперь какой разговор, я уже книзу расту...

Вот, погляди — с Вани карточка в рамке. Вон тот, при ордене. Чего ты спросил? Недослышу я. А-а — про пор-

трет в углу. Не, это не Ваня, это Павлик, братец мой на том портрете. Вишь, три угольника на петлицах — старший сержант. Ещё Яша у меня брат — погиб во славу русского оружия. А Павлик — без вести пропавший. Все говорят — убитый он, а одна женщина мне воровила: мол, живой он. Сказывала тогда, что отца и мать не доведётся ему схоронить, а со мной придёт свидеться перед смертью...

И ведь на Ваню похоронная приходила. Без меня это, я на фронте был. Да вот Марфа моя тебе лучше расскажет.

— Ой, господи, да я же разве расскажу, как ты, старик. Ты у меня наречистый. Была похоронная, помянуть страшно, была. Сегодня похоронная, а назавтра самого живого на санях привезли. На костылях, немощного... Господи, да хоть бы какой, лишь бы живой... Парным молоком я его отпаивала... Трое ребятишек на руках оставалось, а тут Ваня как дитё, весь израненный. Выходила его к весне, А он только малость окреп, работать стал. Как-то с утра ушёл из дому, и всё его нету, нету... И ночь прошла, нету. Извелась я вся. Наутро приходит посыльный: Ваня, мол, на заимке на тракторе пашет, пошли ему обутики да одежду потеплей. «Какую такую ещё одежду? Пушай немедля домой ворочается. Он же слабый ещё, у него ж раны только зажили... Нечего ему там делать.

Не стала ничё посылать. А он опять с людьми наказывает, чтоб прислала обутики, он, почитай, там босой совсем, а утрами холодно... Послала ему свои чуни да фуфайку. И с колхоза стали ему два питания давать. А через три месяца опять на фронт ушёл... Ох, господи, как вспомнишь проводы...

— Ну, будет, будет тебе, старуха. Не одни проводы, встречи тоже были. Вспомни, как меня встречала, а как Ваня домой второй раз пришёл, помнишь? Она ж, Марфа моя, в тот вечер хлеб за околицей серпом жала. Едем с Ваней на телеге, он её издалека узнал: вот, говорит, мамин платочек маячит... А уже года через два высказал мне как-то. «Я, — говорит, — как увидел маму в поле, зарок себе дал остаться... Чтоб ни она, ни другие женщины не

жали больше хлеб серпами». Теперь у самого дети, уже сын его те поля пашет, на которых бабка снопы вязала.

Заговорил я тебя, мил человек, не осуди старика... А вот и Ваня с сыном, легки на помине. Погляди-ка в окно, вот они рядом — по дороге к дому идут. А внучок-то мой какой бравый. Ну точь-в-точь как Ваня, когда по мосту навстречу мне шагал...

Тоня, Антон, Антонина Дмитриевна...

А почему вас солдаты Антоном звали?

— Да это ещё когда нас на фронт везли, Машенька Чуликова придумала. — Антонина Дмитриевна грустно улыбается. — Косы у меня были длинные, она и говорит: «Давай твои косы обрежем, когда тебе на войне будет с ними возиться?». Взяла вот так в горсть и отхватила ножницами. Ровняла, ровняла, один чуб оставила. Я в зеркало глянула, как заплачу: «Чего же вы, девчонки, со мной сделали?». — «Ничего, — говорит, — была Антонина, стал — Антон». После, когда я солдатские брюки надела, вовсе на парнишку походить стала. Сама-то Машенька погибла, а имя мне оставила — Антон, Антон... Так и присохло. Волосы отросли, косички из-под пилотки торчат, всё равно Антон. Никто и не спрашивал, как меня зовут... Да вы не обо мне, а просто о военных почтальонах напишите. Знаете, как ждали солдаты писем?

Знаю, как ждали весточки от солдат... В отстоявшей за тысячу километров от железной дороги сибирской деревеньке сколько перечитал я тогда вслух солдатских писем, торопливо написанных карандашом с фронта — матерям, не знавшим грамоты, но познавшим великую беду и великие страдания. Поклоны родне, наказы ждать, и в каждом письме надежда, надежда...

Летом почту доставляли по реке, зимой от устья Васюгана до самых дальних деревень по снежной дороге на перекладных. От посёлка к посёлку с колокольцами под крутыми дугами рысили заиндеветшие лошадёнки, и дремали в кошевах, завернувшись в тулупы, сопровождавшие почту связисты. Бывало, на западе уже заровняло снегом холмик над солдатской могилой, а последний привет солдата всё ещё в пути, всё ещё везёт его военная почта вместе с тысячами писем от живых и убитых... И, получив письмо, облегчённо вздохнёт мать, воспрянет жена, пойдут они по родне, к соседям передавать поклоны. Станут дома крепче надеяться, опять ждать, ждать... И снова бесконечной суровой нитью потянутся дни. Будут, удаляясь, скрипеть ночами полозья за застывшими окнами, будут звенеть в морозном воздухе почтовые колокольцы. Но всё меньше в том переливчатом звоне будет надежды, всё больше печали...

Да, я знаю, как ждали в Сибири весточек от солдат. Почту по нашей деревне разносила востроглазая девчонка Тоня — посыльная при колхозной конторе, она же — сельписьмоносец, как именовали тогда деревенских почтальонов. Рассказывающая теперь о себе женщина с добрым, чуточку усталым лицом тоже была в войну почтальоном. Только на другом — фронтовом, измешанном колесами, изрытом траншеями и воронками конце почтового пути. Звали её, как и нашу деревенскую девчонку, Тоней. Тоня Тяпкина. Впрочем, солдаты называли её Антоном.

— Вы всё-таки про военную почту напишите, — повторяет она. — Ну вот наша дивизионная почта под Сталинградом: шесть лошадей, три брички, семь человек... На левом берегу Волги хутор Бурковский. Там и располагались. Несколько уцелевших домишек, церквушка... Доставят письма в мешках, девчонки их рассортируют, ну а затем туда — в Сталинград. Два ездовых — дядя Роман и дядя Ваня. Суда всё время курсировали. Немцы стреляют, но переправляться надо. Каждый день туда и обратно...

— Сколько же времени уходило на переправу?

— Знаете, тогда не думала об этом... Только на берег глядишь — скорее бы... Да ощущаешь, как наши огнём прикрывают, не так прицельно тогда немцы могут стрелять. Лучше рано-рано, на рассвете. Только всё равно страшно. Переправишься, а там уж по обстановке — где бегом, где ползком... На правом берегу у меня в разведроте вроде бы тоже свой дом — привыкла к разведчикам. Как-то перед ледоставом, суда уже не ходят, а я там. Бои тяжёлые, связи нет, ребята писем не получают. Прошу их — попробуйте меня до острова переправить, а там я уж как-нибудь... Поплыли... Ночь, а светло, как днём, — немцы осветительные ракеты навешали, стреляют. Перебралась-таки. Девчонки наши подивились: как же ты смогла? Везучая была, наверное... Письма взяла, надо с ними обратно в Сталинград. Дядя Роман до берега довёз, говорит: «Ну, а дальше на чём?». Переправы-то нет... Вижу — знакомый старшина дядя Петя тоже на ту сторону собрался с продуктами для бойцов. Прошу: «Возьми меня, дядя Петя, с собой». А лодочка у него маленькая...

Слушаю её и думаю, что для неё многие солдаты такими и остались: дядя Роман, дядя Петя...

Шуга сплошняком, ледяные забереги... А немец засёк нас, начал пристреливаться. Середину Волги проскочили, а недалеко от правого берега всё же лодку перевернуло. Я-то всякий раз, как переправляться, сапоги снимала. Разуюсь и портянки под гимнастёрку засуну, чтобы сбереечь. Сухие портянки — первое дело. Ну, выбросило нас, я-то выплыла, а дядя Петя в сапогах и телогрейке тонет. У меня на глазах тонет... Я ремень долой, ватник скинула и обратно в воду к нему. Стрежь, вода ледяная, вот-вот судорогой сведёт... Подгреблась, кричу: «Ты только не хватайся за меня, только не хватайся, а то оба утонем. Я уж тебя сама...» Дотянула до берега. Ещё и сумку с письмами вытащила. А сапоги мои уплыли, продукты, понятное дело, утонули. Сами-то хоть живы, под берегом мёртвая зона, немец достать не может. Сижу, портянки из-за пазухи достала, выжимаю, а дядя Петя ругается: «Ты бы со мной не напросилась, может, лодку б и не захлестнуло...» Я пор-

тянки выжала, чувствую — не могу подняться, пристыла ко льду. А он на меня пуще кричит: «Чего расселась?». Добралась до разведроты, там печка топится — из бочки железной печка сделана. Разложила письма сушить и заплакала. Ох и поревела... Дядя Петя-то здесь, в Томске, помер, вернулся с войны. А девчонок многих поубивало — Риту Соколовскую, Фаю Королёву... Сколько их погибло...

— Вы с самого начала почтальоном были?

— Нет, сначала — санинструктором. После уже, когда выходили из окружения, командиром группы был начальник почты, так осталась с ними. А всё равно приходилось и раненых перевязывать, и выносить... Война-то когда началась, я в техникуме училась. Был тогда в Томске мукомольно-элеваторный. Как объявили, что война, мы, все третьекурсники, пошли проситься на фронт. Ребят многих сразу в Красную Армию взяли, а девчонок мобилизовали на организацию госпиталей. Помещение готовить и всё такое. Курсы прошли... Вот в этом здании, где мы с вами разговариваем, был госпиталь для челюстных раненых. Лежали тут с обезображенными лицами — без подбородков, без челюстей... Здесь и работала. Помню одного страшного, половина лица... Разговаривать не мог, и обеих рук не было. Никто его фамилии не знал, ни как зовут. Многие говорить не могли. Одни глаза... И документов никаких. Спрашиваю: «Как тебя зовут?». Сама перед ним на бумажке буквы пишу. Букву «А» написала — не реагирует, «Б» — тоже, «В» написала — моргнул. Так дальше по буквам. В-А-Н-Я... «Ваня», — говорю. А у него слёзы из глаз. Фамилии его не помню... Кормить их тяжело было. Насмотришься — ночью не можешь спать. Спать, правда, мало приходилось, всё везли и везли их...

Ну а потом начала здесь 284-я дивизия формироваться. Машенька Урусова со мной работала, как-то прибегает с известием: десять человек из персонала разрешили на фронт! Незадолго перед этим на дядю моего похоронная пришла. Я тогда маме сказала: «Теперь я пойду». Она до того отговаривала, а тут махнула рукой... Когда провожала, я старалась не заплакать, крепилась... Поезд пошёл,

а мама всё бежит по перрону. Я из двери высунулась, машу ей, машу, и вдруг она упала. Показалось — под поезд. Я выпрыгнуть из вагона хотела, девчонки за косы удержали. Это потом их обрезали. Ехали, а я всё думала, что мама под поезд попала. В Омске эшелон остановился, гляжу — нет ли где на путях встречного на Томск, думаю, доеду домой, узнаю, что с мамой, и сразу обратно... Пока от неё письмо не получила, всё волновалась...

Потом что? Потом — учебный батальон. Недолго там поучили — и санинструктором на передовую... А ночью немцы прорвались. Темень, стрельба, я забилась с санитарной сумкой в окопчик, и кажется, будто все пули в меня летят. В первом бою струсила. Раненых уже много, комбат ругается: «Это же надо, кого послали! Что с ней? Или её саму прибило?». Говорю себе — какая я всё-таки, рядом люди погибают, а я прячусь. Выбралась из окопчика, шепчу: «Люди погибают... Люди погибают...» Подползла к раненому, слышу — стонет, а не видать в темноте. «Куда тебя ранило? — спрашиваю. — Скажи, бедненький, куда?..» Перевязала на ощупь, до окопчика дотащила и — к другому. Уже некогда бояться, мотаю, мотаю бинты, и не страшно. К свету затихло, обошли нас немцы. Откуда-то ещё наша машина выскочила, раненых моих увезла. А я в медсанбат, в деревушку, где мы стояли. Прибежала — там уже никого. Женщина из местных показывает — вон в той хате тяжелораненые остались. Зашла в хату — лежат на полу, глаза вот такие, на меня смотрят. И дядя мой тут — дядя Гоша, мамин брат. Фургон на улице, две лошади привязаны, надо третью. Колхозница подошла, говорит: за деревней конь пасётся. Пока мы с ней ловили его, пока сбрую искали да запрягали — сколько времени ушло. Некоторые раненые сумели подняться, других женщины помогли в фургон стаскать. Сложили, как дрова... Села за кучера, солдаты показывают — вот по той дороге гони. Часа три ехали, кони в мыле... Свернула в лесок, выпрягла лошадей, раненых напоила... Здесь ещё бойцы наши присоединились, тоже из окружения выходят. Говорят, к Воронежу надо пробиваться. Только вышли на дорогу — по-

луторка, в кабине двое. Из Касторной, там уже немцы. Нас много собралось, остановили машину, просим, возьмите раненых. Говорят, некуда, архивные документы увозим, полный кузов бумаг. Так ведь люди-то дороже! Сбросили на дорогу бумаги, облили бензином и сожгли, а в кузов раненых уложили. Дядю Гошу тоже. Поглядели вслед полуторке, пошли... И представьте себе — через много лет, когда ездила с ветеранами дивизии по местам боёв, встречала того райкомовского работника, который вёз тогда бумаги из Касторной. Дорого он поплатился за них. Говорю ему: если надо, я могу показания дать, в газету написать, как было... «Теперь уже ни к чему, — говорит, — пережил, отболело... Но совесть моя перед теми солдатами чиста».

А у нас одна надежда была — к Воронежу. Шли и шли. Я уже из последних сил выбиваюсь, кажется, не могу больше. Страшное навалилось, не так всё представляла, когда на фронт ехала. Миша, брат двоюродный, в одной дивизии со мной... Парнишечка... Когда выходили из окружения, он у пулемёта оставался. Иду, о нём душа разрывается, босиком иду, ноги в кровь стёрла... Сплю на ходу. Коля Демьяненко с нами выходил, может, знаете его? После войны долго здесь, в Томске, работал. Он меня всё тогда поддерживал. Ласковых слов, конечно, не говорил, но упасть не давал. Сколько нас выходило, сколько осталось... Через какую реку перебирались — не знаю, всё хочу кого-нибудь спросить и забываю. Мост там ещё не успели взорвать, по нему в последнюю минуту прорвались. Вышли из окружения, маме сразу письмо послала. Пишу: «О Мишиной судьбе не знаю, дядя Гоша, наверное, погиб». Выжили ведь! Всем смертям назло выжили. Дядя Гоша как теперь увидит меня — плачет...

Антонина Дмитриевна надолго умолкает.

С улицы доносится гул проходящих автобусов, говор людей, и напоминанием о молодости льётся из уличного репродуктора голос Клавдии Шульженко. Во время войны тут громыхали по мостовой колёса телег, клацали подковы, а в старинном здании с высокими потолками стоял

тяжёлый запах госпиталя, и с обезображенных войною лиц глядели мученические глаза раненых.

Давно выветрился запах йодоформа и хлорки из этих комнат, давно залили асфальтом проспект, что уходит к Лагерному саду на обрывистом берегу Томи. За старыми и новыми зданиями видны река и по-весеннему зазеленевший лес на том берегу. И на старом кладбище окинулись зеленью деревья над могилами умерших здесь от ран солдат. В прохладной тени среди памятников светлеет несколько пирамидок, на которых вместо имени и фамилии значится горькое «неизвестный»... А далеко отсюда, по обочинам бывших фронтовых дорог, у заросших траншей на полях, где глохли от боя солдаты, шелестят деревья над тысячами одиночных и братских могил. В них лежат и солдаты-сибиряки... Гонит ветер облака над Томью, пощёт Вечный огонь в Лагерном саду. Более сорока лет минуло, как окончилась война, но все эти годы плачут при встречах ветераны.

Шумит проспект, проносятся машины, идут по своим делам люди. А я снова слушаю про военную молодость сидящей передо мной седой женщины.

— Почта наша оставалась километрах в десяти от Сталинграда, на том самом хуторе Бурковском, о котором я уже рассказывала, а часть дивизии переправилась через Волгу, и сходу в бой. И сразу пришёл оттуда приказ начальника связи — направить одного почтальона на КП дивизии. Науменко наш мне говорит: «Ну что, Антошка, ведь ты у нас одна плаваешь, реки переплывала, всё равно выплывешь». Да я же понимаю, чего тут объяснять. Проводили меня, встали, когда прощалась... Считали, что больше не увидимся. Коня я своего поцеловала, маме написала письмо — такое радостное, будто всё у меня хорошо, ничего страшного. Двадцать второго сентября, как раз мне в этот день восемнадцать лет исполнилось, привёз меня дядя Роман ночью к Волге. Страсть господня, что там делалось! Сколько буду жить, не забуду... Сталинград на той стороне в огне, нефтехранилища и баржи у берега полыхают, кажется, вся река горит, снаряды рвутся, а ка-

тера и судёнышки уходят в огонь. Боюсь с повозки слезть. Дядя Роман говорит: «Чего, дочка, ждёшь? всё равно ведь надо».

Всё равно ведь надо — война... Она прыгнула на палубу битком набитого солдатами катера и сквозь треск огня и разрывы ещё расслышала, как дядя Роман крикнул: «Устраивайся, Антон!». Скинула сапоги, подумав: если окажусь в воде — мешать будут. Прижала к себе санитарную сумку, карабин, развязала тесёмки плащ-палатки, но не сняла её, казалось — в ней не так страшно. На палубе было тесно; кто-то прикрикнул: «Чего ворочаешься? Подвинься!». Взметнулись столбы воды от разрывов, чертили ночь трассирующие пули, выливавшаяся из разбитых бомбами баков горящая нефть плыла по реке, и город, к которому шли глубоко осевшие катера и баржи, казался огромным, всё сильнее разгоравшимся костром.

Не дожидаясь трапа, бойцы стали прыгать с катера на берег, и она тоже, торопясь, прыгнула на чёрную, чавкнувшую под ногами землю. Уже после узнала, что батальону, с которым переправилась, было приказано отбить у немцев метизный завод, но тогда ничего не успела спросить и только боялась в горящем городе ночью отстать от тех, с кем её свела переправа. Они перебирались через завалы на улицах, укрывались за островами домов, и она тоже перебиралась, пригибаясь, бежала вперёд, а санитарная сумка хлопала её по боку. Навылет раненный пулей, упал рядом красноармеец, она торопливо перевязала его, укрываясь за уцелевшей стеной, подбежала ко второму, перебинтовала голову третьему и всё просила потерпеть, говорила какие-то ласковые слова... Наступило сумеречное от дыма утро. Грохотом разрывов, непрерывающимся боем остался в памяти день, ночью водила раненных к переправе, под обстрелом возвращалась по уже знакомому пути, оказывала первую помощь, подносила патроны...

«Быстрей, Антон! — подгоняли её. — Быстрей!»

И снова носила патроны, стреляла сама, а когда сгустилась ночь, вела и тащила к Волге тех, кто не мог идти.

Она потеряла счёт суткам, слились воедино дни и ночи, своя и чужая боль... Но закрепился батальон, наступило короткое затишье, и она услышала, как вздохнул комбат:

— Письмо бы сейчас семье отправить...

И вдруг ей стало стыдно и боязно, что не выполнила приказ.

— Разрешите доложить... — Она подошла к комбату. — Меня на КП дивизии почтальоном направили, а я вот который день вместе с вами воюю. Попадёт мне, наверное.

Он пристально посмотрел на вытянувшегося солдата:

— Слушай, а тебя как зовут?

— Тоня...

Посветлели суровые солдатские лица. Наверное, чем-то родным и домашним повеяло от этой девчонки, которую принимали за парнишку.

— Куда же ты теперь от нас? — ласково сказал кто-то. — Оставайся.

— Да нет, ребята... Вы напишите письма, а я их доставлю на почту и вернусь. Я быстренько — туда и обратно. Только, товарищ комбат, черкните мне бумажку, что я всё это время у вас в батальоне была.

Увидела, как торопливо они принялись доставать припасённые тетрадки, карандаши... Совали ей свёрнутые треугольниками письма, и такой нужной всем, с кем оказалась в этой отбитой у немцев заводской котельной, почувствовала она себя, такой необходимой...

Командный пункт дивизии помещался в тоннеле под железнодорожной веткой, неподалёку от метизного завода. Кто-то разговаривал, кто-то склонился над картой, кто-то разматывал телефонный провод. «Хорошо тут, — подумала она устало. — Стол, стулья, даже постели...». Вдруг страшно захотелось спать. Рядом мельтешили, что-то делали, говорили. Одета в гражданское, полусидя на койке у стены, спала какая-то женщина. Она прилегла возле неё, положила рядом сумку с письмами. «Маленечко посплю... Только маленечко посплю и доложусь...» Тяжёлый сон навалился, но и во сне куда-то бежала, пряталась

от пуль, кого-то спасала и тащила к Волге... Сквозь сон слышала: «Замедленного! Бойся!». Пытаясь проснуться, поняла, что сейчас произойдёт, и тотчас со страшной силой где-то близко рвануло. Прижимая к себе сумку, вдруг сделавшуюся какой-то мягкой, почувствовала, как вместе с ней летит, и больно ударилась головой. Осыпался песок, медленно оседала каменная пыль. Немецкая авиабомба взорвалась неподалёку от входа в тоннель. Ещё не придя в себя, она слышала странный, похожий на всхлипы, звук, подумала: наверное, что-то повреждено внутри, наверное, кровь... Открыла запорошённые глаза, пошевелилась. Нашарила завёрнутое в тряпки, судорожно схваченное ею вместо сумки с письмами, и снова слышала всхлипы. Рядом подымались на ноги, отряхивались, ругались. Она тоже поднялась, вслушиваясь в странные звуки, и вдруг осенило: захлёбывается плачем младенец... Высоко подняла крохотное существо, закричала: «Дитё! Дитё у меня!». Ошарашенная непонятностью случившегося, увидела расширенные глаза идущей к ней матери ребёнка, слышала сердитое: «Что делаешь? Ты же его вниз головой держишь!».

— И кто ты вообще такая? — резко спросил Тоню кто-то из штабистов.

— Почтальон я. Меня с того берега к вам в штаб направили, да не смогла сразу попасть. В батальоне рядом с вами была... Где же моя сумка? — спохватилась она. — Я вместо сумки этого дитёнка схватила... Ну помогите найти сумку, там же письма, которые ребята отправили!

— Слушай, ты, заполошная, — сказал начальник штаба. — Только объявилась и сразу крик подняла. — Вон твоя сумка валяется. Ступай отведи гражданку с ребёнком в медсанбат, потом с тобой разберёмся.

Она увела в медсанбат эту сталинградскую женщину, сама несла её крохотного, родившегося несколько дней назад ребёночка.

Вернувшись к тоннелю и получив нагоняй за то, что не явилась вовремя в штаб, набрала в сумку ещё писем и перед рассветом переправилась на левый берег Волги, от-

куда проводил её ездовой почти две недели назад. Там, на хуторе, Тоню-Антонину уже перестали числить в живых, и начальник почты, старший лейтенант Науменко написал её матери, что Тоня погибла...

Те, кто воевал в Сталинграде, невесело шутили: лучше трижды сходить в атаку, чем раз переправиться через Волгу. А Тоня теперь на попутных судах и лодках переправлялась каждые сутки, под пулями и снарядами своим ходом добиралась до Мамаева кургана, доставляла бойцам весточки из дому, забирала их фронтовые письма и возвращалась обратно на тот, навсегда оставшийся на военных картах и в её памяти, хутор Бурковский, откуда полевая почта расходилась по тысячам больших и малых дорог.

Завидев с наблюдательного пункта почтальона, бойцы прикрывали её огнём, и Тоня перебегала от укрытия к укрытию, ползком преодолевая открытые участки, и немецкие пули порой прошивали её сумку, набитую письмами, и почтальонша, грозя кулаком, кляла за это фашистов. Раз продырявило конверт, адресованный генералу Чуйкову. Пуля не разбирает, ей всё равно, что рвать. Конверты не вмещались в сумку, Тоня засовывала их за пазуху, отчего девичья фигурка становилась особенно забавной и трогательной.

— Бравый солдат Швейк, — пошутил как-то Чуйков.

— Никак нет, товарищ генерал, — возразил командир дивизии Батюк. — Антоном её зовут.

Она привыкла к тому, что её называли теперь только так; всё, связанное с прошлой жизнью, осталось за чертой войны — мама, старый сибирский город, и даже имя... «У войны, — сказано много лет спустя, — не женское лицо». Она и в самом деле всё так же походила на мальчишку, только волосы отросли, торчали из-под ушанки, пришлось заплетать их в косички.

Запах землянок, преющей одежды и махорки, автоматные очереди, злой свет висящих над Волгой ракет... Каким далёким был Томск, его мощённые булыжником взвозы, резные карнизы бревенчатых домов, белая колокольня на

Воскресенской горе! Отражающая небо Томь, тополиный пух на дощатых тротуарах... Иногда, прикорнув, видела она во сне прошлое, но чаще снились обрушивающиеся дома, перекопанная земля, окровавленные бинты. И сейчас, сорок лет спустя, тревожат её душу военные сны.

Убивала война солдата и незримо тяжело ранила тех, кто был далеко от фронтов. Обрывалась ниточка, тонула соломинка, за которую кто-то держался... Не в состоянии была девчонка-почтальон утешить чью-то мать, чью-то жену, чьих-то детей. Но сколько писем написала тем, кто не дождался с войны сына, мужа, отца... Шла из штаба стандартная похоронная, и шло последнее письмо с полевой почты о том, как честно воевал солдат, как погиб, защищая свою землю и тех, кто будет жить после войны. Её никто не заставлял писать эти письма, она писала сама, отрывая время от своего короткого отдыха. А чтоб никого не смущало женское имя, подписывалась по-мужски — Антон.

Много лет спустя на встрече ветеранов в Москве к ней подвели пожилую женщину.

— Вот — спрашивает Антона... Наверное, тебя. — Женщина растерянно посмотрела на Антонину Дмитриевну:

— У меня был сын, Серёжа... В сорок втором я получила письмо, в котором рассказывалось, как он погиб... Там была подпись — Антон...

— Это я писала вам. — Антонина Дмитриевна взяла её дрожащую руку. — Меня на фронте звали так...

— Вы помните Серёжу?

— Помню.

На глазах у солдатской матери показались слёзы...

— А вы, вы? — комкая платочек, начала она.

По немому вопросу в её глазах Антонина Дмитриевна поняла: этой, пережившей великое горе, матери подумалось, что судьба подарила ей встречу с той, которая, может быть, успела полюбить её сына.

Нет, все были тогда одинаково близкими, родными. Не до любви было, когда рядом умирали, когда ходила под смертью каждый день сама. Каждый день и каждую ночь.

Может, где-то и тогда любили, может быть, где-нибудь и было так, как порой показывают в кинофильмах, но к Тоне любовь пришла потом. После войны.

Сколько хороших ребят погибло, сколько осталось невысказанного, сколько загаданного не сбылось... А её долго щадило — пули и осколки пролетали мимо, почтовую сумку пробило во многих местах, но сама она словно была заговорена. И всё же не минуло: выброшенный взрывом ком мёрзлой земли ударил в лицо, расплющил нос, сломал челюсть... Очнувшись от удара, она отчётливо вспомнила первое видение войны — обезображенные лица раненых в тыловом госпитале. Подумала: неужто это и её судьба? Её увезли в медсанбат, забинтовали голову, наложили на челюсть шину. Она попросила зеркальце — увидела щёлочки заплывших глаз, разбитые губы, проступившую сквозь марлю кровь...

Пока была в медсанбате, убило на переправе Фаю Королёву, тяжело ранило Полину Барнашову. Приехал Науменко, потупившись, спросил:

— Может, поедешь со мной, Антошка? Понимаешь, некому почту доставлять... А лицо у тебя уже совсем нормальное.

И снова стала регулярно появляться у Мамаева кургана похожая на парнишку девчонка-почтальон. Руки и ноги целы, только нос стал чуточку курносый, да шрам возле губ появился... Опять раздавала письма, перевязывала раненых, утешала, спасала, превозмогала усталость, страх, боль...

И вот настал долгожданный февральский день сорок третьего, когда прогремел последний выстрел в Сталинграде, и немецкая армия капитулировала. Солнечным утром в центре разрушенного города на площади Павших борцов собрался митинг. Руины, перемешанная со снегом гарь, тысячи лиц стоявших в строю солдат, и она, впервые видя их вместе, вглядываясь в знакомых и незнакомых, ходила между шеренгами, надеясь ещё увидеть кого-то из тех, кому осталось письмо в кипе невручённых конвертов. Может, объявился, вернулся из госпиталя, не пропал без

вести... А вдруг, а вдруг... Знала бы, кому недолго жить, сказала бы что-то доброе, ласковое... Неведомо, сколько кому отпущено сроку — кому погибнуть, а кому через двадцать пять и сорок лет встретиться здесь, на этой земле, где всё изменится. Встретиться, когда сами они будут уже друзьями.

И ещё одно воспоминание. В тот день возле разрушенной стены подобрала она валявшуюся среди тряпья почтовую сумку немецкого почтальона. Письма из Германии, конверты с ненавистными именами, обратные адреса с названиями немецких городов... Она поглядела на тянувшуюся мимо колонну пленных — измождённые, обмотанные тряпьем, битые вояки... Выбросить недошедшие письма, втоптать в грязный снег... или?

Спросила у майора.

— Отдай им, — хмуро сказал тот. — Люди же...

Она подошла к колонне пленных, отдала письма... Они протягивали руки, хватали пачки конвертов и глядели на неё с жалкой благодарностью. Она ненавидела немцев, но сейчас не было ни злорадства, ни ожесточения.

Сорок лет после войны — почти жизнь, а она помнит всё, как было...

— Ну, а потом? — спрашиваю. — Как вы воевали потом, после Сталинграда?

— Воевала?.. Да, конечно, и стрелять приходилось. Но почему-то думаю, что никого не убила. Женщины на войне в основном спасали... Как-то снарядом мотор у санитарной машины разбило, шофёр погиб, машина загорелась, а там тяжелораненые... Откуда силы взялись, дверцу выломала, вытаскала двенадцать человек... Иван Падерин был в нашей дивизии, после войны он писателем стал, писал об этом. Я это не для похвалы, так... Растревожило память. А меня под Кривым Рогом ещё раз ранило. Ранение лёгкое, в ногу. В госпиталь из медсанбата не отправили, обратно — на почту. Весна, грязь на дорогах, не высказать какая, нога побаливает, а я стесняюсь сказать, подумают ещё, что отлыниваю. Лошадёнка выручала. Под Бердичевом форсировали речку, я и окунулась, а тут эта грязь, а

просушиться негде. Заражение началось. На самолётике отправили в Нежин, по пути нас ещё немцы обстреляли... Потом в какой-то теплушке везли, в Курске уже рану обрабатывали, оттуда — в Кыштым, город на Урале, до войны и не слыхала... Гангрена, страшно смотреть. Хотели в этом Кыштыме мне ногу отрезать — не дала. Не далась, и всё. Профессор пришёл: «Будем операцию делать, рассекайте ногу». Один врач свою кровь отдал, а она не совместилась... Очнулась в спецпалате, принесли туда к умирающим. Заорала, что было сил. Прибежали, унесли... Опять кто-то свою кровь отдал... Как я всё-таки медикам благодарна!..

Ну а потом в Томск повезли. Тоже в госпиталь. Опять резали ногу, сказали: трофическая язва, неизлечимо. Боли страшные, припадки начались. Всё чудилось, будто я в разведке. Меня же раз посылали, я вам не рассказывала? Там — в Сталинграде. Меня и Зою Рыбакову. Была красивая такая, черноглазая, из разведроты. Переодели в гражданское, задание дали. Когда уходили, оставили обе заявление — если погибнем, просим считать нас членами ВКП(б). Всё, что надо, сделали, обратно к балке, по которой на немецкую сторону переходили, вернулись, а там немцы блиндажи начали строить, пещер нарыли. Стоим ни живы ни мертвы... Тут, на счастье, жестяная посуда, кем-то выброшенная. Пустое ведро схватила, Зойке чайник сунула — назад теперь некуда. К немецкому автоматчику подошли, показываю вниз: «За водой, мол, за водой... Вассер...» Поглядел, махнул рукой: «Шнель!». Пошли. Шепчу Зойке: «Только не оборачивайся, не оборачивайся...» Боймся — вот-вот немец окликнет. Спустились, чую — уже нас не видать, кинулись бежать. Сердце выскочить хочет, сил нет. Добежали, ведро бросила, сама бряк в окоп. Зойка что-то нашим говорит, а у меня плывёт всё перед глазами... Так вот, я когда в госпитале в забытьё впаду, чудилось, будто не могу обратно к своим попасть, не могу, и всё...

В Томск привезли, мама пришла. Девятого мая, ровно год до конца войны оставался. Заплакала... Потом ещё

приходила. Попросила врачей, чтоб разрешили меня домой забрать. Кофтёнку мою принесла, юбку... Не налазит ничего — выросла я. Два года ведь минуло. Нашли моё обмундирование, медали... Вышла на костылях.

На фронте о завтрашнем дне не задумываешься, там в этом отношении проще. Я и не представляла, как в тылу стало тяжело. На войне хоть накормят, этой заботы не было. А тут как-то увидела во сне котелок солдатской каши... Господи... Даже вроде запах услышала. Но мама меня разбудила... Вам, может, смешно? Впрочем, вы тоже пережили голод и всё, всё. Кто пережил, тот понимает. Вообще, казалось, сломала меня война. Прежде-то думала: я крепкая. А тут страшно стало. Инвалид... На костылях. В душе пустота. Жить не хотелось.

Неделю дома, вторую... Поковыляю возле крылечка и обратно.

Как-то приглашают в райком: «Чего распустилась? В ножку ранена, так теперь, значит, всё? Да жизнь ещё впереди...». Наверное, иногда вот так и нужно. Где пожалеть, а где так... Не то чтоб воспряла я, а как-то встряхнули меня, что ли... Поговорили, назначили инструктором райкома комсомола, учиться восстановилась. Трудно было привыкать. Если б не помогли мне, не знаю, как бы всё сложилось. Везло на хороших людей...

Потом война кончилась, уехала в Магадан. По глупости или из солидарности, как лучше сказать, не знаю... Может, просто по молодости. Подруга моя влюбилась, а парень-то её, тоже комсомольский работник, на другой жениться собрался. Она и говорит, подруга моя: «Не могу здесь больше жить, каждый день видеть его... Сердце разрывается. Завербуюсь куда-нибудь...» Собралась и меня сговорила. Поехали на край света. Во Владивосток, оттуда в Находку.. На Охотском море война с Японией застала. Неделю дрейфуем, галушки на морской воде варим... После три года на севере пробыла. Подруга моя заболела, обратно уехала, а я осталась, работала в райкоме партии. Там и замуж вышла. В Томск с мужем вернулась, фамилия моя уже — Дарьенко, дочку с собой привезли. Муж меня поначалу всё

уговаривал — давай куда-нибудь в тёплую сторону уедем, к морю... А поехали за шестидесятую параллель... Когда Стрежевой начали строить, мужа туда направили. Дочку решили не брать, она школу окончила, в институт собралась поступать. Ночью лежу, не сплю. Ночами, известное дело, о страшном думаешь... Утром говорю мужу: «Не поеду, как мы одну дочку оставим?...» Поехали, конечно же. Там тоже инструктором райкома была. Опять эти общезжития, мостопоезд, центральный товарный парк... Пьём из одного чайника, свет то горит, то не горит... А теперь подумаю: ведь это же здорово было, какой красавец город построили!

Может, если бы не была на фронте, многое бы по-другому воспринимала. Теперь и на прошлое тоже как-то по-иному глядишь. Вообще не хочется рассказывать о войне, но порой чувствую — надо, надо... Болит. Иногда говорят: мы своё сделали, пусть теперь дальше молодые как хотят. Нет, пока живу, не могу быть равнодушной. Если во время войны люди могли быть такими сильными, почему некоторые сейчас малодушны, слабы? Мирное время тоже по-своему испытывает. Молодых, да и нас. Помните, порой во время войны говорили: «Война всё спишет»? Нет, не списала. И сейчас не спишет... Господи, сколько девчонок не вернулось: Машенька Чуликова, Галя Баева, Клава Свинцова, Гита Соколовская, Фая Королёва... Фаю на Волге убило. Всего один маленький осколок в голову. А как она жизнь любила!..

Шумит за распахнутыми окнами улица, зеленеют на тополях молодые листочки, а вдали, за рекой, тревожно сгустилось небо, и, словно орудийные раскаты, доносится гром. Надвигается гроза...

— Гремит, — прислушиваясь, говорит Антонина Дмитриевна. — Я девчонку одну на войне знала — грозы боялась. Странно, да?

Она замолкает, и я не спрашиваю её ни о чём. Надо помолчать. Надо помолчать...

Наш генерал

Мои ровесники, мальчишки, родившиеся во второй половине 1927 года, были уверены, что после окончания десяти классов нам предстоит одна дорога — фронт. Оно и вправду. Варшаву освободили лишь 17 января 1945 года, до Берлина было ещё далеко, фашисты сопротивлялись умело и упорно, и мы только через несколько лет осознали, что те, кто закончил войну в мае 1945 года, сохранили жизнь большинству из нас. Ведь ныне кое-кто говорит, что Сталину с Жуковым, Коневым и Василевским не надо было так уж спешить, пусть бы Берлин взяли не мы, да и было бы это на полгода-год позже, не всё ли равно? Нам — не всё равно! И ориентир у многих из нас определился задолго до Дня Победы — наша жизнь должна быть посвящена службе Отечеству в вооружённых силах.

Мы пошли в армию добровольцами в конце июня — начале июля (в моём военном билете записано 1 июля), некоторые участвовали в разгроме Японии, многие поступили в военные училища. Почти все наши отцы-командиры были не просто старше нас по возрасту, но они были ещё бесконечно выше, ибо они были фронтовиками, они раздавили фашизм. К этому надо добавить, что у большинства из нас отцы погибли на фронте, у многих исчезли в годы репрессий. Нет, мы не чувствовали себя обделёнными — ведь так было у всех. Но нам так не хватало мужского внимания, воспитания, заботы и справедливой отеческой строгости! И мы не только учились у наших командиров и педагогов, мы неосознанно тянулись к этим мужчинам, хоть немного восполняя непоправимый пробел нашей жизни, любили и идеализировали их. И было за что!

И поныне, проезжая на трамвае по Советской, я испытываю особые чувства. Проспект Фрунзе, 9, наш учебный корпус, мемориальная доска напоминает, что здесь подготовлены тысячи офицеров-артиллеристов, а 53 из них стали Героями Советского Союза... Над доской — окна нашего учебного класса... А чуть дальше, слева, Фрунзе, 6, — здание бывшей гостиницы «Россия», ныне — областной военкомат, в наше время — штаб училища, бывать там, хоть и не часто, приходилось. Балкон второго этажа, там кабинет начальника училища. Ещё немного дальше — Советская, 29а, пока сохранившийся двухэтажный дом. Здесь со своей женой Верой Николаевной и сыном Игорем, нашим ровесником, студентом ТГУ, жил начальник нашего училища, гвардии генерал-майор артиллерии Владимир Александрович Иванов.

Мы, курсанты расформированного в связи с окончанием войны Смоленского артиллерийского училища, прибывшие в Томск для продолжения учёбы, впервые увидели его утром 30 мая 1946 года на плацу училища. Поздоровавшись, он быстро прошёл мимо двух взводов вчерашних спецшкольников, мальчишек, окончивших год назад подготовительные военные школы, задержался перед курсантами-фронтовиками, поговорил с некоторыми из них, а с Героем Советского Союза Михаилом Медяковым поздоровался за руку. Не забуду, как он позднее тоже пожимал руки многим фронтовикам, вручая им на всякого рода торжественных собраниях ордена и медали, недополученные на фронте. Какой музыкой звучали в наших ушах названия этих наград: «За освобождение Варшавы», «За взятие Кенигсберга», «За освобождение Праги», «За взятие Вены», «За взятие Берлина»! Это вам не «XXX лет Советской Армии и Флота», которые он вручил всем нам в 1948 году.

Конечно, мы, курсанты, видели его часто, но всё-таки находились от него на большой дистанции. Но знали о нём много, старались узнать ещё больше, и чем дальше уходит то время, тем убеждённое я говорю — нам выпало счастье учиться у выдающегося военного педагога и служить под

командованием настоящего боевого русского советского офицера. Как хочется, чтобы память о нём сохранилась и после нас!

* * *

Начало биографии будущего генерала было обычным для своего времени. Родился 13 июня 1904 года в пролетарской семье, жившей на окраине Санкт-Петербурга. В четырнадцать лет пошёл работать, учиться после шести классов не позволяло материальное положение. Постоянной работы не имел — это же Петроград 1918 года, революция, Гражданская война. Последняя должность — курьер редакции газеты «Петроградская правда» (редакция «Правды» вместе с советским правительством переехала тогда в Москву, а в Питере было создано нечто вроде её филиала). С этой должности в январе 1920 года пятнадцатилетний мальчишка начал свою сорокалетнюю непрерывную армейскую службу, добровольно вступив в РККА.

В 1922 году окончил 1-ю Петроградскую артиллерийскую школу, созданную в 1917 году на базе знаменитого Константиновского артиллерийского училища. Среди первых выпускников школы были будущие маршалы Н. Н. Воронов, М. В. Захаров, В. И. Казаков, Н. Д. Яковлев. Позднее школа неоднократно переименовывалась, а когда я попытался стать её курсантом, она называлась 1-е ЛОЛКАУ, Первое Ленинградское ордена Ленина Краснознамённое артиллерийское училище. Мне отказали — детей «врагов народа» в привилегированное учебное заведение не принимали. И правильно сделали — не знал бы я ничего про генерала Иванова, и не писал бы о нём.

* * *

Учился курсант Иванов в мирное время — Гражданская война заканчивалась. Но мирной тогдашнюю жизнь училища назвать нельзя.

1 марта 1921 года начался мятеж в Кронштадте. 2 марта Совет труда и обороны ввёл в Петрограде осадное положение. 8 марта 7-я армия под командованием М. Н. Туха-

чевского начала оказавшееся неудачным наступление на Кронштадт. X съезд РКП(б) направил в 7-ю армию около 300 делегатов, в Петрограде была проведена партийная мобилизация, на штурм крепости бросили курсантов Петроградских военных школ. 17—18 марта операция, стоившая советским войскам 527 человек убитыми и 3285 ранеными, завершилась. 21 марта курсанты вернулись к обычным занятиям. Но ненадолго.

* * *

Про Кронштадтский мятеж и другие события того времени ныне многое известно любому грамотному человеку. Участие в этих событиях десятков тысяч людей было закономерным, привлечение курсантов к военным действиям оказалось необходимым, строка о боевом крещении артиллериста В. Иванова вполне естественна. А вот о событиях января — марта 1922 года на Карельском перешейке сегодня знают немногие.

Наши отношения с Финляндией имеют долгую и непростую историю, одним из непреложных фактов которой является признание Советской Россией республики Финляндия. 6 декабря, день её создания в 1917 году, называется Днём независимости Финляндии и является государственным праздником. Впервые за своё многовековое существование финский народ получил тогда государственность, и получил он её из рук первого советского правительства. Большинство финнов знают, что декрет об этом подписан председателем Совнаркома Советской России Ульяновым (Лениным) и несколькими наркомками. Большинство, но, к сожалению, далеко не все. Некоторые хотят создания великого государства, в которое вошли бы все финно-угорские народы, для начала — финны, карелы, эстонцы. Вообще-то к этой языковой группе относятся ещё и российские удмурты, марийцы, мордва, коми и даже сибирские ханты и манси, но на их территорию, как и на территории, где распространён ещё один язык этой группы — венгерский, пока, кажется, никто из идеологов великой финской державы не претендует. А в октябре

1921 года, надеясь на слабость России, измученной заканчивавшейся Гражданской войной, финские интервенты, вдохновлённые этой идеей и подталкиваемые некоторыми европейскими друзьями, вторглись в Карелию и на Карельский перешеек. Слабые советские пограничные отряды не могли остановить противника. Но вскоре командующий войсками Карельского района А. Седякин сумел собрать необходимые силы, в том числе — курсантов питерских военных училищ. 17 февраля военные действия закончились полным разгромом интервентов. Командующего наградили вторым орденом Красного Знамени (первый он заслужил, руководя Южной группой войск 7-й армии при ликвидации Кронштадтского мятежа, комиссаром у него был К. Е. Ворошилов, тоже удостоенный «Красного Знамени»). Из песни слова не выкинешь — в 1938 году эти и другие заслуги не спасли командарма 2-го ранга (генерал-полковника) Александра Игнатьевича Седякина от репрессий.

Размышляя над событиями в жизни курсанта В. Иванова зимой 1921—22 года, вспоминаю его жесточайшие требования к нашей лыжной подготовке. Казалось бы, зачем артиллеристу в XX веке двадцатикилометровые лыжные броски, да ещё с полутоннажной нагрузкой? Может быть, он вспоминал, как Седякин поставил всех питерских курсантов на лыжи, и сумел той суровой зимой переиграть прирождённых лыжников — финнов? Ведь Иванов знал, что в войне на том же Карельском перешейке в 1939—40 годах, войне, в которой его командарм уже не мог участвовать, наша армия понесла неоправданные потери ещё и из-за слабой лыжной подготовки большинства красноармейцев. Генерал готовил нас к любым осложнениям, к любым случайностям, без которых не бывает даже мирной жизни.

* * *

А служба в мирное время тоже дело не простое, хотя и в какой-то степени стандартное. В 1925 году молодой краском стал членом ВКП(б). Далее — обычная служба.

Командир взвода, начальник связи полка, начальник полковой разведки, командир батареи, командир дивизиона артиллерийского полка 29 стрелковой дивизии. Это было созданное на Урале славное соединение Красной Армии, в котором когда-то служили Павел Петрович Бажов, автор знаменитой «Малахитовой шкатулки», будущий маршал Советского Союза Филипп Иванович Голиков, будущий генерал-полковник, герой Сталинградской битвы Михаил Степанович Шумилов. Дивизия участвовала в Гражданской войне на Урале и в Сибири, в польской кампании. В интересующие нас годы она была расквартирована в Белоруссии

Частые передвижения по службе характерны для армии. В 1926—1931 годах В. Иванов служил командиром дивизиона 111 стрелкового полка 37 стрелковой дивизии, это тоже Белоруссия. В Красной Армии исключительное внимание уделялось переподготовке командиров, и в 1931 году Иванов окончил Курсы усовершенствования командного состава. На новом месте службы, во 2-й стрелковой дивизии, тоже расквартированной в Белоруссии, он стал командиром артиллерийского дивизиона 4-го стрелкового полка.

Всё, в общем-то, стандартно, так служили и служат многие. Но в 1934 году Иванов получил особое назначение. Дело в том, что в начале 30-х годов неизбежность грядущей в ближайшее время войны стала очевидной и правительству, и руководству РККА. Но если с морально-политической стороны граждане СССР были в какой-то степени подготовлены к ней, то в чисто военном отношении положение было совершенно неудовлетворительным. Военных специалистов, особенно специалистов среднего звена (командиров рот, эскадронов, батарей, батальонов, дивизионов) не хватало катастрофически. Их надо было готовить по-настоящему, но военно-учебные заведения с объёмом задачи не справлялись. И тогда наряду с традиционными полковыми школами были созданы учебные батальоны (в артиллерии — дивизионы). На такие подразделения командование возлагало большие задачи.

Энергичному, настойчивому и честолюбивому краскому В. Иванову поручили командовать таким дивизионом 158-го артиллерийского полка. Командир дивизиона не только понял суть стоявших перед дивизионом задач, но сумел в течение двух лет поставить дело так, что его воспитанники, формально не получив серьёзного военного образования, отличались прекрасной тактической и огневой подготовкой. Педагогическое мастерство комдива было замечено командованием. За отличную подготовку дивизиона майор В. А. Иванов в 1936 году был награждён орденом Ленина, высшим орденом нашей страны. Тогда же он вновь прошёл обучение на АКУКС, и летом 1937 года стал исполняющим обязанности командира 36 артиллерийского полка 13-й стрелковой дивизии.

Честно говоря — ничего особенного. Нормальное, заслуженное продвижение по ступеням армейской лестницы. Но время-то было особенное!

* * *

Не знаю, откуда нам было известно, что генерал участвовал в гражданской войне в Испании. Прочитать этого мы не могли, ведь СССР «во внутренние дела республики не вмешивался». Да, мы знали о наших добровольцах на Пиренеях, знали, что туда шли наши пароходы с продовольствием и другими грузами, что мятежники их топили. Знали об испанских детях, эвакуированных в СССР. Кое-какие публикации обо всём этом появлялись в предвоенные годы во всех газетах вплоть до «Пионерской правды». Полной тайны не было, но настоящей информации всё же не существовало, её, кстати, и сейчас нет. Однако мы знали — наш Иванов воевал за свободу республики, и этот несомненный для нас факт был предметом нашей гордости. Хотелось иметь более подробную информацию.

Но когда я совсем недавно захотел уточнить эту страницу биографии Владимира Александровича, мне прислали копию составленной после его кончины учётно-послужной карточки. И я прочитал, что летом 1937 года

майор Иванов исполнял обязанности командира 36 артиллерийского полка в Белоруссии, об этом написано выше. А следующая запись — октябрь 1938 года, полковник Иванов — начальник Сумского артиллерийского училища. Куда делись 14 месяцев непрерывной службы, за которые молодой офицер продвинулся на два звания? Мне довелось служить в Сумах в 1949—1952 годах, там помнили — было что вспомнить! — бывшего начальника, но об испанской странице его биографии не говорил никто. Более того, даже о том, что начальник учебного отдела училища полковник Павел Германович Лампель отличился в знаменитом сражении при Брунете (15 миль к западу от Мадрида), мы, молодые офицеры, тоже ничего не знали. А ведь он прибыл в училище вместе с Ивановым!

Но в «Комсомольской правде» за 23 февраля 1939 года я нашёл Указ Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля: «О награждении командиров, политработников, инженеров, врачей, техников, младших командиров и красноармейцев Рабоче-Крестьянской Красной Армии». орденом Красного Знамени «За образцовое выполнение специальных заданий Правительства по укреплению оборонной мощи Советского Союза и за выдающиеся успехи в боевой, политической и технической подготовке соединений, частей и подразделений Рабоче-Крестьянской Красной Армии»; этим Указом награждено 346 человек. Там я нашёл немало известных имён, в том числе будущего главного маршала артиллерии М. И. Неделина (того, что погиб 24 октября 1960 года при взрыве ракеты на космодроме Байконур). И рядом, под номером 108 — майор Иванов Владимир Александрович. Слова «Испания» в Указе нет, но в послужном списке Митрофана Ивановича, кроме Гражданской войны в России, Советско-финской войны и Великой Отечественной войны, названа гражданская война в Испании. Наши добровольцы давали перед отъездом подписку о неразглашении факта неофициальной командировки на эту схватку с фашизмом, вот и исчезала из их биографий одна из самых ярких страниц.

И, немного забегаая вперёд, отмечу факт совершенно удивительный, но очень уж противоречащий мысли Н. С. Хрущёва, заявившего на XX съезде КПСС, что чуть ли не все наши «испанцы» погибли в годы репрессий.

2 апреля 1943 года «испанец» полковник В. А. Иванов был назначен командующим артиллерией Первой гвардейской армии, входившей в состав Юго-Западного фронта. Фронтом командовал «испанец», будущий маршал Советского Союза Р. Я. Малиновский, советник «колонель Малино». А командующим артиллерией фронта был «испанец», выпускник Томского артиллерийского училища, позднее — Герой Советского Союза Михаил Петрович Кутейников (звание Героя он получил за бои в Финляндии, служа под командованием будущего маршала Советского Союза «испанца» К. А. Мерецкова). Эти «испанцы», одержав тогда победу под Сталинградом, готовились к новым боям, боям за освобождение Украины. И они знали, что одним из авторов операции «Уран» (операции по окружению и уничтожению 6-й армии фельдмаршала Ф. Паулюса) был «испанец», командующий артиллерией РККА, будущий главный маршал артиллерии Николай Николаевич Воронов, старший советник по артиллерии, «волонтёр Вольтер». Не могу не подчеркнуть, что опыт испанской войны убедил комкора Воронова в том, что распространившееся в мировой военной науке в 20—30-х годах XX века мнение об утрате артиллерией в предстоящей войне своего прежнего значения, ошибочно. По докладу Воронова правительству, в СССР были приняты серьёзные меры по развитию и укреплению сил артиллерии, сыгравшие важную роль в обеспечении нашей победы над фашизмом. Кстати, ещё один «испанец», уже упоминавшийся генерал Шумилов, 31 января 1943 года руководил допросом генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса, взятого в плен его 64-й армией.

Стоит ли верить тем, кто утверждает, что чуть ли не все командиры, получившие опыт войны в Испании и на Востоке, были репрессированы? Да, многие, слишком многие! Но далеко не все. И роль их, их подвиг, к сожалению, до сих пор по-настоящему не оценены...

Наверное, не надо объяснять, почему я не имею возможности рассказать о подробностях участия В. Иванова в гражданской войне в Испании. Уверен в том, что там продолжилась его дружба с нашим кумиром Н. Вороновым, начавшаяся ещё в Петрограде.

* * *

После возвращения из Испании, в октябре 1938 года, Владимир Александрович был назначен начальником Сумского артиллерийского училища имени М. В. Фрунзе, 30 октября получил звание полковника. Сохранилось немало воспоминаний об этих мирных и немирных годах его жизни, я приведу некоторые.

Полковник Георгий Иванович Соломко: «Нас, вновь прибывших в училище, представили его начальнику. Подошёл высокий, стройный, с иголки одетый в военную форму командир, в петлицах — четыре «шпалы», на груди ордена Ленина и Красного Знамени и медаль «XX лет РККА». Блестящие сапоги со шпорами — просто картинка, и лицом красивый. Прошёл вдоль строя, внимательно осмотрел каждого, улыбнулся, очевидно, понравился наш внешний вид».

В войсках противовоздушной обороны нашей страны хорошо знают заслуженного деятеля науки, доктора технических наук, профессора, генерал-лейтенанта Василия Дмитриевича Кириченко. Он закончил Сумское артиллерийское училище в 1939 году, продолжил там службу в должности командира взвода курсантов. Он пишет, что начальник училища оставил в его душе добрую память на всю жизнь. «Иванов В. А. только что вернулся из Испании. Стройный, безукоризненно одетый, с наградами. Всегда спокойный в проявлении своего характера, никогда не повышал голоса, был требовательным до самых тонкостей, относящихся к делу. Знал дело досконально, но никогда этого не подчёркивал».

Окончивший САУ 6 июня 1941 года писатель-публицист полковник Михаил Александрович Пóдуст вспоминает: «В июле 1939 года успешно сдал вступительные

экзамены в Сумское артиллерийское училище. На мандатной комиссии начальник училища полковник Иванов поздравил меня и других курсантов с зачислением в училище. Начальнику училища было не более 40 лет. Стройный, подтянутый, выше среднего роста, светлые волосы ложились волнами, на груди два ордена. Он приходил на все вечера в клуб училища, любил танцевать вальс».

Ну, насчёт цвета волос Михаила Александровича слегка подвела память — волосы у генерала были светло-каштановыми, проще говоря — рыжими. Но насчёт вальса — точно. Танцевал он великолепно, на наших курсантских вечерах часто именно он приглашал на первый тур вальса самую симпатичную из наших девушек, чаще всего — студенток медицинского и педагогического институтов. Сколько потом бывало разговоров! Нет-нет, не надо тут думать лишнего, но стройный со-рокалетний высокий генерал, безупречно выбритый, в идеально отутюженной форме, прекрасный партнёр, галантный кавалер, очень нравился женщинам. А мы, разумеется, считали, что так и должно быть — наш генерал есть образец для подражания во всём, в том числе и в умении деликатно относиться к представительницам прекрасного пола. Впрочем, ходили и кое-какие сплетни, но я их не помню.

Почти идиллическая картина — замечательное училище, в прекрасных помещениях, построенных ещё до революции для Сумского кадетского корпуса, образованнейшие командиры, хорошее питание, отличная форма, требовательный, но справедливый интеллигентный начальник, не бурбон какой-нибудь. Хорошо? Да, но...

* * *

Каждая большая трагедия включает в себя немало тяжелейших подробностей. О событиях августа — ноября 1941 года, о том почти безнадёжном положении, в котором тогда оказался левый фланг советско-германского фронта, в общем-то, известно многое. Но есть и детали относительно мало известные.

В августе, когда Киев был ещё в наших руках, гитлеровцы вышли на левобережье Днепра. В районе Шостки они прорвали наш фронт и оказались в ста километрах от казавшихся ещё несколько дней назад вполне тыловых Сум. Прикрыть город было нечем — каких-либо воинских частей Харьковский военный округ не имел. Военный Совет округа принял отчаянное решение — задержать Вторую танковую группу Гудериана силами срочно формируемого «Отряда особого назначения». Его составили курсанты нескольких военных училищ (Сумского и Харьковского артиллерийских, Сумского и Чугуевского пехотных), Сумской коммунистический батальон, полуэскадрон конников-добровольцев. В отряде были пехотные батальоны, два артиллерийских полка и отдельные спецподразделения. Командовать отрядом было приказано начальнику Харьковского артиллерийского училища генерал-майору Алексею Семёновичу Чеснову. Комиссаром отряда стал комиссар этого училища батальонный комиссар Илья Фёдорович Мангушев (он вскоре погиб). Артиллерией отряда командовал начальник Сумского училища полковник Иванов.

23 августа курсантские подразделения заняли оборону неподалёку от деревни Волокитино Путивльского района. Умело расположенные Ивановым на левом берегу реки Клевень курсантские батареи оказались для немецких танкистов полной неожиданностью. 8 сентября курсанты-артиллеристы своим огнём из засад сорвали попытку фашистов форсировать Клевень, на несколько дней задержав противника. Чего это стоило, нетрудно понять. Более двух месяцев отряд упорно продолжал сражаться, войдя в состав 40-й армии.

...У деревни Волокитино установлен памятник погибшим курсантам. Живых тогда осталось немного, в конце ноября отряд вывели из зоны боевых действий и расформировали, курсантов САУ эвакуировали. Трёх из них хорошо помню по службе в Сумах в пятидесятых годах. Прекрасные боевые офицеры. С уже упоминавшимся капитаном Соломко мы участвовали в училищной самодея-

тельности. Иван Богатырь, награждённый за подбитый танк орденом Красного Знамени, командовал одной из батарей нашего дивизиона. А в батарее капитана Юрия Шульги я служил командиром взвода. Все трое — очень скромные люди, о своём участии в тех боях они ничего не рассказывали. Все трое вышли в отставку полковниками. Все трое — украинцы.

И ещё об одном не могу не вспомнить. В известном докладе Н. С. Хрущёва в числе незаконно репрессированных военачальников назван комдив К. П. Подлас. Это правда, но не вся. Никита Сергеевич забыл сообщить, что Кузьму Петровича освободили, восстановили в РККА в том же звании, назначили заместителем командующего войсками Киевского особого военного округа. Генерал-лейтенант К. П. Подлас командовал 40-й, а затем 57-й армией. 22 октября 1941 года награждён орденом Ленина, поверьте, осенью трагического сорок первого ордена «за так» не давали, генерал был настоящим героем. 25 мая 1942 года он погиб во время прорыва из окружения. По другим данным — был тяжело ранен и застрелился, не желая попасть в плен. Помните «Живые и мёртвые» Константина Симонова? Комбриг Серпилин говорит, что смерти он не боится, ему пропасть без вести, попасть в плен нельзя — бывшему репрессированному этого не простят.

* * *

После расформирования Отряда особого назначения три дивизиона САУ 23 ноября 1941 года со станции Старое Роговое (это недалеко от Старого Оскола Белгородской области) убыли в Сибирь. Сегодня трудно представить себе, что представляла собой тогда эвакуация крупного предприятия или учебного заведения. Частые остановки — надо же пропустить эшелоны, идущие к фронту! Нехватка паровозов. Скудное питание. Да ещё и сибирские морозы. Это великий подвиг нашего народа, это отдельная составляющая ответа на вопрос о том, как мы сумели выстоять и победить. А груз ответственности, лежавшей на полковнике Иванове, просто невозможно представить.

Но 12 декабря первый эшелон прибыл в Ачинск. Сорокаградусный мороз, а у курсантов летнее обмундирование, на головах пилотки. Не стану перечислять трудностей, стоявших перед начальником училища, они были во всём. Однако уже 4 апреля 1942 года училище произвело первый выпуск лейтенантов, среди них были и мои будущие сослуживцы Богатырь, Соломко, Шульга.

Полковник Иванов не только провожал в действующую армию своих воспитанников. Он, считая свою главную задачу выполненной — училище работает! — настойчиво просил командование отправить на фронт его самого. Летом 1942 года просьба была выполнена. Помогло то, что в Томском артиллерийском училище должность заместителя начальника занимал полковник Леонид Иванович Дульщиков, в апреле 1942 года прибывший с Волховского фронта, где он командовал артиллерией созданной в Сибири 59-й армии. Из Томска, где он, можно сказать, прошёл стажировку — думаю, что это было продуманным шагом командования, — его и направили в Ачинск на должность начальника училища. Впоследствии он стал генерал-лейтенантом артиллерии, а наш Владимир Александрович больше прямого отношения к САУ не имел.

* * *

12 июля 1942 года полковника Иванова назначили заместителем, а вскоре командующим артиллерией 14 гвардейской стрелковой дивизии, с июля 1942 г. участвовавшей в оборонительном сражении на Сталинградском фронте. Наверное, не нужно пояснять, что это значит. Июль — октябрь 1942 года, пожалуй, самое кровавое и жестокое время войны. Напомню, что именно 28 июля Народный комиссар обороны Союза ССР И. Сталин подписал знаменитый приказ № 227, названный в народе «Ни шагу назад!».

Немцев остановили. 1 ноября Иванов вступил в командование артиллерией 14-го стрелкового корпуса. А 19 ноября, в день, ставший нашим праздником, Днём артиллерии и ракетных войск, он руководил мощным огнём сотен

орудий и миномётов корпуса, обрушившихся на противника. Именно артиллерия начала и обеспечила успешное решение главной задачи «Урана» — окружить 6-ю армию Паулюса. От «катюш» и пушек полковника Иванова более всего досталось тогда итальянской 8-й армии и румынской пехоте.

2 февраля 1943 года, в день окончания Сталинградской битвы, В. Иванов стал командующим артиллерией 1-й гвардейской армии генерала А. А. Гречко, будущего министра обороны, маршала Советского Союза. В этой должности Иванов воевал до 1 апреля 1944 года.

В начале 1943 года 1-я гвардейская армия наступала в Донбассе, в июле участвовала в Изюм-Барвенковской наступательной операции, а в августе — сентябре — в операциях по освобождению Левобережной Украины. В ноябре — декабре войска армии участвовали в отражении контрнаступления противника на киевском направлении, а с 24 декабря — в наступательной Житомирско-Бердичевской операции. К концу февраля 1944 года армия была переброшена юго-восточнее Шепетовки, где в марте — апреле вела наступление на направлении главного удара фронта в Проскуровско-Черновицкой операции, после чего участвовала в окружении и разгроме одного из знаменитейших своими прежними победами соединений вермахта, 1-й танковой армии Ганса Вильгельма Хубе. Символическая деталь. В январе 1943 года Паулюс получил радиограмму из Берлина: «Направить генерала танковых войск Хубе в ставку фюрера для вручения ему мечей к Рыцарскому кресту с дубовыми листьями» — Гитлер спас своего любимца от плена. Но под Каменец-Подольском Ганс Хубе вместе со своей армией вновь был окружён именно теми, кто едва не пленил его в Сталинграде. Он вновь вырвался из окружения, на этот раз вылетел в ставку за бриллиантами к Рыцарскому кресту, получил награду, но на другой день погиб в авиакатастрофе. Не знаю, было ли известно об этом Гречко и Иванову.

За личное мужество и мастерство в руководстве войсками наш генерал и получил в то время второй орден

Ленина, и ещё три ордена Красного Знамени, к которым потом добавились два ордена Отечественной войны I степени и многочисленные медали.

...Читаю длинный список городов, освобождённых 1-й гвардейской армией при участии артиллеристов В. Иванова, и возникают грустные мысли. Миллерово. Старобельск. Красный Лиман. Изюм. Лозовая. Славянск. Житомир. Павлоград. Проскуров. Почти вся советская Украина полита кровью советских солдат. И что там происходит сегодня?

* * *

Справа от главного монумента Мемориала на Южном кладбище нашего города находится плита с именами двадцати курсантов Томского артиллерийского училища, погибших 21 февраля 1944 года. Мне не довелось читать каких-либо документов об этой трагедии, нам о ней не рассказывали, но до недавнего капитального ремонта учебного корпуса училища по ул. Фрунзе, 9, из внутреннего двора была хорошо видна угловая часть здания, заделанная скверным кирпичом вместо того, который когда-то положили строители Томской мужской гимназии. Зимой в корпусе всегда было холодно, но в аудитории на втором этаже... Мы не любили её... И вот такая картина сложилась у меня из обрывков услышанного тогда.

Трудно понять, как это могло случиться, но в класс ВВП — военно-инженерной подготовки — были доставлены в качестве учебного пособия немецкие противотанковые мины, и у одной или нескольких из них не были удалены взрыватели. Не осталось никого, кто мог бы рассказать, почему они взорвались, когда на занятиях в классе был один из выпускных взводов. До выпуска ребятам оставалось несколько месяцев. Летом начиналась операция «Багратион», выпускники ТАУ, как правило, назначались сразу командирами батарей, погибшие могли бы заполнить все вакансии минимум в двух артиллерийских полках.

Говорят, о ЧП доложили лично Верховному, крайне обеспокоенному обеспечением командными кадрами важ-

нейшей операции 1944 года. Сталин был взбешён, и сказал Н. Воронову: «Найдите надёжного достойного командира из фронтовиков для руководства этим училищем, пусть обеспечит учёбу без тыловых потерь. У нас боевых хватает». Воронов назвал имя своего старого друга, командовавшего в это время артиллерией 1-й гвардейской армии. Не знаю, как к этому предложению отнёсся командарм-1 А. А. Гречко, но, скорее всего, его и не спрашивали. Рекомендации Воронова для Сталина было достаточно.

Легенда? Но взрыв произошёл 21 февраля 1944 года. А полковник В. Иванов стал начальником 1-го Томского артиллерийского училища 3 апреля. 9 апреля Указом Президиума Верховного Совета СССР ему было присвоено звание гвардии генерал-майора артиллерии. Есть связь между этими датами и фактами?

14 марта 1945 года училищу исполнилось 25 лет. Многие военно-учебные заведения, отметившие примерно в это же время подобный юбилей, были награждены орденами Красного Знамени. ТАУ-1 было удостоено меньшей по рангу награды — ордена Красной Звезды. Бессмысленной гибели двадцати курсантов, не ставших офицерами, нам не простили.

* * *

Училищем генерал В. А. Иванов командовал чуть более четырёх лет, как раз до нашего выпуска, точнее, до нашего последнего экзамена, так как присвоение званий нашему курсу по финансовым причинам было отложено до 1 января 1949 года. Лейтенантские погоны нам вручил новый начальник училища, замечательный человек, Герой Советского Союза, полковник Виктор Гаврилович Цивчинский. А генерал Иванов 30 сентября 1948 вступил в должность командующего артиллерией стрелкового корпуса на Дальнем Востоке. Через два года он стал заместителем командующего артиллерией Дальневосточного военного округа по боевой подготовке. Подробностей не знаю, но ДВО находился в те годы в ответственной обстановке в связи с войной на Корейском полуострове.

В 1954 В. Иванов окончил Академию имени К. Е. Ворошилова. Последняя его армейская должность — командующий артиллерией Северокавказского военного округа. В Ростове-на-Дону он снова, как и в 1942 году в Сталинграде, служил под командой одного из самых ярких полководцев Великой Отечественной, маршала Ерёменко. Кстати, в прямом подчинении Андрея Ивановича он оказался в третий раз (после Сталинграда в 1942 году и Томска, когда Ерёменко командовал войсками нашего Западно-Сибирского военного округа).

25 августа 1961 генерал-лейтенант Владимир Александрович Иванов вышел в отставку.

* * *

Сегодня уже почти не осталось участников Великой Отечественной, уходят и артиллеристы, выпускники 1-го Томского ордена Красной Звезды артиллерийского училища. Нет уже и самого училища, ставшего высшим командным училищем связи и расформированного в марте 1999 года. 9 апреля 1980 года скончался Владимир Александрович Иванов, наш генерал, выдающийся военный педагог, один из тех, кто доказал, что наша артиллерия действительно Бог войны. Грустно. Но я убеждён, что ни великие события, ни настоящие люди никогда не уйдут не только из нашей благодарной памяти, но и из памяти наших потомков.

Галина-Мандолина

Рассказ

1.

Игорь Владимирович много лет не был в родном городе, где прошли его детские годы и ранняя юность. Теперь он шёл по знаменитому Красному проспекту, по той его части, где ничто не изменилось со времён его молодой жизни. Странное чувство испытывал он: будто и в самом деле вернулся в прошедшее время, в его пространство, и сейчас что-то оживёт и встретится ему из того, что было, что прошло, исчезло навсегда, а теперь вдруг может снова ожить. Он и сам себя ощущал словно бы очнувшимся после смерти, ожившим и получившим невероятную возможность прожить уже прожитое. Возвращение в прошлое столь же невероятно и опасно, как и перелёт в будущее, потому что прошлое может оказаться таким же непредсказуемым.

Теперь он пытался вспомнить, сколько же лет он не был здесь. Его мать умерла двадцать лет назад, и он приезжал на похороны, прожил три дня, конечно, никаких прогулок по старым улицам не было, не до того; потом он тоже на короткое время приезжал, вернее, заезжал, к брату, пока тот, теперь уж шестнадцать лет тому назад, не уехал в Краснодар, где у его жены жили родители в большом собственном доме, который после их смерти

достался дочери. В квартире в родном городе остался их взрослый сын Саша. После отъезда брата не к кому было и приезжать в родной город. Племянник, по профессии стоматолог, был женат, но вдруг сильно запил, развёлся, разменял старую отцовскую квартиру, переселился в однокомнатную, в гости не приглашал, да Игорю Владимировичу и самому не хотелось приезжать и, наверное, как то вмешиваться в хаос племянниковой жизни. И получалось, что лет пятнадцать, а уж десять-то точно, он не был в этом городе. А тут Саша стал его усиленно приглашать в гости, сообщал, что совершенно не пьёт, даже не нюхает спиртное, что появилась у него хорошая женщина, хочет, чтобы дядя посмотрел на неё; и за всеми его приглашениями уловил он Сашину тоску по родным, по отцу с матерью; а он всё-таки близкий человек, дядя. Вот он и приехал в свой родной город, и теперь у него была полная возможность походить по знакомым улицам и вспомнить другую жизнь.

Итак, шёл он не торопясь по Красному проспекту, поглядывая по сторонам, улыбаясь знакомым домам, конечно, постаревшим, подсевшим, как подсаживаются в старости и люди, но всё ещё узнаваемым шершавыми серыми стенами и очень широкими, в деревянных переплётках, окнами, теперь таких не делают ни в учреждениях, ни в жилых домах. Тогда ведь строился город социалистический, с широким замахом в будущее, оно должно было быть светлым, широкие окна и предназначались для этого света самой новой жизни. Прошёл мимо небольшой компании четырёхэтажных домов, раньше принадлежавших Кузбассуглю, где жили его баба Катя и деда Яша. И первый раз прищемило сердце, вот что уж никакими силами не вернёшь, как не превратиться теперь ему в маленького мальчика, который приходил в один из этих домов в гости и его встречали ласковыми словами и поцелуями, и приготовленными для него же угощениями. Кинотеатр имени Маяковского теперь совсем другой, новый, и местоположение своё поменял, а бывший «Юнгштурм» всё на том же месте. На улицу Октябрьскую он сворачивать не

стал, решил, что ещё немного пройдёт, а потом вернётся, посмотрит, стоят ли ещё дома совсем его раннего детства, а потом пройдёт до главпочтамта и там до Революции, чтобы вырулить хотя бы на то место, где была его улица Бурлинская, теперь, как он уже знал, совсем изменившая свою геометрию. Дом под часами, здесь жили дядя Ваня и тётя Маруся. Ещё немножко ниже пройти — и вот тут был когда-то большой красный дом, в котором однажды случился пожар, и пламя и дым от него дотянулись до их Октябрьской, и дети, в том числе и такие малыши, каким тогда был и он, побежали смотреть на пожар, и, кажется, он стоял вот на этом самом месте испуганно и восторженно замороженный, будто загипнотизированный, смотрел на яростный, грозно гудящий огонь и чёрный дым, они широкими полосами вздымались в небо, будто это не просто пожар, а извержение вулкана. Тогда он впервые услышал слово «вредительство». Многие годы спустя, вспоминая этот пожар, он всё чаще думал, что он действительно был неким предупреждением и предзнаменованием всех бед, которые потом пришлось пережить и их семье, и многим другим.

Так вот он и шёл по знакомым с раннего детства улицам, и память подсказывала то, что казалось напрочь забытым. И более всего ему хотелось добраться до того пространства, в котором когда-то существовала его улица Бурлинская. Вот необъяснимое состояние памяти и души! На Бурлинскую он попал после драматических событий в семье, жили здесь бедно, голодно, долгое время мать не могла устроиться на работу, после благоустроенной квартиры на Октябрьской здесь ему пришлось, ну, конечно, не в первый же год, он тогда ещё был мал для этого, а позже, рубить дрова, таскать уголь, носить с водокачки тяжёлые вёдра с водой, вскапывать огород и получать всякие суровые замечания от бабы Шуры, обвинявшей его в лени; а помнится эта жизнь радостной и полной надежд. Его и теперь придавливала сердечная тоска по той жизни, по улице, которой теперь и нет, только название сохранилось. И эти его чувства, переживания удивительны и

необъяснимы. В жалкое жилище он вынужденно переселился с младшим братом и матерью; деревянный дом на две половины; у них две комнаты, одна совсем крошечная, едва-едва кровать да стол помещались, между ними кухня, она же прихожая, тут была прибита вешалка для верхней одежды, в углу умывальник с помойным ведром под ним. Ни окна, ни форточка в кухне и маленькой комнате не открывались, потому что почти перед ними стоял сортир на двух хозяев, вечно переполненный вонючим добром, а ещё мухи поганые летели; так и жили зимой и летом с закрытыми окнами и форточками. По периметру ограды росли тринадцать гигантских тополей, это были единственные растения, сопровождавшие их детство, по ним они учились любить природу. Они никогда не видели, как растут яблоки, груши, сливы, абрикосы и прочие фрукты, земли, где можно запросто сорвать с ветки яблоко и съесть его, казались им недостижимым раем. У них в ограде не росли даже привычные для Сибири черёмуха, рябина, бузина, сирень, хотя возле других домов эти растения были. Зато возле уборной росла у них в изобилии неистребимая сладкая ягода, которую называли «поздника», а они дали ей своё название, более соответствующее её местоположению у сортира — бздника. Эту бзднику взрослые не разрешали есть, говорили, что ягода поганая, заболеть можно, они с братом воздерживались, хотя изредка всё-таки срывали некоторые спелые ягодки, а вот Галина-мандолина ела её горстями, и рот её вечно был чёрным. В ограде вскапывали небольшой огород: под огурцы, помидоры, лук, морковку, горох. У соседки, которую звали Исаевна (он и теперь не вспомнит её имени — Исаевна да Исаевна), в огороде то же самое, но всё почему-то лучше; грядки прополоты, чистые, ни одной сорной травинки, морковь вырастала быстрее и крупнее, и так хотелось её попробовать — когда ещё своя поспеет, на их стороне больше тени, и вот Игорь попластунски ползёт между грядками к соседской моркови. У Исаевны на эту сторону окон нет, она может подглядеть в щель почтового ящика, но если сильнее прижиматься к земле, то не увидит. Он аккуратно выдёргивает две мор-

ковки в разных местах грядки и заделывает образовавшиеся дырки землёй, заглаживает рукой, обратно тем же ходом, его уже ждут, морковку слегка сполоснуть в кадке для дождевой воды или просто вытереть лопухом, крепкая, сладкая и голод притупляет. Потом, наконец, дожидались и своего огородного урожая. Лето, конечно, было лучшим временем. Зимой всегда холод и нужны дрова, уголь, и ещё воду принести с водокачки...

И всё-таки такое незабвенное, не уходящее из памяти золотое время начала жизни!

Ему было десять лет, когда он поселился на Бурлинской, и прожил там до семнадцати, до отъезда в другой город, в университет. Тут была совсем другая жизнь в сравнении с той, какой он жил на улице Октябрьской; он чувствовал себя первооткрывателем, открывшим новую землю, отсюда его мечты о путешествиях, об Арктике, о полярных экспедициях, в которых он мысленно принимал участие. Но — странное дело: великие путешественники открывают новые земли, их наносят на карты, дают названия, и они остаются жить, существовать в своей первоизданной особенности, а открытая им земля вскоре после его отъезда перестала существовать. И следа не осталось от их дома и даже пеньков от тополей, не говоря о неприличной ягоде и морковных грядках; новое строительство переименовало направление старой улицы, расположив его почти параллельно к старому пространству, ничего не узнать. Будто и не было его земли, исчезла, как исчезло его детство и отрочество.

А он упорно шёл в привычном направлении, подчиняясь велению памяти.

Он подходил к ГУМу, раньше его тоже не было, и он своим серым кубом изменил знакомое пространство.

И тогда он увидел согбенную старческую фигуру, одетую в мучительно знакомую одежду: синюю, выцветшую, похожую на халат или лёгкое пальто, но с заметными складками сзади. Вот эти складки, а спереди должны быть не пуговицы, а крючки. Как же называется эта одежда? Вот забыл! Подойти и спросить эту старушку? Она, по-

хоже, милостыню собирает? Неловко спрашивать. Как же, как же называется? И — как озарение: эта одежда называется казакин. Казакин! Конечно, казакин! Он тотчас всё вспомнил...

2.

Вспомнил, как был сшит казакин для его матери. Из дорогого синего материала (кажется, он назывался шевиот, или бостон — он уж и не помнит), по специальному заказу, частным портным, уверявшим, что это вовсе не мужская одежда, а входящая в моду новая женская модель, что в Москве за казакинами гоняются, что жёны самых ответственных работников уже носят на торжественных приёмах только казакины, и у него есть самая модная выкройка.

Его мама, Инна Александровна, была тогда совсем ещё молодой; ну, конечно, ей же и тридцати лет не исполнилось! И она была красива, не жаркой, темноглазой, бросающейся в глаза восточной красотой, а мягкой, доброй, сероглазой, светлолицей, с плавными, гармонически сочетающимися всеми чертами оживлённого, обращённого навстречу каждому, вовсе ещё юного лица. Но она уже успела родить двух сыновей — Игоря и Владимира, и всё-таки оставалась молодой, почти юной не только внешне, но и по своему поведению, желаниям, поступкам. Инна была первым ребёнком у своих родителей и единственной дочкой, ей досталось больше, чем братьям, родительской любви, ласки, баловства, особенно со стороны отца, удовлетворявшего любой её каприз, любое желание. Они тогда жили в Барнауле на Большой Дворянской улице, и у Игоря Владимировича иногда возникали подозрения — не был ли его дед, отец мамы, на самом деле выходцем из дворянского сословия? Вот и маму его пытались учить с помощью домашних учителей: хорошим манерам, игре на фортепиано, бальным танцам, у неё обнаруживался явный художественный талант, она могла бы стать актрисой

или писательницей, но родители не отпускали любимую дочку от себя, и она поступила на подвернувшиеся экономические курсы, а вскоре вышла замуж. Жизнь её сложилась из упущенных возможностей. Но разве это могло помешать любить эту прекрасную молодую женщину, родившую двух сыновей! Муж её обожал, а сыновья с возрастом понимали её как некий общечеловеческий идеал, и поэтому, с возрастом же, начинали предъявлять ей явно завышенные требования.

Старший сын, Игорь, затаил обиду на мать за то, что она вышла замуж после гибели отца, даже не за сам факт, что вышла замуж за другого человека, а потому, что она явно любила нового своего мужа; этого он не хотел понимать и смиряться с этим. Это тоже была одна из причин, что он очень редко приезжал в родной город.

А младший сын, Владимир, а по-домашнему Владик, очень обиделся на мать и даже с ней крупно повздорил за то, что она однажды зимой не пустила переночевать Галину-мандолину и та, как он позже выяснил, ночевала на чердаке. Всё можно было, конечно, объяснить: у них были две небольшие комнаты в коммунальной квартире, где её спать-то положить? Было известно, что она уже не первый раз дома не ночует, может быть, на ней есть и вши, и клопы, да и не хотелось новому мужу показывать эту придурковатую, нечистую девчонку. Вот она и сказала ей: иди домой, дома надо ночевать. И даже не спросила, почему Галина-мандолина не ночует дома. Владик же посчитал, что в любом случае её надо было принять, накормить и спать уложить. Он даже голос повысил, выговаривая матери, и довёл её до слёз.

Ну а когда сшили казакин, ничего этого ещё не было, они все любили её, такую весёлую, красивую и добрую. А она примерила казакин и по-девчоночьи покружилась в нём по комнате, и новое это платье всем им понравилось, даже двухлетний Владик пускал слюни от удовольствия и колотил пластмассовым автомобилем по стулу. Потом они ходили с отцом в гости, и мама надевала казакин, потом были на торжественном заседании, и она была в нём

же, и все восхищались и справлялись, где и как можно такой же заказать; хитрый портной, очевидно, рассчитывал на такую рекламу. Появились казакины и у других знакомых женщин, и когда их стало слишком много, мама свой аккуратный повесила в гардероб, где он и висел много лет до самой её смерти.

А Галина-мандолина была влюблена в свою тётю Инну, может быть, она и пришла зимой, чтобы побыть с ней, а не столько оттого, что ей негде было переночевать, поэтому она тут же и забыла про эту обиду, как и вообще забывала любые обиды, и всякий раз смотрела с восхищением на любимую тётушку. И вот, когда умерла Инна Александровна и стали отдавать родным какие-то вещи её на память, то Игорь с братом решили, не сговариваясь, отдать сохранившийся в гардеробе казакин Галине-мандолине, и та даже расплакалась от радости.

Итак, казакин был отдан на память Галине-мандолине, и вот теперь такой же, сильно выгоревший, заметно поистрепавшийся на какой-то бабушке. Кто она? Догадка кольнула в сердце. Он решительно подошёл к нищенке и заглянул ей в лицо. Предчувствие не обмануло — это была она, Галина-мандолина.

3.

— Галина-мандолина! — кричит Игорь, забравшись на крышу дома. Залезть на крышу очень просто: сперва по воротам забираешься на более низкую крышу сенок, а с неё уже перелазешь на главную. Тут хорошо посидеть или даже полежать на тёплом железе, посмотреть в синее небо, помечтать об Арктике; тогда небо — это чистая вода океана, а облака — ледяные торосы. Если припекало солнце, можно было перебраться на их половину, где тополь оставлял широкую и плотную тень. И вот он на крыше и зовёт Галину-мандолину, чтобы подразнить её, он знает, что сейчас будет. Галина-мандолина увидела его на крыше и истошным голосом заорала:

— Игорь! Сейчас же слезай! Гарик! Ты упадёшь и разобьёшься! Дурак! Слезай немедленно!

Игорь хохочет и продолжает дразнить Галину-мандолину:

— Я сейчас спрыгну.

— Только попробуй! Дурак противный! — Галина-мандолина пускается в рёв с обильными слезами и с всхлипываниями.

Игорь хохочет.

Теперь он забрался на дерево, устроился на толстом суку тополя, его не сразу разглядишь среди густой листвы, и он опять кричит:

— Галина-мандолина! Смотри, где я сижу. Да ты вверх посмотри, слепосарая!

Наконец она его разглядела и сходу начинает рыдать:

— Ты что сделал? Гарик! Ты же теперь не слезешь! Я маме сейчас скажу про тебя! — и она с рёвом убегает жаловаться бабе Шуре, которую зовёт мамой. Это обстоятельство позволяет им с братом считать Галину-мандолину умственно отсталой: как же можно бабушку называть мамой, конечно, ненормальная! А если к этому прибавить её полускрюченные пальцы на руках и на ногах, то вовсе можно было записывать её в больные, значит, ненормальные.

А матери у неё не было с младенческого возраста, поэтому с этого же возраста баба Шура и была для неё матерью. Настоящая её мать, Варвара, была истинной красоткой: в меру пышнотелая, голубоглазая, с густыми, цвета жёлтой соломы волосами, о которых поэты слагают стихи и песни; и как она вышла замуж за отца Галины, простого шофёра, непонятно. Сама же Варвара была продавщицей в гастрономе, поговаривали, что она в чём-то провинилась, поэтому и поторопилась замуж, сменила фамилию, ушла в декретный отпуск, потом совсем уволилась, а потом и вовсе исчезла из города, бросив и мужа, и новорождённую дочь. Она с самого рождения мало обращала внимания на дочку; муж уходил на работу, она исчезала по своим делам; новорождённая заливалась рёвом, голодная и мокрая. Зи-

мой был случай, когда соседи не выдержали и побежали за бабой Шурой, у которой был ключ от комнаты сына; та пришла, и нашла маленькую уже посиневшую и потерявшую голос от крика, а мокрые пелёнки совершенно заледенели в холоде нетопленной комнаты. И так она стала забирать Галину и уносить к себе, пока Варвара однажды вовсе не вернулась домой и передала Фёдору записку, что уезжает с другим. А Галина долго болела, у неё развивался ревматизм, болели суставы, распухали колени, и она тогда могла только сидеть на солнышке на крылечке, и пальцы у неё так и остались полускрюченными, и вдобавок она оглохла на правое ухо.

Их мать объясняла им с братом, что надо жалеть двоюродную сестрёнку, у неё нет мамы, и папа теперь на фронте. Вот это действовало более всего — на фронте!

Шли бои на Халхин-Голе. Стояла сухая изнуряющая жара, на исходные позиции передвигались скрытно только ночами. Его напарник надевал через плечо белое полотенце и шёл впереди, а он на самой малой скорости вёл за ним свою полуторку. Он потом вспоминал, как для него, абсолютно мирного парня, никогда не мечтавшего стать военным, началась военная жизнь, растянувшаяся на многие годы и высосавшая из него все жизненные соки.

Сама же их мать особенной нежности к Галине не проявляла, хотя та постоянно к ней липла; стоило матери присесть на крыльце, как тут же присаживалась Галина-мандолина, прижимаясь к ней. Нет, мать вовсе не отталкивала её, но и не обнимала, не приласкивала. Она вообще всегда больше любила мальчишек, а не девчонок. И тогда у неё был тяжёлый период в жизни. Она не могла найти работу, уходила утром на поиски и к вечеру приходила ни с чем. Одно время её приняли как внештатного сотрудника в радиокомитет, ей давали задания — сходить туда-то, переговорить с тем-то, и записать, что он скажет или расскажет. Записать на бумаге — тогда не было ещё никаких диктофонов. Она писала карандашом в блокнот, сокращая слова, потом их разбирала и переписывала. Ка-

жется, ей такая работа нравилась, но заработок был смешотворно малым, поэтому она параллельно искала более надёжное место. Но то, что она рассказывала старшему сыну Игорю о своей корреспондентской работе, он запомнил, и, наверное, это сыграло свою роль, когда он после окончания филфака пошёл в журналисты.

Итак, не испытывая особой нежности к Галине, мать наставляла сыновей на доброе к ней отношение, всё-таки сестра она им. Нет, они с Владиком вовсе не обижали Галину-мандолину, но пошутить, подразнить её им нравилось. Они и прозвище ей придумали нелепое и, казалось им, смешное, в чём-то совпадавшее с её поведением и всем обликом. Да просто в рифму было, созвучно: Галина-мандолина. Хотя был ещё случай: от их отца осталась мандолина, на которой он хорошо играл, не только по слуху, но и по нотам, просил сохранить до возвращения; он надеялся на возвращение. Баба Шура хранила изящный инструмент, никому не давала в руки, но однажды раздались звуки мандолинных струн, оказалось, что Галина без спроса достала её и теперь пытается своими скрюченными пальцами подёргивать струны. Может быть, после этого случая её стали называть Галиной-мандолиной? Всё-таки, скорее всего, просто по созвучию. Иногда братцы даже и имя её не употребляли, а прямо обращались: Мандолина, пошли в прятки играть, или ещё куда-нибудь приглашали, называя только Мандолиной.

От матери ей достались волосы, глаза уже были не те и нос толстоват в переносице, нет, не красавица, но в целом лицо даже приятное, светлое. Впрочем, это никого не волновало, какая есть, такая и есть. Беспокойство у бабы Шуры вызвало то, что с учением в школе дело у Галины пошло плохо. Она кое-как выучилась читать и считать, оставаясь на второй год чуть ли не в каждом классе, а вот письмо совсем у неё не пошло; не могла она своими изуродованными пальцами ухватить ручку или карандаш, карябала огромные каракули. Впрочем, это было уже позже, когда братья поселились на Бурлинской, Галине-мандолине было лет шесть. Она тут же полюбила своих

братьев, приняла их в своё сердце, не отставала от них, как собачонка, и почему-то решила проявлять о них всяческую заботу, что более всего и веселило братьев, и подсказывало всё новые дразнилки.

4.

Она, конечно, тотчас его узнала, глаза её так знакомо наполнились слезами, она почти прохрипела: Гарик! Это ты! Старый стал...

А он не знал, что и сказать. Спросил неожиданно сурово: «Ты почему здесь? Ты что, милостыню собираешь?». Она кивнула, и стала объяснять: Да я сперва у Турухановской церкви стояла. Ты помнишь? Там баба Шура меня крестила, и тебя тоже, она рассказывала. А я соберу денежек — и иду в церковь свечку поставить; один раз во здравие, другой раз за упокой. Но там старухи вредные оказались, стали меня гонять, не давать места, ну и прогнали. Я теперь здесь, у ЦУМа, стою. Также иногда милиционеры придираются...

— Господи! Да почему же ты милостыню-то собираешь? У тебя пенсия-то есть какая-нибудь?

— Не заработала. За потерю кормильца только. Ни на что не хватит...

— Галина ты мандолина! И что ты за человек такой! Нищенкой стала! — он слегка приобнял её за плечи. Она вся так и приникла к нему, вздрагивая и всхлипывая. Потом неожиданно бодро сказала: «Ты знаешь, здесь же совсем недалеко наш дом был, пройдем?». Игорь Владимирович выразил сомнение: «Да я знаю, что там ничего не осталось, уж много лет, я когда-то приходил, ничего не узнать». «А я тебе точно место покажу, сам увидишь». И она решительно двинулась первой, совсем по-старушечьи семеня, а он, вспомнив её болячки, подумал, что ходить-то ей вообще не легко.

Она привела его к кирпичному типовому пятиэтажному дому и сказала, что этот дом как раз и захватил их

место, только поставили его как-то наискосок, но вот где второй подъезд, как раз были сенки Исаевны, а квартиры уже занимают нашу половину, только не полностью, часть остаётся в новом дворе, но сообразить-то можно, а теперешняя детская площадка совпадает маленько с нашим огородом, помнишь грядки с морковью? Он смотрел во все глаза, мысленно поворачивая новый дом в разные стороны и, кажется, тоже стал признавать старое место. Зачем только всё пространство исказили? Или это неизбежно, время не просто меняет, но и искажает прошлое, приспособливает его к себе, к своим новым представлениям и о пространстве, и о времени, и о красоте. А Галина-мандолина всё ещё там, в том хронотопе, поэтому и нашла старое место, не умом, не соображением, сердце подсказало. И, будто подтверждая его мысли, она сказала негромко: «Лучшее время было!». Он откровенно удивился: «Почему лучшее-то? Мы голодали, мёрзли, работать приходилось; пуговицы-то помнишь? А вон там — теперь я тоже сообразил — на углу, был хлебный магазин; чтобы выкупить хлеб, с ночи очередь занимали. Ты же тоже стояла. Зимой особенно тяжело; холодрыга, и спать охота, стоя засыпали... А ты говоришь — лучшее!». — «Всё равно!»

5.

У Исаевны был взрослый сын Залман, инженер по электричеству, и дочь Дифа, студентка мединститута.

Залман был насмешник: слова без шуточки, без ухмылочки не скажет. Владика он почему-то прозвал япошкой, хотя ничего японского во внешности младшего братишки не было, правда, он был мал ростом и очень худ. С первой встречи Залман стал называть его япошкой. Владик тогда был маленький ещё, ему и пяти лет не исполнилось, сперва он и не понял, что Залман придумал ему такое прозвище, и поэтому просто не обратил на «япошку» внимания, но как-то Залман, едва войдя во двор, заорал: «Здо-

рово, япошка!», Владик вдруг отвернулся к стенке дома и тихо заплакал. И тут к Залману подскочила Галина-мандолина — как курица, защищающая своих птенцов, растопыривает крылья, волоча их по земле, и грозно ку-дахчет, так и она заорала: «Ты сам япошка, Залман!». И добавила: «Пердун!». Залман захохотал. Но это была правда. Как многие мужики, да даже их собственный дедушка Саша, на подходе к сортиру Залман считал допустимым не сдерживать скопившиеся газы и идти, громко попукивая. Но всё-таки обозвать его пердуном было большой дерзостью, он нахмурился и сказал: «Так обзывать взрослых нельзя!». Но Галину-мандолину было не унять: «Ты не взрослый! — кричала она. — Сам ещё сильно молодой!». Залман махнул рукой и пошёл в уборную, попёрдывая.

Значительно позже, уже во время войны, баба Шура предъявила Залману более серьёзную претензию. Тогда нередко выключали электричество, и в доме на тот случай держали керосиновую лампу и свечи. Не было в доме и ни одной розетки, чтобы подключить какой-нибудь электроприбор, но однажды стали замечать, что иногда вечерами свет становится совсем тусклым, будто кто-то крадёт электричество. Баба Шура догадалась, что это Залман использует патрон-жучок, к которому подключает, скорее всего, электроплитку. Всё это она ему и высказала, он не стал возражать, и вскоре принёс и им такой же патрон-жучок, они купили на базаре самодельную электроплитку, и теперь не надо было всякий раз затапливать печь, чтобы что-то разогреть, или закутывать кастрюли и чайник, чтобы подольше сохранить их тёплыми. И самовар не надо было разжигать. Боже мой, он ещё помнит, как кипятили воду в самоваре. Особенно выручала плитка летом. Залман был прощён.

А Дифа казалась Игорю ослепительной красавицей, он иногда даже зажмурился при встрече с ней, чтобы не выдать своего восхищения и ослепления. Невысокая, аккурратно сложенная, с густыми пепельными волосами — что-то она с ними делала, цвет был странным, — с очень миленьким, с мелкими чертами, лицом, большими се-

рыми глазами, нежным голоском, она пробуждала в нём только-только зарождавшиеся необычные ощущения, названия которым он не знал. Однажды она вышла во двор в одном узком лифчике и трусах, расстелила одеяло, положила какие-то книги и улеглась на солнышке загорать и готовиться к экзамену. Игорь замер, не в силах оторвать взгляд от этой нежной, открывшейся наготы, не в силах сдвинуться с места. У неё на руках и ногах был светлый тонкий пушок, как у одуванчика, хотелось к нему прикоснуться или дунуть, чтобы он слетел. Конечно, Дифа догадывалась, что испытывает этот мальчишка, глядя на неё, и нарочно его поддразнивала, приближалась к нему, маленькой своей ладошкой растрёпывала его волосы или, взяв его руку, говорила: «У тебя же цыпки! Смажь глицерином». И в этот раз, улёгшись на одеяле, она подозвала Игоря и сказала: «Вот, смотри, какие учебники мне приходится учить. Никогда не поступай в мединститут». А сама улыбалась и, приглашающе, чтобы он ещё приблизился и наклонился, показывала какую-то картинку в учебнике; тогда бы он мог к ней прикоснуться. Может быть, она этого и хотела? И он уже решился и приблизился почти вплотную, осталось только наклониться; и тут из-под его руки вывернулась Галина-мандолина. Оказалось, что за спиной она держала крапиву, и без всяких предупреждений мазнула ей по ногам Дифы, приговаривая: «Голы ноги не люблю, чем попало, тем и бью!». Дифа, взвизгнув, вскочила с одеяла и, чуть не плача, тоненько закричала: «Дура! У меня же волдыри будут!» — и убежала домой. Игорь воззрился на Галину-мандолину, медленно вырываясь из очарования, в котором только что был: «Ты чего это?». — «Могу и тебя ужалить!» — пригрозила Галина-мандолина. Ему тогда в голову не могла прийти мысль, что Галина-мандолина просто приревновала его к прекрасной Дифе.

И вот ещё был случай с Исаевной, тоже ещё довоенный. Купила она живую курицу, выкатила из сарая берёзовую чурку, вынесла небольшой топор и пригласила Игоря: «Ну-ка, отруби ей голову!». Игорь вначале смело взял то-

пор, перехватил у Исаевны курицу за ноги и приложил боком на бревёшко, и тут взглянув на жертву, заметил, как её глаз подёрнулся плёнкой. «Она поняла, что я собираюсь сделать», — подумал он. «Нет! Не могу!» — сказал он Исаевне, передавая топор. «Эх ты, мужик ещё! Держи её за ноги!» Раздался глухой удар, Игорь машинально отпустил куриные ноги, и она, безголовая, прыгнула на землю и побежала по зелёной траве, обрызгивая её кровью. Конечно, за ними наблюдала Галина-мандолина, увидев бегущую от палачей безголовую курицу, она заорала радостно-сумасшедшим криком: «Курица-то живая!», и помчалась в дом сообщить об этом своей маме-бабушке: «Курица-то живая! Дураки вы!». Конечно, этот бег с отрубленной головой продолжался совсем недолго, и казнённая курица окончательно рухнула на землю, несколько раз ещё дёрнув жёлтыми ногами. Но этот случай и на Игоря произвёл заметно тоскливое впечатление. В школе он уже слышал, знал о гильотине, о том, как отрубали головы людям во имя неких идей и лучшего будущего, но это было так давно и так далеко, что не затрагивало его эмоций. И вот теперь, увидев бегущую с отрубленной головой курицу, он вдруг подумал, что, может быть, и люди, которым отрубили голову, тоже могут — ну если не встать и побежать, то продолжать ещё какое-то время чувствовать, а их голова, летящая в корзину, успевает увидеть переворачивающийся мир и осознать весь неисправимый ужас случившегося. Вот это невыразимо страшно! Много лет спустя, уже стареющим, побывав в знаменитом писательском гнезде Коктебеле и открыв для себя Максимилиана Волошина, он наткнётся на его стихотворение о голове мадам Ламбалль, которая, будучи отрубленной, продолжала всё видеть и понимать:

Это гибкое, страстное тело
Растоптала ногами толпа мне,
И над ним надругалась, раздела...
И на тело
Не смела
Взглянуть я...

Но меня отрубили от тела,
Бросив лоскутья
Воспалённого мяса на камни...

Его и сейчас нередко посещают странные мысли о том, что если человек, уже умерший, уже похороненный, зарытый в землю, продолжает всё понимать и чувствовать, что если его сознание продолжает жить, как сознание в отрубленной голове мадам Ламбалль? И тогда страшна не смерть, а то, что после неё.

А всего-то навсего Исаевна отрубила голову курице. И сварила суп с лапшой, и пригласила их попробовать его, а они, не сговариваясь, гордо отказались с некоторым даже презрительным и явно брезгливым выражением на лицах. Ну да, они тогда ещё не голодали, это же случилось ещё до войны, хотя, честно признаться, их баба Шура куриный суп не варила, да и из говядины не всякий день был... Но они высокомерно отказались от угощения.

А всего-навсего Исаевна отрубила голову курице.

6.

Так стояли они в искажённом новыми поколениями пространстве своего детства, каждый думал о своём и оба об одном и том же.

Игорь Владимирович посмотрел внимательней на Галину-мандолину: совсем старенькая, сгорбилась, маленькая, в выцветшем, длинном для неё казакине. Спросил: «Ты как сохранила-то эту одежку?». — «Это мне память о тётечке Инне. Сам же с Владиком подарил. Как же мне её не хранить». — «Ты знаешь, что Саша, сын Владика, твой племянник, не уехал с родителями, остался здесь?» — «Знаю. Где теперь живёт, правда, не знаю. Он же разменял отцову-то трёхкомнатную». — «Могла бы с ним как-нибудь связаться...» — «Что ты! Зачем? Милостыню, что ли, просить?»

Тут его, будто крапивой по сердцу, обожгла злость. Нет, не к Галине-мандолине! А просто к жизни, к челове-

ческой жизни. Усмиряя себя, потому что хотелось просто завывать в голос, он сказал: «Ну, ладно, чего теперь! Мы с Александром сейчас повидаемся, должен и он знать свою тётку, хоть и двоюродную». — «Чё задумал-то?» — Он, не отвечая, вынул из кармана мобильник. «Саша! Ты когда домой собираешься? Я тут встретил твою тётку, знаешь, что у тебя такая есть?» И весело рассмеялся: «Вот, даже помнишь, что мандолина. Она самая. Мы сейчас тут чего-нибудь прикупим и придём. Я у тебя утром похозяйничал, нашёл старую картошку, совсем задрябла, но я выбрал, что потвёрже, почистил и залил холодной водой, не возражаешь, если поджарю картошку? Сильно захотелось жареной картошки, так, чтобы хрустящая корочка была. Ну вот и подходи, и тебе достанется. Есть о чём поговорить».

И они, не торопясь, пошли к дому Саши. Шли, мысленно исправляя и восстанавливая старое пространство. Когда за углом показались купола и кресты турухановской церкви, то они вовсе точно сориентировались и догадались, где был тесный хлебный магазин и где выстраивалась к нему тоскливая очередь. Баба Шура и в самом деле всех их крестила в этой церкви, в ней же в сорок третьем году отпевали деду Сашу. Тогда ещё были в их семье верующие: молились, ходили в церковь, исповедовались, блюли посты и великий праздник Пасхи встречали поющим сердцем. Галина-мандолина хотела было затянуть его в церковь, свечки поставить, кого вспомнили, но он отказался: «Нет, не сейчас. Я не готов. Слишком земные мысли у меня пока ещё. Понимаешь?». Она кивнула, но сказала тихо: «Надеяться-то больше нам не на кого». Захваченный прилипчивым роем своих мыслей и воспоминаний, он забывал о семяющей Галине-мандолине, ускорял шаг, потом спохватывался, останавливался, поджидал её. Так они и шли, будто толчками, будто ныряя и выныривая из прошлого.

По дороге попался «быстроном», такого здесь раньше не было, как не было и такого названия у магазинов, но всё, что считал нужным, он здесь купил — и выпить, и за-

кусить. А вот и рынок, их знаменитый «ипподромский», так он тогда назывался, рынок! Здесь когда-то было полно всяких лавочек, лавчонок, часовых, ювелирных, механических, галантерейных и прочих разных ателье, хотя слово «ателье» встречалось реже, просто — пошивочная мастерская. И где-то тут же неподалёку была мастерская, где во время войны довелось работать и ему, и Галине-мандолине, и бабе Шуре надомниками от этой же мастерской.

7.

И во время войны они, по сути, оставались ещё детьми. Дело не в возрасте, а в восприятии жизни, людей, в желаниях, мечтах. Хотя, конечно, появились и вовсе не детские заботы и не детские обязанности, и не детская усталость.

В сорок третьем году, после смерти деда Саши, Игорь стал работать в галантерейной мастерской. Там были одни молчаливые женщины с плотно завязанными, закрывавшими даже лоб и рот, платками на голове, и в больших очках наподобие мотоциклетных. Они работали на режущих и шлифующих станках с кусками целлюлозы, из которой вырезали, вытачивали, потом шлифовали разнообразных форм гребешки, расчёски, гребни, фигурные заколки: и во время войны, оказывается, были модницы. А в соседнем цехе, просто отдельной каморке, стояли два ручных прессы с колесом, которое поворачивалось и приводило в действие весь механизм. В гнездо прессы вставлялись разные матрицы для изготовления пуговиц; какие пуговицы намерен изготовить, ту матрицу и вставляешь: для маленьких брючных или рубашечных пуговиц, покрупнее для пиджачных, самые крупные пуговицы — пальтовые. На каждый день давалось задание, сколько каких пуговиц отштамповать. Вместе с Игорем работал его ровесник, парнишка невысокого роста, значительно ниже Игоря,

которого все называли странным именем — или фамилией — Шоционок. Так и Игорь стал его называть.

Но самым замечательным было то, из чего они штамповали пуговицы. Это были грампластинки. Те самые грампластинки, на которых записаны были любимые народом мелодии, которые ставили на вращающийся круг грамофонов, патефонов или — в последнее время — так называемых виктрол. Пластинки были большей частью расколотые, но были и целые. Тогда они с Шоционоком их ломали, цепляли специальным зацепом, и на железном листе разогревали на электроплитке до степени мягкого теста, вкладывали это чёрное тесто в матрицу. Резкий поворот колеса — и вот уже готовы лаково блестящие чёрные пуговицы соответствующего размера.

О! Сколько музыки перевели они в пуговицы! Шоционок, оказалось, владел искусством художественного свиста и, когда на пластинке сохранялась этикетка с названием записанной мелодии, песни, арии, марша, он начинал этот мотив и воспроизводить, насвистывать, пока они превращали пластинку в тесто, пока штамповали из неё пуговицы. Очень часто попадались пластинки с вальсом «На сопках Манчжурии», с записями штраусовских вальсов тоже было много, и Шоционок без труда насвистывал знакомые мелодии. Попадалось бессчётно фокстротов, видно, накануне войны этот танец был очень моден. И однажды, когда Игорь прочитал: фокстрот «Электрик», и Шоционок тут же стал его высвистывать, он тоже вспомнил этот фокстрот, этот ритм, вспомнил, как собирались они у бабы Кати, как его отец и мать, братья отца, совсем ещё молодые парни, и деда Яша под этот фокстрот танцевали, передавали друг другу его красавицу маму, и даже бабу Катю заставляли принять участие в общем веселье, как кто-то, кому не досталось партнёрши, не в силах усидеть на месте, хватал в обнимку стул и выделял фокстротные па с ним. Нет уже той жизни, а фокстрот остался. Была памятная им обоим пластинка, с которой пел сладкий тенор: «В парке Чаир распускаются розы...». Эта мелодия, эти слова были совсем из другой жизни, ко-

торой они никогда не видели, которая казалась сказкой, как неведомый им парк Чаир, да и как распускаются розы, они тоже никогда не видели. Уничтожая эту пластинку, переводя её в пуговицы, они невольно, неосознанно испытывали что-то похожее на мстительное чувство, будто они оказывались сильнее этого медового голоса, этого не виденного ими парка. А под «Рио-риту» они оба приплясывали. И подпевали знакомой по фильму песне: «А ну-ка песню нам пропой, весёлый ветер!». И можно ли было не подпеть могучему басу Максима Дормидонтовича Михайлова, его знаменитой застольной песне!

Это была целая жизнь, голоса этой жизни, сохранённые для потомков; они и сами ещё принадлежали этой жизни, но уже уходили из неё в свою, другую, и не особенно расстраивались, уничтожая старые мелодии, — наверное, это закон человеческой жизни.

Они фантазировали: изготовленные ими пуговицы могут сами по себе звучать и воспроизводить уничтоженные мелодии. Сидишь на уроке, и вдруг какая-нибудь пуговица запела: «Валенки, валенки, не подшиты, стареньки...» Учительница ругается: «Что за безобразие! Прекратите!». — «А я ничего. Это пуговица у меня сама поёт». — «Вон из класса!»

Пошёл из класса, нажал другою пуговицу (оказывается, их надо нажимать, чтобы они запели), и загремел бас: «Выпьем, ей-богу, ещё!». Они с Шоционком хохотали до слёз, представляя разные ситуации с поющими пуговицами.

Игорь специально для брата с сестрой придумал, что пуговицы всегда поют и звучат, надо только приставить её к уху и прислушаться. Братишка не поверил, а Галина-мандолина поверила, и то и дело приставляла пуговицы к уху, и уверяла, что она слышит то вальс, то фокстрот, то песню.

Изготовленные пуговицы они бросали в картонные коробки в соответствии с размером, потом эти пуговицы шли надомницам для обработки. Дело в том, что пуговицы после штампа были с заусенцами; вот надомницы

обламывали их, а потом с осторожностью обтачивали напильником края. Баба Шура и была надомницей, зимой ей помогал Игорь и, конечно же, Галина-мандолина; только с её скрюченными, искривлёнными пальцами дело шло медленно и плохо, она с трудом удерживала пуговицу в руке, а напильником больше попадала не по пуговице, а по своим пальцам, обдирая их до крови. Баба Шура сердилась, отбирала напильник, но Галина-мандолина со слезами на глазах перевязывала тряпицами порезанные пальцы и снова хваталась обтачивать пуговицы. Так они работали всю зиму, а летом Игорь с Шоционком снова уничтожали пластинки с замечательными мелодиями прошедшей жизни.

8.

Игорь Владимирович принялся жарить картошку, как хотел, чтобы хрустела поджаренной корочкой. Спрашивал Галину-мандолину:

— Ты мне Расскажи про свою жизнь. Я же почти ничего про тебя не знаю. После нашего детства — как провал. С тех пор, как уехал учиться, только отрывки какие-то знаю. Помню, как Владик рассердился на нашу мамашу, когда она тебя не пустила ночевать и ты забралась на чердак. Было такое?

Она кивнула, соглашаясь.

— Ну вот. По-моему, у тебя была такая страсть к бродяжничеству. А? Ещё когда мы вместе все жили, ты уходила ночевать к Халиме. С чего ради? Даже без разрешения бабы Шуры.

Было такое в её жизни. Но первый раз она ночевала у Халимы — она жила через двор — с разрешения своей бабушки-мамы. Они устроились на ночь в старой бане. Халима принесла две подушки, одеяла, постель устроили на полке, закрыли наружные двери и внутренние, улеглись и стали друг друга с наслаждением запугивать. Нечистой силой, шайтаном, чертями, вздрагивали от каждого

шороха, непонятного стука, скрипа, прижимались друг к другу от сладкого страха; и только на рассвете заснули крепким, непробудным сном. Но раза два в самом деле уходила без спросу.

А потом появился в её жизни чердак, разные чердаки, а первым был чердак их дома, она вспомнила, как Игорь забирался на крышу; по воротам, потом по крыше сенок. Это случилось уже после войны. Как был красив её вернувшийся с фронта отец, светлолицый, сероглазый, с негустыми пшеничными усиками, как шла ему гимнастёрка с орденом, с медалями, какая была радость для всех, что он вернулся живой и даже ни разу не раненный. Но он истратил все свои душевные силы на войнах, выпавших на его долю с Халхин-Гола, с той нестерпимой дневной жары и беспросветной ночи, которые он не мог забыть, а потом вся Отечественная, и из-под Кенигсберга — снова на восток, чтобы закончить войну в последних сражениях со старыми знакомыми японскими войсками. И кто бы мог его осудить, если он стал находить отдохновение в водочке. Ему и не надо было много выпить, чтобы быстро захмелеть, и он ещё брал гитару и наигрывал старые вальсочки, и даже подпевал негромким баритоном. Но потом появилась в его жизни парикмахерша Катерина, которая пила более основательно. Галина-мандолина продолжала жить с ними в старом доме, уже не было рядом бабы Шуры, которая ушла на жительство к дочери, не было её братьев, она чувствовала себя одинокой и беззащитной. Но самое главное, не поглянулась она Катерине, хотя прибиралась в доме, пол мыла, если велели что сварить, варила, неумело, правда. Но однажды Катерина стала на неё ругаться, что живёт она трутнем, нигде не работает, сидит на шее у отца, да и у неё. А Галине-мандолине тогда ещё не исполнилось шестнадцать даже, её никто и на работу-то не брал, малолетка, война-то кончилась, теперь другие законы. Пререкаться с Катериной она не стала, ушла, а вечером залезла на чердак. Там, возле печной трубы, она нашла связки нот, оставшихся от отца её братьев, который знал ноты и играл по нотам, это были этюды и пьесы для

мандолины. Она прежде всего и прочитала эти крупные буквы: для мандолины. И расхотелась: будто специально для неё приготовили. Расстелила ноты, часть под голову, и покойно уснула. И целое лето ночевала на чердаке. Спускалась, когда отец и Катерина уходили на работу, мыла пол, это было её неперменной обязанностью, варила картошку, себе и им, а к их возвращению уходила из дома. Отец раза два принимался сердиться, что это она дома не ночует, но его успокаивала Катерина, пусть, мол, живёт, как хочет, и вообще ей пора уже самой о себе заботиться.

А когда её не приняла любимая ею тётя Инна, это было значительно позднее, уже и бабы Шуры не было в живых, и Исаевна померла, дочь её Дифа вышла замуж и уехала в Ташкент, Залман получил благоустроенную квартиру, на их месте поселились молчаливые люди, которые не проявляли никакого желания с ней общаться; затосковало её сердечко, вот и пошла к тётечке. Нет, она в самом деле не обиделась на неё, правильно всё она сказала, дома надо ночевать. Только дома-то у неё, как она считала, и не было. Она тогда подрабатывала в магазине уборщицей, без зачисления в штат, за гроши, за продукты, за разрешение ночевать в подсобке, правда, если штатный сторож почему-либо не выходил на работу, в другое время она однажды осталась с ним на ночь, он начинал к ней приставать, едва отбивалась.

Про чердаки она сама ещё могла говорить полушутейно, хотя какие уж тут шутки, если с юных лет оказалась бездомной.

Он посматривал на неё, будто старался понять нечто очень важное, всё объясняющее.

— Всё-таки ты на самом деле Галина-мандолина! Не зря мы тебя так бессмысленно окрестили. Как-то ты жила не так, как нужно. Без всякой логики. Ну ладно, давай всё же перескажи мне свою жизнь, какую я не знаю.

Как же она может рассказать ему всю свою жизнь? Если коротко, то нескольких предложений хватит. Неужели это и будет вся её жизнь? А длинно рассказывать она не су-

меет, слов у неё не наберётся и сил. События-то можно перечислить, но это же не будет её жизнь, только события, а жизнь-то внутри, в том, что на сердце, что душа испытала, отчего хотелось реветь белугой или радоваться выпавшему счастью.

Да, было и у неё недолгое счастье. Приняли её на работу в областную больницу на должность санитарки. Впервые появилась у неё трудовая книжка, и заработала она свои десять лет трудового стажа, которых не хватило для пенсии. Петя, её Петя, поняв, как тяжело даются ей обязанности санитарки с её искалеченными руками и ногами, которые частенько стали прихватывать болезненные приступы, уговорил бросить работу, хватит его заработка на двоих. За что он её полюбил? Не знает она. Может быть, за роскошные, доставшиеся от беспутной матери жёлтые волосы, которые он так любил перебирать, гладить, расчёсывать? Или за то, что так самоотверженно выхаживала его, совсем было собравшегося помирать? Или почувствовал, что более верного и любящего сердца ему не встретить? Она рассказывала о своём детстве, об Исаевне даже, о братьях, и как они её прозвали мандолиной. Петя смеялся, и тоже стал её иногда так называть. У них была небольшая разница в возрасте, Петя был старше всего на семь лет, но он был на фронте, успел повоевать, был буквально прошит пулемётной очередью, но выжил. Два года он провёл в госпиталях, зашивали его внутренние раны, всё, кажется, вылечили, но тут открывается новое внутреннее кровотечение, опять на операционный стол. Уже закрылись многие госпитали, и попал он, наконец, в свой родной город, встретился с матерью, которая всё никак не могла его дожидаться, и стала приходить к нему каждый день и вместе с этой доброй и немного неуклюжей санитаркой выхаживать сына. Они его выходили, он пошёл по семейной традиции, вслед за отцом, погибшим на фронте, и за матерью, всё ещё работавшей в плановом отделе, на авиазавод в сборочный цех техноруком. Ещё при отце, до войны, получили они двухкомнатную квартиру в так называвшемся тогда соцгороде, квартиру ещё сталинской эпохи, простор-

ную, с высокими потолками, с просторными окнами. Живи и радуйся. Если бы не война. Когда они с Петром зарегистрировались, она повела его к своей тётке Инне — кому же ещё сообщить о выпавшей на её долю радости! Тётка наконец поняла всю искреннюю и бескорыстную привязанность племянницы, запричитала по-старушечьи, потому что к тому времени сильно постарела, что нечего ей подарить им, потом спохватилась: есть у неё с давних пор хранимый и ещё не открывавшийся флакончик замечательных духов «Белая сирень». Так главным запахом их начавшейся семейной жизни и стал запах белой сирени. Она до сих пор хранит этот флакон, пытается уловить потерявшийся аромат, но напрасно, осталась только память о нём и о так быстро промелькнувшей семейной радости с Петей. Всё-таки одна из старых ран вновь прорвалась, он почувствовал дурноту на работе, но дотянул до конца смены, пошёл в медпункт, и там потерял сознание. Спасти не удалось. Галина-мандолина выдержала и это испытание, просто решив, что именно так у неё и должно было случиться, так уже ей на роду написано, правда, и сама слегла, едва по дому передвигалась. Сослуживцы Петра помогли оформить пенсию за потерю кормильца...

Игорь Владимирович всё смотрел на неё с острым вниманием, и вдруг с испугом подумал, что вот же перед ним вся жизнь Галины-мандолины, от знакомых ему детских лет до старости, вся перед ним, можно разглядеть её от начала до конца. Целую человеческую жизнь. Это страшно и безнадёжно.

— Послушай, ты водку будешь пить? Наотрез? Ладно. Я купил бутылку, а теперь вспомнил, что Сашка-то бросил пить совершенно, даже не нюхает, поэтому я сейчас, пока он не пришёл, сам выпью рюмочку, а бутылку спрячу.

Он и в самом деле налил себе небольшую на высокой ножке хрустальную рюмку водки, посмотрел, перелил её в стакан, долил до половины и выпил, подцепил на вилку жареной картошки прямо со сковороды.

— Теперь полегче будет. Ну, а нищей-то почему ты стала? Что случилось?

О, это была совершенно банальная и очень типичная для нынешнего времени история. Появились два хорошо одетых молодых человека и предложили ей хорошую сумму за её квартиру, из этой суммы она потратит немного на приобретение гостинки: и будет у неё и жилплощадь в благоустроенном доме, и денежки положит на книжку. Показали гостинку, хорошая, большая комната, сейчас в ней проведут ремонт, побелят, покрасят и, пожалуйста, въезжайте, сколько будет стоить ремонт, заранее нельзя сказать, поэтому они ей сейчас дадут половину оговоренной суммы, а после ремонта сделают полный расчёт, пока же она поживёт в общежитии, с комендантом договорились, ну, там, немного ей будете платить, пока не переедете. Она согласилась, подписала все бумаги. В общежитии ей поставили койку в кладовке с деревянными стеллажами, на которых лежали матрацы, подушки, одеяла, сломанные табуретки и раскладушки. Комендант сказала, чтобы она днём-то долго не разлёживалась, мало ли какое начальство может заглянуть, а вечером, на ночь, приходи. Когда, по её расчётам, ремонт в гостинке должен был закончиться, она туда пошла, и обнаружила, что там живут неизвестные ей люди, которые сказали, что они купили эту гостинку и сами делали в ней ремонт. Она уже понимала, что её обманули, но всё-таки пошла на свою старую квартиру, узнать про тех, кто им продал её жильё, где их можно искать. Ничего толком не выяснила, не её это работа — следствие вести. Деньги кончились, пенсия грошовая, комендантше надо платить, вот и пошла милостыню собирать.

— Да ты не думай! Я так. Совсем немного собираю, на еду только. Вот свечки ставлю....

Игорь Владимирович не скрывал злости:

— Ты что же, неужели не знаешь, не слышала, как нынче стариков с квартирами дурят? В заброшенные деревни переселяют, в какие-то притоны, или вообще убивают? Неужели ничего не знаешь про это? Ну и радуйся, что живая. Нет, это невозможно спокойно переносить. Обманули старую дуру! Не обижайся, пожалуйста. Но кто же ты? Пока Саша не пришёл, я ещё маленько пригублю.

Он выпил, опять спрятал бутылку, и заговорил очень решительно:

— Это дело так оставить нельзя. Ты знаешь, что я всю жизнь был журналистом? Работал в разных газетах, собкорил в центральной. Заступался за людей, помогал. Так что я тряхну стариной. Найдём подлецов.

Галина-мандолина грустно сказала в первый раз:

— Ничего же не вернуть.

Игорь Владимирович понял, что она о своей квартире, и бодро продолжил свою речь:

— Я и не говорю, что мы твою замечательную двухкомнатную вернём, но гостинку можно вернуть. Во всяком случае, благоустроенное жильё. В конце концов, ты же вдова фронтовика, который умер от ран...

Тогда она опять повторила:

— Ничего не вернуть.

Он и на этот раз не понял главный смысл этих её слов, но не успел задуматься о них, тут пришёл Саша. Состоялось знакомство тётки с племянником. Галина-мандолина лила слёзы:

— Как похож на отца! На Владика. Я теперь будто опять меж своих братишек, как в детстве было.

Саша принёс и открыл баночку красной икры, ветчины и сыра, которые очень ловко, тонко порезал, выложил на плоские тарелочки. Игорь Владимирович выставил на стол сковороду с жареной картошкой. Они сели за миниатюрный кухонный стол, и Игорь Владимирович стал рассказывать Саше, как обманули Галину-мандолину с квартирой.

— Живёт в общежитии на птичьих правах. Тебя же в любой момент комендант может выгнать на улицу! Где это общежитие то?

— В Затулинке.

— Вот куда её занесло! Но мы поборемся. Ты ещё не знаешь своего старшего брата.

Всё-таки он для своего возраста немного превысил норму спиртного, поэтому и был заметно оживлён и с такой задержкой докатился до него потаённый смысл слов

Галины-мандолины, что ничего не вернёшь. Конечно, она не про квартиру говорила. Нет! Она про жизнь. Возможно, подумала, как и он, о том же, что и он, когда вдруг увидел в одно мгновение всю жизнь Галины-мандолины от начала до конца, и испугался. Невольно потряс головой, будто приходя в себя:

— Ну, что теперь? Конечно, мы с тобой теперь не можем утверждать, что ещё не вечер. Вечер. Конечно, у нас с тобой наступил вечер. Но и не ночь. И знаешь, какая есть замечательная песня? «Как упоительны в России вечера!» А? Не слышала? Такая задушевная мелодия, такая наша песня, или, лучше сказать, романс: как упоительны в России вечера! Это нам в утешение. Как упоительны в России вечера! В третий раз он почти пропел эти слова. И не стал утирать слёз, вдруг покотившихся по его щекам...

Борис Климычев

Венера

До костей я продрог, за киосками вскоре
Я окурок нашёл, раздобыл и огня.
— Что ты сделал для фронта? — плакат на заборе
Тыкал пальцем презрительно прямо в меня.
Что я сделал для фронта? Мне было двенадцать,
В кочегарке под домом я спал у котла.
В полшестого велел кочегар выметаться,
А зима по-сибирски колючей была.
Покурил и к картинной побрёл галерее,
Там бесплатно пускают, но есть там старик,
Если ноги в грязи — он ругаться скорее,
Поднимает зазря он отчаянный крик.
Ну и пусть! Но зато там картина такая:
Возле моря по склонам избегают сады,
И лежит под деревьями тётка нагая,
А над ней золотистые зреют плоды.
Я на тётку на эту смотрел без подвоха,
Я об этом не очень-то думал тогда,
Просто сильно устал, просто было мне плохо,
И хотелось шагнуть прямо в раму, туда.
Я плодов бы наелся, помылся бы в море,
Попросил бы у тётки рублёвку взаймы,
Табаку бы купил, и зажил бы без горя
На холмах, где вовек не бывает зимы.

Зеркала

Лишь прикоснулся — сразу сердце сжалось.
Когда-то, глядя в это вот стекло,
В театр готовясь, мама наряжалась,

И сквозь расчёску золото текло.
Оно видало чубчик и веснушки,
Отца видало с пенным помазком,
И мебели старинной завитушки,
И дверь с тяжёлым кованым крючком.
Те отраженья навсегда уплыли,
Отец погиб, и матери уж нет.
Чужие люди мебель раскупили,
И чуб мой вылез весь с теченьем лет.
Лишь зеркало почти не потускнело,
Наверно, из особого стекла.
Блестит себе, и что ему за дело,
Какая жизнь с ним рядом протекла?
Но где-то в сердце зеркало иное,
И в ней отец мой вовсе не убит,
В расчёске льётся золото льняное,
И тихо мебель старая скрипит.

Цирк 1943-го года

В афише говорилось,
Мол, на манеже — кони,
Но мерин простудился
И через день издох,
Остался в этом цирке
Один облезлый пони,
Но корма не хватало,
И был он очень плох.
Была там униформа,
Но только для проформы,
Ведь все униформисты —
Кто в куртке, кто в плаще.
И, поднимая гири,
Упал силач Подгорный,
Поскольку не пообедал
С неделю вообще.
Хоть верьте, хоть не верьте,

Колдун Мехмед в конверте
Чужую сторублёвку
На части разрезал.
Обрезки бросит ловко,
И смотришь — сторублёвка,
Целёхонькая, плавно
Летит в притихший зал.
С культяшками-руками
Моряк со мною рядом,
Там — офицер безногий,
А тут — слепой боец,
Невольно к этим людям
Я звал Мехмеда взглядом.
Когда же их кудесник
Заметит наконец?
Пусть отросли бы руки,
Сплясал бы пусть безногий,
Слепой солдат пускай бы
Немедленно прозрел.
Но тот Мехмед, наверно,
Попал недавно в йоги —
На инвалидов глядя,
Он грустно бритвы ел.

Вернулся...

Десятое мая на Васюгане было необычно солнечным. Тянуло горьковатым дымком. Это почти на каждом огороде за избами дымились кучи прошлогодней картофельной ботвы. Палисадники, брызнувшие молодой, свежей черёмуховой и рябиновой листвой, были чисто прибраны, тусклое серебро песчаной дороги ярко оттеняли проклюнувшиеся по обочинам нежные стебельки муравы. Дома, посеревшие и озябшие от мартовской и апрельской сырости, пообсохли, встрепенулись и теперь весело смотрели чисто промытыми стёклами на голубое, чуть подёрнутое дымкой небо.

Деревня была взбудоражена. Всё упорней и настойчивей ходил слух о конце войны. Совершенно непонятно, откуда в глухой сибирской деревне, без радио, отрезанной от всего мира половодьем, он мог появиться, но слух продолжал жить, кочуя из дома в дом. Только школьный сад, угрюмый и тёмный кедрач, делящий деревню на две половины, равнодушно смотрел на копошащихся возбуждённых людей.

В этот день, как обычно, в школе шли занятия. В классе между партами ходила учительница, молодая высокая женщина с круглым лицом, голубыми яркими глазами и длинной светлой косой. Стриженные головы ребятишек медленно поворачивались вслед за ней.

— Сейчас, дети, приготовьтесь, будем писать диктант, — проговорила учительница грудным мягким голосом, не торопясь, подошла к столу и открыла книгу.

В классе зашелестели тетради, сшитые из старых газет.

— Ивашов, ты опять в окно смотришь!

Колька встрепенулся и умоляюще посмотрел на учительницу:

— Лидия Ивановна, тише!

— Что «тише»? — не сразу поняла учительница.

Колька предостерегающе поднял руку, чутко вслушиваясь.

— Катер... Почта идёт! — уже радостно и уверенно закричал мальчишка.

Класс притих. С реки доносился ровный стук мотора первого по весне почтового катера. Все напряжённо замерли. И вдруг с берега, где пристал катер, послышался шум. Он всё нарастал и нарастал, приближаясь к школе. Всё молчаливое ожидание последних недель наконец-то нашло своё выражение!

Колька вскочил на парту и, не помня себя, заорал что-то дикое, невнятное:

— ...а-а-сь, война, война-а-сь!

Все повскакали со своих мест, закричали и, толкаясь у двери, повалили на улицу.

В классе осталась только учительница. Её глаза были широко раскрыты, руки прижаты к груди. Она неуверенно, точно слепая, подошла к столу и опустилась на стул. В её глазах застыли слёзы. Бессильно положив руки на стол и опустив на них голову, горько плакала молодая вдова. На её спине живой змеей судорожно билась толстая светлая коса...

А Колька с друзьями бежали по деревенской улице, которая была залита солнечным праздничным светом.

— Война кончилась!... ..а-ась!... на-а!... чила-а-сь! — лился, переливался, звенел в весеннем воздухе ребячий крик. Выбежавшая из калитки бабка Козленчиха, жившая рядом со школой, мелко-мелко крестилась, её бескровные, изрезанные мелкими морщинами губы шептали:

— Господи, дождались светлого дня! Воспели трубы архангельские! Сгинул сатана...

Школьная ватага одним махом пробежала всю улицу до конца и в растерянности остановилась на окраине. Вслед

ей волной поднимался из каждого подворья вой. Сбившись тесной толпой, ребятишки испуганно пошли назад. Разбредили своим криком они едва поджившие душевные раны, засуковели они у солдаток, наполнились горечью.

Не в силах сдержаться, прямо на земле подбитой птицей билась Мария Зеверова. Через дом зашла в безмолвном крике Женька Прохова. Её соседка, Анна Ноздрачёва, голосистая красивая баба, стояла около изгороди в ограде. Её белые руки лежали на жердине, глаза были закрыты, она слегка покачивалась:

— Ой, да не видать мне тебя, ясна сокола,
Ясна сокола — сизокрылова.
Улетел ты в дальнюю сторонушку,
Сторонку дальнюю, невозвратную...
Оставил меня, сиротинушку,
Одну-одинёшеньку с малыми детками...

Плакала и умывалась радость горькими вдовьими слезами.

Голос у Нюрки креп, поднимаясь всё выше и выше, набирал силу. Её причитания траурной лентой окаймляли людское горе, придавая ему особую пронзительность. Слышались в них и великая скорбь, и великая надежда на будущее. Так испокон веку оплакивала русская женщина мужей своих и детей. Стоит она подобно тонкой берёзе среди широкого поля. Ломают её непогода, гнёт к самой земле, но пролетит суровое время — и опять распрямляется она, шелестя ожившей листвой, давая отдых страждущему.

Пережили вы, бабы, известие о гибели ваших близких, пережили и радость Победы, переживите ещё одну радость — возвращение солдат с фронта.

Недели через две-три прошёл слух: приезжают демобилизованные. Деревня жила в радостном нетерпении, даже солдатки-вдовы надеялись на чудо. А вдруг что-нибудь напутано? Вдруг придёт солдат, ведь бывает же такое!

И вот наступил долгожданный день. Задолго до прибытия парохода вся деревня собралась на берегу Васюгана. Ребятишки, точно воробы, облепили тесовую

крышу вросшего в землю склада. Они нетерпеливо ёрзали на ней, толкались, ожидая парохода. Где-то далеко внизу по течению реки раздался едва слышный гудок. Толпа зашумела, заколыхалась и напряжённо замерла. А «Тара» — маленький пароходишко, ходивший по Васюгану, — где-то плутала в поворотах колесившей по болотам реки, то приближаясь к деревне — и тогда толпа начинала шуметь, то удалялась настолько, что шлепоток стучавших по воде колёс исчезал совсем — тогда толпа испуганно замирала. Наконец, совсем неожиданно, «Тара» показалась из-за поворота. Свежепокрашенная белой краской, она лебедем подплывала к пристани. Вдоль борта реденько стояли люди. Ближе всех к выходу стоял высокий солдат. Из-под пилотки его выбивались рыжеватые волосы. Голубые глаза жадно глядели на берег. Пароход развернулся и мягко ткнулся носом в песчаный берег. Солдат встрепенулся и, неловко поднимая правое бедро, двинулся к трапу, тяжело опираясь на палку. На его широкой груди жалобно звякнули медали, за плечами болтался тощий солдатский мешок.

Люди, ошеломлённые страшной действительностью, не верили, не могли поверить, что сходит на берег всего один солдат. Они с отчаянной надеждой смотрели на старый пароход, ожидая несбыточного...

Солдат одной рукой ухватился за поручень и ступил на жидкий качающийся трап, который скрипнул под его тяжестью, и, перекликаясь с ним, скрипнул новенький протез.

— Папк-а-а! Папк-а-а! — прорезал воздух громкий мальчишеский крик. Колька соскочил с крыши склада и, не разбирая дороги, кинулся к отцу.

Павел — это был Павел Ивашов — отбросил палку.

— Сын! Сынок!

Колька сходу обнял отца, тесно прижимаясь к нему. Его худенькое тельце бил озноб.

— Папка! Папка! — бессвязно повторял мальчишка. И столько было в этом слове радости, боли и восторженной мальчишеской гордости, что у Павла запершило в

горле. Он поднял Кольку и прижал его к своей груди. Так и стояли два Ивашовых, тесно прижавшись друг к другу, окружённые безмолвными людьми. Очнувшаяся толпа ринулась к Павлу. Возбуждённые, орущие бабы обступили его со всех сторон.

— Моего не видел?

— Про моего не слышал?

— А с моим... Паша?!

Плачущая и сияющая Настя кинулась к Павлу и бес- сильно опустилась на замытый в песок обрубок дерева. И как-то чисто по-детски, беспомощно:

— Ой, бабы, меня же ноги не держат!

Чуть в стороне тихо стояла Акулина, Павлова мать. Её старческие губы шептали с укором:

— Господи, старик, не дожил ты до своего счастья!

Она молитвенно прижала руки к груди и жадно сле- дила за каждым движением сына, разглядывала каждую морщинку, отпечатанную на его лице суровым временем. Старалась быть незаметной, чтобы не помешать встрече сына с невесткой и внуком. Чистые, прозрачные слёзы быстро и легко катились по дряблым старческим щекам. Оправившаяся Настя соскочила с земли и тоже кинулась к Павлу. Слепая, даже жестокая в своём женском эгоизме, она стала отталкивать женщин.

— Бабы, отойдите, ведь без ноги мужик, уроните!

Солдат испытывал мучительное чувство, глядя в жду- щие полубезумные глаза. «Милые мои, да что же я вам скажу? — казалось, говорил его взгляд. — Разве я вино- ват, что пришёл один!»

У Павла затряслись губы. Всё, казалось, видел солдат, и ничем уже, думал, не пронять его заглубевшую и зачер- стевшую душу. А встреча с односельчанами стала тяже- лее самого смертного боя, похорон самого близкого фрон- тового друга. Сколько их перехоронил солдат... А тут? Чем он мог утешить женщин? Павел беспомощно оглядывался и увидел стоящего в стороне Ивана Грязева. Ещё не при- выкший к протезу Павел неловко шагнул к нему.

И фронтовики обнялись.

А вечером деревня гуляла во дворе у Павла Федотовича Ивашова. Каждый нёс всё, что мог. Было много капусты, клюквы и хмельной браги. По случаю праздника дед Родион по просьбе Насти заколол ивашовскую овцу. Столы стояли прямо во дворе, в избу все не поместились, народу собралось много.

Уже наступила тихая июньская ночь. Прямо за воротами, через дорогу, вполне полаяла заря. Всё было обманчивым и размытым в этой белёсой мути. Прочерченная багровым светом зари тайга, казалось, пришла сюда, за огороды, посмотреть на веселящихся людей; а изгородь двора, растворяясь в неверном свете белой ночи, отступила, делая двор просторным и вместительным. Застолье собралось давно, все уже были навеселе. Дед Родион с всклокоченными волосами на правах старого друга семьи сидел рядом с Павлом. Он налил гранёный стакан браги, держа его в руке, попытался встать. Немного приподнявшись, дед качнулся и снова сел, расплёскивая брагу на штаны и рубаху.

— От ёк-макорёк, — проговорил он удивлённо, — скажи ты, шибат!

— Шибат! — передразнила бабка Пелагея, жена деда Родиона. — Молоко пить надоть, а ты туда же — продукт портишь, — говорила она, вытирая платком рубаху и штаны старика.

— Ну-ну, ладно, мать, мне сказать надоть.

Старик, ухватившись за столешницу двумя руками, с трудом встал.

— Давай, давай, дядя Родион, шандарахни, — проговорил Павел, придерживая старика одной рукой.

— А чё — и шандарахну! — хорохорился дед. Он повернулся к Павлу: — Вот ты, Пашка, хронтовик, Ванька тоже. — Старик качнулся в сторону Ивана Грязева. — А мы?

— И вы фронтовики, — ответил Павел.

— Вот то-то! — И Родион помахал заскорузлым пальцем. — И мы хронтовики. Все ноне хронтовики. Возьми твою отца, моего дружка Федота Евстигнеевича, царство

ему небесное. На ливе, мать её за ногу, потонул. Рази ж он в другое время пошёл бы в такую погоду сети проверять? — Старик помолчал и сам себе: — Нет, не пошёл бы. В газете так и прописано было: «Гвардеец тыла». Вот кто твой отец, Пашка, понял? — старик снова помолчал. — А возьми Марью Сухушину — на лесозаготовках бабу лесной зашибло. — Старик опустил голову и почти трезвым голосом проговорил: — Выпьем за хронтовиков. Мёртвых помянем, а живым поклонимся! — он попытался поклониться и неловко ударился о стол. Его подхватил Павел.

— Садись, садись, дядя Родион, будет тебе!

— И-и-эх! — с тяжёлым вздохом проговорил старик и горестно махнул рукой.

Женщины выпили налитую бражку и сидели пригнупившись. Затем Морька Зеверова с вызовом трянула головой.

— Чё вы, бабы, на поминки пришли? Ить Победа же, солдата встречаем! — она повернулась, нашла глазами Кольку Ивашова, который вместе с ребятишками сидел на городьбе.

Колька, бежи ко мне домой, тащи гармошку!

— Счас, тётка Мария! — с готовностью отозвался мальчишка, соскакивая с городьбы.

Мария встала из-за стола.

— Плясать хочу! Давай, бабы, помогай! — и, расправив платок, накинутый на плечи, она, мелко перебирая ногами, плавно пошла по кругу. В это время прибежал Колька с гармошкой.

— Паша, — распевно проговорила Мария, — возьми гармошку, сыграй нам!

— Дак не могу, Морька, ты же знашь! — Павел смущённо улыбнулся.

— Ты, Паша, на басах подыгрывай, а голосами мы сами подпоём. Верно, Нюрка?

— Сыграй, Паша! — ластилась к мужу Настя, не спуская с него глаз.

На круг выскочила Нюрка, встала против Марии и задорно притопнула ногой.

Матаня мой, а я твоя,
Закрой полой — замёрзла я,
Замёрзла — не согреюся,
Люблю, но не надеюся.

Пела Анна высоким чистым голосом. Прислушиваясь к женским голосам, склонив голову к гармошке, так что волосы легли на её меха, подыгрывал на басах Павел.

Мария постояла, послушала и, отбивая чечётку, пошла по кругу. Затем остановилась и ответила другой частушкой:

Шла я бором — сидел ворон
На кудрявой на сосне,
Сероглазенький матаня
Часто снится мне во сне.

Постепенно в круг втягивались остальные. Вот уже мелькнула светлая коса учительницы, крепко ударила в землю крепкими пятками Женька Прохова. Её маленькая фигурка, точно пружина, упрямо моталась между пляшущими бабами. Всё убыстряя ритм, яростно хрипела бабами гармошка.

Веселись, солдат. Плачь, солдат, всё равно никто не видит, благо, ночь. Играй за Николая Зеверова, пляши за Гришку Ноздрачёва, хоть и нет ноги. Возьми Морьку, чтоб хрустнули её косточки, закрой поцелуем рот Нюрке, чтоб не рвала душу своими частушками. Пройдись лебедем с лебёдушкой Проховой.

Не можешь? всё равно веселись, солдат, за всех, кого нет сегодня здесь. Или трахни гармонью об стол, чтоб рассыпались голоса под белые женские ноги.

Павел ничего не видел перед собой и, не стесняясь слёз, яростно рвал меха гармони.

Дед Родион, подняв хмельную голову от стола, долго смотрел на пляшущих и визжащих баб. Потом грохнул кулаком по столу:

— Рази ж это Победа!

Ухнула последний раз гармошка. Павел осторожно поставил её на край стола.

— Хватит, бабы, не могу больше! — Он тяжело встал и, опираясь на костыль, пошёл через двор. В наступив-

шей тишине громко поскрипывал протез. Настя кинулась вслед за мужем. Он повернулся к ней и сурово сказал:

— Не надо, не ходи!

Настя растерянно остановилась. Бабка Акулина, сидящая за столом, не спускала глаз с сына. Она мелко крестилась, её губы что-то шептали. Тётка Наталья, бывший председатель артели, сидела рядом с Акулиной, вытирала глаза тыльной стороной ладошки и трубно сморкалась в большой белый платок.

Павел по привычке плотно закрыл за собой калитку и медленно пошёл по деревенской улице, по-крестьянски отмечая прохуdivшиеся крыши домов и заваленные кое-где ограды. Вид у деревни был неприбранный, сиротский. Он остановился около дома Николая Зеверова. Из-под высокого крыльца вылез лохматый пёс. Собака подошла к Павлу и старательно обнюхала ноги. Солдат долго стоял около зеверовской калитки, о чём-то думая. Затем тяжело вздохнул:

— Здорово, Николай! Прими поклон от меня!

Павел слегка склонил голову, затем поднял её и заскрипел протезом через улицу к дому Григория Ноздрачёва.

— Здорово, Григорий! Прими и ты поклон от меня! Прости, коли что не так было!

Так и шёл солдат по деревне, здороваясь, прощаясь и прося прощения, не зная за что, у своих погибших дружков-односельчан, и незаметно подошёл к школе, которая стояла на высоком яру. Павел устало опустил на бревно, лежащее на краю яра, и вытянул в сторону протез. Внизу глухо шумела лива. Накатная волна нежно перебирала бурые наносы. Назревшим чирьем пламенел горизонт.

— Сколько же ты мужиков похоронила! — проговорил тихо Павел, оглядывая внимательно ливу. — Вот и отцовской могилы нет. — Около уха надоедливо зудил комар. Павел с досадой отмахнулся. В его памяти чётко возникло доброе бородатое лицо отца, его хитроватый взгляд и добродушные слова: «Не тот комар, Пашка, что днём пищит, а тот комар, что ночью зудит».

Точно отвечая отцу, Павел проговорил:

— Да, не тот... и тихо, задумчиво продолжил: — А лето, однако, тёплое будет, комар нынче рано поднялся.

Павел проснулся от яркого, бьющего прямо в глаза солнца. Он с недоумением осмотрелся.

«Где же я?» — пронеслось в голове, и с облегчением вздохнул, вспомнив, что наконец-то дома. Раскалывалась голова, и солнце тысячью буравчиков сверлило её, усиливая и без того сильную боль. Павел слегка застонал и закрыл глаза, вспоминая вчерашний приезд и невесёлое застолье.

— Вот, язва, набрался, — тихо пробормотал он.

Услышав, что муж проснулся, подошла Настя, вытирая мокрые руки о фартук. Наспех заколотые с утра волосы рассыпались. Она привычно поправила их рукой, убирая со лба. Серые глаза её смеялись и плакали одновременно. Светлое в голубой горошек платье облегалo стройную фигуру.

Павел улыбнулся и радостно вздохнул. Как часто видел он её во сне — и в окопах, и в госпитале — именно такую, именно в этом платье, облитую с ног до головы солнечным светом. Он протянул руки, и Настя, медленно наклоняясь, припала к груди мужа. Он успел увидеть в вырезе платья ещё почти девическую острую грудь с большими тёмными сосками и розоватую нежную кожу. Павел крепко и молча прижал к себе податливое Настино тело...

Настя лежала рядом, уткнувшись лицом в шею мужа, и сжимала его руками, точно боясь потерять и не веря своему счастью. По усталому лицу Павла бродила чуть заметная улыбка.

— Колька-то где? — тихо спросил Павел.

— А? Колька? — не поняла вначале Настя, и со смешком так же тихо проговорила: — Всё утро около тебя вертелся! Насилу послала траву жать корове. Уехал на веретья с мальчишками на обласке. — И, словно предугадывая второй вопрос мужа, сказала: — Маманя в огороде грядки полет.

— Голова, Настя, трещит.

Настя молчком жадно впилась губами в Павловы губы, затем отвалилась на спину, закинув руки за голову.

— Ох и нарожаю я тебе детишек, Павел Федотович! — и счастливо, тихо засмеялась. Затем, повернувшись, она снова припала к мужу, всё ещё не веря своему счастью, и легко встала с постели. Стал подниматься и Павел, прилаживая протез, тот глухо и жутковато постукивал об пол. Настя с болью посмотрела на мужа. Заметив взгляд жены, Павел нахмурился и сердито проговорил:

— Ничё, Настя, руки, голова — целы, проживём!

— Да я разве чё, Паша! — смущённо проговорила Настя. — Конечно, проживём... Кто бы знал, какая я щастливая, — протянула она нараспев, наливая стакан браги.

Павел выпил и, поморщившись, проговорил:

— Совсем отвык от браги!

— Да и привыкать, Паш, не надо, — подхватила Настя.

— Скажи, кака умная! — усмехнулся Павел и направился к выходу. Не торопясь прошёл, вышел на крыльцо и стал внимательно оглядывать двор с ещё не убранными столами.

Июньский день набирал силу. В палисадниках на кустах смородины и малины клейко зеленела молодая листва. Мохрилась отцветающая черёмуха, стыдливо пряча полуобсыпанные соцветия в густые зелёные ветки. Далеко за огородами синела зубчатая таёжная стена. Павел глубоко и радостно вздохнул.

Услышав, что кто-то вышел на крыльцо, встала Акулина. Прикрыв глаза от яркого солнца ладошкой, посмотрела на крыльцо. Увидев сына, она засеменила к нему. Павел тоже быстро пошёл навстречу матери.

— Пашенька! — только и смогла проговорить старуха. Она прижалась к груди сына. Павел нежно гладил седые волосы матери и глухо говорил:

— Успокойся, мама, успокойся!

— Ни отца, Паша, ни братьев! — плакала и жаловалась Акулина...

Павла со вчерашнего дня беспокоила какая-то неясная, неосознанная мысль. Она будоражила его, не давая успо-

коиться. Солдат потерянно бродил по двору, поскрипывая протезом и сбивая подвернувшиеся лопухи костылём. Заглянул под навес. Там лежали заботливо заготовленная дранка и аккуратный штабелёк брёвен и жердей. Павел тяжело вздохнул, вспоминая отца, и вышел со двора на деревенскую улицу. Облокотившись на штакетник палисадника, посмотрел на черёмуху: её полуобсыпавшиеся цветы вызывали у него какое-то раздражение. Он ударил костылём по черёмуховой ветке. Слабо вздрогнув, она, словно в знак благодарности, осыпала его белыми лепестками, обнажив кисти, в которых угадывалась новая зарождавшаяся жизнь. Павел долго смотрел на ветку, потом перевёл взгляд на деревенскую улицу и по-хозяйски придирчиво стал осматривать её двор за двором. Его поразили сиротский вид деревни.

— Да-а, матушка моя, обветшала ты за годы войны, обтрепалась!

Деревня и правда захудала. Подгнившие столбы калиток, наклонившиеся в разные стороны, кое-как закреплённые жерди в изгороди огородов, облезлые оконные наличники с выбитыми кое-где стёклами, крыши, поседевшие, щепастые от покоробленного дранья, словно чешуя заражённого глистом карася, вызывали у солдата такое же чувство неосознанной вины, как тогда, когда видел он стоящих у обочины ребятишек, одетых в тряпье, нередко встречавшихся на прифронтовых дорогах. Осознав это, восстала солдатская душа. Не мог он примириться с неприбранной, расхристанной деревней. Она была в его памяти совсем другой. Он вспоминал её на фронте всё время, и всегда она была красивой и желанной.

Павел ещё раз внимательно осмотрелся, уже прикидывая, что надо сделать.

— Работы-то, работы!.. — ужаснулся он.

Но — странно: этот внезапный вывод не огорчил, а наоборот, вызвал радость; и зачесались руки у солдата, запросили топора. Он прямо до ломоты в зубах вдруг почувствовал, как хорошо налаженный топор мягко вгрызается в упругую смолистую древесину.

Павел протёр глаза рукой и старательно засмеялся.

— Тьфу, прямо напасть какая-то! — И затем уже спокойнее проговорил: — Наломашь ещё руки, Павел Федотович! — И уже как о решённом, продолжал самому себе: — Дядя Родион поможет, дед Афанасий... Бог не выдаст — свинья не съест!

Павел вошёл в ограду, заглянул под навес.

— Настя! — нетерпеливо позвал он. Настя вышла на крыльцо.

— Где тятин топор? — спросил он у жены, а сам глазами шарил по старенькому верстаку, где отец обычно держал свой инструмент. Топора там не было.

— Да в сенках он, — ответила Настя, — Колька чей-то тесал. Чё ладить-то хочешь?

— А деревню хочу нарядить, чтоб как невеста была, — улыбнулся Павел. — Одну её в платье с голубым горошком. Навроде тебя!

— Каку деревню? Ты чё, свихнулся, чё ли? — не удержалась Настя. — Тебе же отдохнуть надо!

— Вот и отдохну с топором, — уже серьёзно проговорил Павел.

Настя замолчала, она знала мягкий, но неуступчивый характер свёкра, а Павел был в отца.

На Павла нашёл раж. Ему не терпелось прямо сейчас, в эту минуту, взяться за работу. С каким-то детским озорством он подошёл к калитке, снял её с петель и осторожно поставил в сторону. Надавил рукой на подгнивший столб, раскачав его; тот легко подался. Павел пригнулся, обхватив столб руками и, делая упор на здоровую ногу, потянул его из земли. Столб со скрипом, нехотя, пошёл вверх. Вытащив столб, Павел ликуя бросил его под ноги, точно выдернул всю гниль и всю жестокость прошедшего времени.

«Всем вдовам калитки поправлю, всем городьбу подровняю, чтоб как по линейке...» — всё более радуясь своему решению, думал солдат. Он уверенно пошёл под навес выбрать бревёшко для столба. У него уже не было свободной минуты.

С любовью уложил бревно на два деревянных обрубка и закрепил его железной скобой. Нагнувшись, постучал обухом топора по скобе, проверяя, хорошо ли держит. Распрямившись, недолго, недолго постоял, о чём-то глубоко задумавшись, машинально пробуя острое лезвие топора большим пальцем. Очнувшись, Павел примерился, подняв невысоко топор, затем резко ударил им по бревну. И вот уже из-под острого лезвия побежала послушная щепка, в нос ударило острым смолистым запахом. У Павла защищало глаза. Он врубил топор и медленно распрямился, вытирая набежавшую слезу. И только сейчас до него дошло, что кончилась наконец война. И пришла нелёгкая, но выстраданная бесконечно долгими днями и ночами мирная пора.

День Победы

Стоит сосна на угоре с засыхающей вершиной, цепляется побелевшими от старости корнями за сыпучий песок и живут на ней только мощные узловатые сучья внизу кроны. Иссошило безжалостное время вершину, пооббило ветрами кудрявые ветви, но есть ещё сила в них; кормят они и поддерживают жизнь в дряхлеющем стволе.

Поздний вечер. На кухне, глубоко задумавшись, сидит старик. Рядом с ним на чисто прибранном столе стоит распечатанная бутылка водки и три пустые стопки. Попыхивая паром из носика, посвистывает на подоконнике чайник. Шумит за окном ненастная весенняя ночь, постукивая редкими дождевыми каплями в оконное стекло. Старый фронтовик тяжело поднялся со стула и медленно подошёл к окну, отодвинул шторку. На него, смутно отражаясь в стекле, смотрел старик, черты лица которого терялись в полусвете и только ясно были видны блестящие глаза и отливающая серебром седина. Чуть дальше, за тёмной расплывчатой фигурой, дрожали на ветру голые тополевы ветки.

Скрипнула дверь, на кухню неслышно вошла старушка. Она поставила на стол тарелку с солёными огурчиками и тихо проговорила:

— Отец, тебе ничё больше не надо?

Старик повернулся на голос, посмотрел на жену, на стол:

— Спасибо, мать, не надо! — Он улыбнулся виноватой улыбкой. — Иди, мать, отдыхай. Ты же знаешь, я всё одно не усну. Побывать мне надо сёдни одному с друзьями... одних — вспомнить, других — помянуть...

Старушка посмотрела на своего мужа, хотела сказать, что костюм с орденами она почистила и выгладила, но ничего не сказала, а только покачала головой и тихо прикрыла за собой дверь.

Остался старый фронтовик один на один со своими мыслями и переживаниями...

Плывут перед глазами полузабытые, стёртые безжалостным временем лица; душные, палящие зноем, летние дни перемежались ненастными осенними и морозными зимними. Прибранная и ухоженная земля, покрытая лесами и полями, сменялась — разверзнутой, застывшей в мучительной агонии, искорёженной снарядами и танковыми гусеницами. И не было уже для старого фронтовика ни тесных стен квартиры, ни груза прожитых лет...

Редкий сосновый лесок. Снег под соснами, вывернутый танковыми гусеницами и истоптанный тысячью солдатских сапог, смёрзся неровными серыми глыбами. Стояли сильные морозы, хоть и был всего-навсего конец ноября. Вымороженный до звона снег скрипел так, что слышно было за версту. Под кронами реденьких сосенок держал оборону пехотный батальон, в расположении которого находился их взвод разведки.

Немец, наступавший на Москву, выдохся, и противоборствующие стороны, используя редкую фронтовую передышку, готовились к новым ожесточённым сражениям. Командир батальона особенно придиричливо следил за разведчиками, готовя их к переходам в ближние тылы

противника, для сбора разведданных. Было организовано круглосуточное дежурство по наблюдению за передним краем противника, а в леске по приказу комбата оборудована учебно-тренировочная позиция. Появившись неожиданно в расположении взвода, комбат хриплым от простуды голосом пушил лейтенанта за то, что дежурный поздно заметил командира.

— Вас, товарищ лейтенант, с таким часовым фрицы не только перешлёпают, как куропаток, а вместе с потрохами весь взвод к себе утащат. Кто так ведёт наблюдение? — язвительно хрипел комбат.

— Мы же на отдыхе, товарищ комбат! — оправдывался молоденький лейтенант.

— Отставить разговоры! Разведчик не может, не имеет права просто так отдыхать. Если хочешь выжить сам и уберечь солдат, тренируйтесь, лейтенант! — учил комбат, и сразу же приказал: — Построить взвод в полном боевом!

— Взвод-о-д, в полном боевом, — высоким от волнения голосом прокричал лейтенант, — в две шеренги становись!

Через минуту солдаты замерли в строю, только пар, вырываясь изо рта тугими клубочками, выдавал их волнение. Маскхалаты, скрадывающие очертания человеческих фигур, делали их похожими на белые, засыпанные снегом, пни.

— Разойдись! — Команда покатила, точно упругое колесо длинного пастушьего бича, развернувшись до конца, когда строй весь разбежался, она вдруг резко выстрелила: — В одну шеренгу становись!

Зашатавшись, точно молодые ёлочки на ветру, солдаты быстро выстроились в одну шеренгу и замерли. Командир стал медленно обходить строй, придирчиво оглядывая каждого солдата, и как-то обыденно, не по-уставному, скомандовал:

— А ну, ребята, попрыгайте на месте!

Солдаты дружно запрыгали. У каждого солдата что-нибудь брнчалло. Только у одного Ивана Грязева поскрипывал снег под ногами.

Комбат медленно шёл вдоль шеренги, лицо его искажала недовольная гримаса. Наконец он остановился против Ивана.

— Отставить!

Строй замер.

— Как фамилия?

— Рядовой Грязев, товарищ комбат!

— Откуда родом?

— Из Сибири, товарищ комбат! С Васюгана!

— Два шага вперёд! — скомандовал он Ивану.

Грязев шагнул вперёд и лихо развернулся лицом к строю. Лицо его было серьёзное, деловитое, но где-то глубоко в глазах пряталась лукавая смешинка. Недовольная гримаса исчезла с лица командира, и он с удовольствием рассматривал солдата. Иван был одет по уставному, но с тем особенным щегольством, которое присуще от природы очень ловкому и очень бывалому человеку. Шапка его чуть-чуть сдвинута на затылок, из-под которой выглядывала чёрная прядь волос, телогрейка застёгнута на все пуговицы, но верхние полы её слегка отгибались, обнажая стройную мощную шею. Белый маскхалат, накинутый на плечи, спадал ровными симметричными складками, скрадывая подбористую фигуру солдата.

— Ну-ка, попрыгай, сибиряк! — попросил комбат.

Иван запрыгал на месте. Никаких посторонних звуков, кроме визгливого поскрипывания снега, не было слышно.

— Учитесь, разведчики, у сибиряка, — обратился к строю командир.

— У нас по-другому нельзя! — усмехнулся Иван, переставая прыгать.

Почему? — с невольным интересом спросил командир.

— Да у нас на Васюгане, товарищ комбат, зыбко, под зыбуном глыбко, чуть в сторону шагнёшь — и поминай как звали... Опять же сохатого скрасть — тут уж не только подшуметь, но и одушить боишься. Я извиняюсь, прихо-

дилось и штаны до колен спускать и пихтовой лапкой натираться, да и под мышками тоже. Больно для зверя эти места духовитые! — складно частил Иван, лукаво улыбаясь.

— Ясно! — улыбнулся в ответ командир. — Становись в строй, сибиряк! — и пошёл неторопливо вдоль шеренги, заложив руки за спину, о чём-то глубоко задумавшись. Напускная строгость слетела с его лица и стало видно, как смертельно устал этот человек. Справившись с минутной слабостью, он обратился к взводному.

— Что ж, продолжим занятия, лейтенант! — жёстко проговорил комбат. — Вам ставится задача: бесшумно снять часового с поста. Часовым стану я. — Вам ясна задача, товарищ командир?!

— Так точно, товарищ комбат! — приложив руку к ушанке, вытянулся в струнку молоденький мальчишка.

— Ну-ну! — улыбнулся комбат. — Раз ясно — выполняйте. — И командир не торопясь пошёл к сооружению, представлявшему не то огороженный склад, не то гараж, с натопанной вдоль изгороди тропинкой.

Наступили ранние зимние сумерки. Редкие сосны с полуобсыпанной кухтой жались вокруг небольшой поляны, на которой стояло наспех сделанное сооружение, громко именуемое взводным учебным полигоном.

— Рядовой Хамитов, — командовал лейтенант стоящему на правом фланге шеренги высокому худощавому татарину: — Снять часового с поста, действовать ножом, без всякого шума! Ясно!

— Так точно, товарищ лейтенант! Разрешите выполнять?

— Выполняйте!

Хамитов поддёрнул зачем-то штаны, затягивая ремень потуже, спрятал автомат под маскхалат и неловко побежал от сосны к сосне, стараясь незаметно выйти на край поляны. Его длинная фигура, скрытая маскхалатом, через двадцать-тридцать метров совершенно растворилась на белом фоне, только звонко поскрипывал под валенками снег, выдавая с головой разведчика.

— Эх! — простонал лейтенант. — Сейчас застучает!

Точно подтверждая слова лейтенанта, через некоторое время насмешливый голос постового:

— Хватит стараться! Считай — уже на небе!

Ещё человек пять-шесть пытались незаметно подползти к часовому, и всех неизменно останавливал простуженный голос комбата. Очередной обнаруженный солдат обиженно проговорил:

— Скрипит же снег, товарищ комбат! Как его снимаешь?

— Как его снимешь! — слышалось в ответ. — Ты думаешь, я тебе погоду буду заказывать, когда в гости к фрицам пойдёшь? Зря думаешь; погодой я не командую, а разведанные нужны! — рубил отрывисто командир, подходя к солдатам. Он остановился перед строем и тяжело посмотрел на солдат:

— Что — вояки... ослабило! Где же ваша хваленая смекалка, разведчики? — с досадой проговорил комбат.

Из строя неожиданно вышел Иван Грязев:

— Разрешите мне, товарищ комбат!

— Сибиряк?! — с надеждой произнёс командир. — Что ж, попробуй!

Командир ходил вдоль забора по набитой тропинке, досадуя на сыпучий снег и внутренне сочувствуя разведчикам. Тридцать шагов в одну сторону, тридцать — обратно...

Иван быстро снял с себя маскхалат, скинул вещмешок и, развязав его, стал в нём копать.

— Ну, Фроська, выручай! — бормотал Иван негромко, доставая из мешка большие, сшитые из собачьего меха, рукавицы-мохнашки. — Жена сунула в последний момент, возьми, говорит, Ваня, — может, пригодятся! Вот и пригодились, — с лёгким смешком объяснял Иван окружившим его солдатам. Бросил мохнашки на снег, под ноги, увязал вещмешок и стал снимать валенки. Заботливо сунул голяшка в голяшку, чтобы не нахолодали.

— Подержи! — Он подал валенки стоящему рядом Хамитову. Натянул мохнашки на ноги и примотал их бечёв-

кой, которая всегда найдётся в кармане у хорошего солдата. Разогнулся, потоптался, и довольно крикнул: снег под ногами совсем не скрипел. Затем накинул на плечи маскхалат, весь подобрался, чуть подавшись вперёд, пристально вглядываясь в маячившую в вечерних сумерках фигуру человека. И стремительно, в два-три прыжка — исчез, как растворился в белёсовой мути наступившего вечера. Ни скрипа, ни шороха...

Разведчики с интересом наблюдали за поединком.

— Ну, этот завалит! — слышалась солдатская реплика.

— Ловок, сатана! — поддержал кто-то с завистью.

А вдалеке на тропинке маячила одинокая фигура часового, сопровождаемая приглушённым скрипом. Скрип... Скрип...

Вдруг фигура часового дёрнулась, слышалась глухая возня, и потом довольный голос комбата прохрипел:

— Нормально, сибиряк! Твоя взяла!

Старик стоял, опершись обеими руками о подоконник, в окно к нему заглядывала тёмная весенняя ночь. Он сосредоточенно смотрел в окно, по лицу его бродила улыбка. Ожившие воспоминания омолодили старого солдата; плечи его расправились, словно свалился с них груз прожитых лет.

«Да-а, — подумал старик об Иване. — Такой о порог не запнётся, на ровном месте не поскользнётся!»

Он медленно подошёл к столу, взял распечатанную бутылку и разлил водку по стопкам. Присел на стул, посмотрел на стопки отсутствующим взглядом, поднял свою и слегка чокнулся со стопкой, стоящей напротив.

— Давай выпьем, Иван, за победу! — Старик выпил водку, взял из тарелки огурчик и тут же забыл про него. — Раз уж нам с тобой судьба улыбнулась, выжили в этом пекле. Разве верили мы... — Старик посмотрел на противоположный край стола, где должен был сидеть воображаемый собеседник: — Да не-е-т, Иван! — тут же возразил сам себе старик. — Верили... каждый солдат ве-

рил, да только вера многих подвела... возьми хоть наш взвод... помнишь? — Старик тряхнул головой, удивлённо посмотрел на огурчик в своей руке, положил его назад в тарелку: — Да и ты помнишь — разве можно такое забыть! — Он снова глубоко задумался; черты лица его разгладились, взгляд, обращённый внутрь себя, посветлел. Старый солдат так ясно почувствовал кислую жару землянки, что невольно качнулся вперёд, словно хотел протянуть руку, проверить своё ощущение.

...Гудит железная печка, распространяя вокруг тепло. На нарах, сколоченных на скорую руку, отдыхает взвод. Около печки сидит на корточках Грязев Иван, открыв дверку топки, он обгоревшей палкой ворошит сырые поленья. В буржуйке слабо потрескивают дрова; маслянисто-красные языки пламени, подведённые на концах муаровой каймой, пробиваются сквозь обгоревшие поленья. Багровые сполохи мечутся на плащ-палатке, закрывшей входной проём в землянку, по суглинистым стенам, потемневшим от копоти.

Сидит старик в душной землянке, беседует со своими товарищами. Снова он молодой в том суровом, невыносимо тяжёлом и далёком времени. В той среде фронтового братства, вернее, надёжнее которого не бывает. Проверено оно и скреплено кровью. Вслушивается в родные незабываемые голоса...

— А чё, мужики, — слышится хриловатый голос Анвара Хамитова, — кончится весной война, или нет?

— Держи карман шире, кончится! — насмешливо возразил голос Кости, уроженца Москвы. Его так и звали, невысокого язвительного парня — Костя Москвич да Костя Москвич.

— Я не говорю, что в эту весну. Сначала немца надо отогнать от Москвы, а через год, поди, дойдём до Берлина. И обязательно — весной! — убеждённо проговорил Анвар. Солдат мечтательно закрыл глаза.

— Приеду я домой на Волгу: ох и люблю же я её, ребята! Ширина... пески... уйду куда-нибудь на берег, построю ша-

лаш и буду жить там, один... неделю — нет, целый месяц. Буду спать, рыбу ловить и снова спать. Красота...

— Давай, давай, отсыпайся, — съязвил Костя. — Может, поправишься немного! — И с присущей ему безапелляционностью заявил:

— Нет, Анвар, Москва-река лучше! Что Волга — другой берег путём не разглядишь, а вот наша — она домашняя, уютная! А ещё лучше моё Замоскворечье. Кончится война, приедете ко мне в гости, и пойдём мы с вами рано утром на Красную площадь. На площади никого, тихо. Только купола блестят на солнце и бьют куранты. Постоим около памятника Пожарскому и Козьме Минину, затем пойдём ко мне во двор. Он травой весь зарос, липы цветут, и поставим посреди двора стол, сядем за него... — Костя смущённо улыбнулся и, словно оправдываясь, проговорил: — Правда, ребята, может, мой двор не хуже и не лучше других, а вот стоит перед глазами...

— У каждого, Костя, свой двор, своя река! — попыхивая самокруткой в открытую дверку железной печки, поддержал разговор Иван Грязев. — Возьми мой Васюган: сколько горя он людям принёс, сколько слёз пролито по его берегам, а нет лучше этой реки для меня. А черёмухи, черёмухи!.. Как зацветёт весной, словно снег белый выпал на его берега...

Зашуршала палатка, откинулась пола, и с клубами белого морозного пара ввалился лейтенант. Солдаты без поданной команды встали.

— Сидите, сидите! — смущённо проговорил командир взвода. Он протянул озябшие руки над раскалённой печкой.

— Товарищ лейтенант, скоро наступать будем? Чё комбат говорит?

— Какое наступление, товарищ Хамитов! Я ничего не знаю! — ответил лейтенант.

— Да ну-у, товарищ командир, весь фронт знает, а вы не знаете!..

Это был для их взвода последний спокойный вечер. Через сутки отделение двумя группами ушло на разведку.

Старик посуровел и, обращаясь, к своему собеседнику, незримо присутствующему за столом, тихо проговорил:

— Да-а, Иван, если бы не ты... не сидеть бы мне за столом! Не было бы Сергея...

Дед Сергей опустил седую голову и глубоко задумался.

Встретились на нейтральной полосе, перепаханной снарядами и заросшей редким кустарником. Посреди нейтралки стояла одинокая сосенка со срезанной снаряженным осколком вершиной. Вершинка неловко лежала на боковых ветках дерева, удерживаемая тонкой полоской болони, и вызывала острое, почти физическое чувство боли.

— О-о! — Испуганно-приглушённое восклицание вырвалось у ошарашенного неожиданной встречей немца. И голос — осекся. Иван не раздумывая кинулся на фрица. Немцев было шесть; в группе Грязева — четыре. Бились молча, страшно, остервенело. Точно стыдясь за людей, за их звериную жестокость, ночное небо было закрыто почти сплошной облачностью и только в редких просветах мерцали крупные яркие звёзды.

Забыли про ножи и оружие, дрались голыми руками, рвали друг друга зубами. Иван быстро прикончил своего противника и кинулся на помощь Хамитову, на которого навалились сразу два фрица. Сергея подмял здоровый немец, его руки, как клещи, сдавили ему горло. Немец прижал всем телом разведчика к земле; в нос ударило резким запахом пота и кислой овчины. Запах овчины взбесил и придал силы.

— Стерва, в нашем полушубке и меня же давишь! Тебе тепло надо, падлюка! Будет тебе тепло!

Старик даже сейчас, сидя за столом, напрягся так, что заныли мышцы на руках и ногах. Он вспомнил всё: как его душил немец, как запах родной кислой овчины придал ему силы и он, изловчившись, ударил коленом фрица в пах. Тот застал и на мгновение разжал руки. И теперь уже Сергей навалился на немца. И тут обожгло правую сторону груди.

— «Нож!» — мелькнуло в голове, и резким кистевым ударом, как учил комбат, он ударил немца по руке. Отлетевший нож слабо звякнул о замёрзшую землю. Привстав на колено, крепко сцепленными в один кулак руками ударил противника по голове. Немец замычал и потерял сознание.

И только теперь, прижав рукой рану, Сергей почувствовал, как по правому боку и животу бегут горячие струйки крови.

Тяжело дыша, подошёл Иван и опустился на лежащего немца. Снял с себя шапку и ей же стал вытирать пот с лица.

— Наши все живы! Немцев под сосенкой и положили! Тоже, видать, гады, на неё ориентировались! — возбуждённо, ещё не остывший после схватки, шептал Иван. — Тебя чё, зацепило?

— В бок ножом саданул, сволочуга!

Вдруг тонко, по-пороссячи, завизжал очнувшийся немец. Они с напарником навалились на фрица; Иван рукой пытался зажать ему рот, но немец вертел головой и продолжал визжать тонко, пронзительно. Его визг, казалось, рвал темноту в клочья.

Передний край высветился разноцветными ракетами. Застрекотали пулемёты, зашикали, зашелестели в воздухе мины. Иван, яростно матерясь, ударил ручкой финки немца по голове. Тот, хрюкнув, сразу замолчал. В запале он поднял руку, чтобы ударить второй раз.

— Тише, дура, убьёшь языка! — предостерёг товарища Сергей.

Их подбросило от близкого разрыва мины. Мины ложились густо, а они лежали на немце, прикрывая его собственными телами. Так же внезапно, как начался, так и окончился миномётный обстрел. Ещё немного для острстки потукали пулемёты, затем замолкли и они. Наступила неестественная, какая бывает только на фронте после обстрела, тишина.

— Связать падлюку, пока не очухался! — проговорил тихо Иван. Он перевернул немца на живот и, заломив руки

за спину, скрутил их верёвкой. Немец застонал, и Иван, сорвав с шеи шарф, заткнул ему рот.

— Так спокойнее будет, — удовлетворённо проговорил Иван и повернул голову к сосне: что-то ребят не слышать, пойду посмотрю!

— Иди! — болезненно сморщился Сергей.

Иван исчез в темноте. Раненый едва сдерживал стон. Правая сторона груди и рука отяжелели. Было трудно дышать. Каждый вдох отдавался в груди острой горячей болью.

...Они лежали около свежеразвороченной воронки. Анвар неловко запрокинул голову и в его широко открытых глазах отражалась яркой точкой звезда. По другую сторону воронки лицом вниз уткнулся Костя. Половина тела его в белом халате лежала на снегу, а вторая — на чёрной, свежевывороченной земле, отчего фигура разведчика казалась неестественно короткой... точно обрубок.

Иван расстегнул полушубок и припал ухом к груди Анвара. Сердце не билось. Он мягким движением прикрыл глаза Анвару, надвинув на них шапку, и подполз к Косте. Осторожно перевернул тело товарища; сердце билось редко, неровными толчками. Ощупав тело и найдя ранение, он достал пакет и быстро перевязал товарища. Когда Иван вернулся к Сергею, тот лежал на немце без сознания. Он прямо поверх гимнастёрки перевязал друга, туго обмотав грудь бинтами.

В течение оставшейся ночи Иван вытащил немецкого языка и ещё три раза ползал на нейтралку, вытаскивая по очереди тяжело раненых Костю и Сергея, и совсем уже утром вынес погибшего Анвара.

Старый солдат поднял голову и, обращаясь к своему воображаемому собеседнику, проникновенно заговорил:

— Пораскидало нас после госпиталя. Где только ни воевал, а в свою часть так и не попал. — Старик на минутку умолк и, собравшись с мыслями, продолжал дальше. — С Костей мы, Иван, в одном госпитале лежали. Умер Костя на моих глазах... Легко умер — без сознания был. — Дед

Сергей судорожно вздохнул и как-то болезненно улыбнулся: — Такая нам с тобой выпала судьба; ты Анвара похоронил без меня, а я без тебя с Костей простился! Я вообще заметил, Иван... возьми хоть меня; сколько людей перевидал в военное время, а первые фронтовые друзья, наверное, как первая любовь, не забываются...

Старик умолк и потянулся за бутылкой; наполнил до краёв свою стопку:

— Выпьем, Иван. Помянем ребят!

Дед Сергей посмотрел на третью стопку, наполненную до краёв, сиротливо стоящую в сторонке. Взгляд его затуманился, судорожно передёрнув кадыком, он выпил горькую... Сморщившись, дед Сергей помотал головой, закусил хрустящим огурчиком и как-то по-детски беспомощно улыбнулся:

— Да-а, Иван! Постарел Сергей, постарел! Чуть что — и глаза на мокром месте... А помнишь, мечтали: вот кончится, уж тогда заживём и за себя, и за тех, кому не придётся дожить до победы. Вот и зажили... жизнь прожили и ничего не видели. Что уж про жизнь говорить, даже с тобой ни разу не виделись, а в одной области живём! Всё дела какие-то, дела мешали. — Дед Сергей возмущённо прихлопнул ладонью по столешнице. — А если подумать ладом — какие дела? так — неурядь одна, мелкота да маята... Помоложе были, разве думали, куда время уходит. Жизнь, казалось, длинная, конца ей не будет! Ан нет... близко локоть, да не укусишь!

Память ты, память стариковская... длинна и извилиста, точно таёжная речка. Бьёшься в заламах, обдираешь бока на мелких ребристых перекатах, то вдруг разливаешься широкими и глубокими омутами. Весело течёшь по звонким, пронизанным солнечным светом сосновым борам — тогда светлеют глаза старика и разглаживаются глубокие морщины на лице; то упрямо продираешься через тёмные, дремучие урманы, и тогда никнет седая голова, туманятся глаза от тяжких дум...

— Чё жалишься? Жизнь прожил — краснеть не пришлось! Детей с матерью вырастили, — одёрнул себя ста-

рик. — Внук уже, Серёжка, в армию служить пошёл! — Старик вспомнил, как на проводах обнял его крепкий парнишка, а дед только заглядывал в родные серые глаза и ничего не мог сказать: все слова застряли в горле.

Чем пристальней дед Сергей вглядывается в смутный образ внука, тем сильнее у него в груди нарастает смутная глухая тревога... Вдруг где-то в глубоких пластах памяти одиноко и сухо прозвучал пистолетный выстрел. Образ внука растаял, а вместо него возникла другая картина. И не хотел бы старый солдат её вспоминать, а вспомнил...

Стояло знойное кубанское лето. Воздух был пропитан удушливо-сладковатым фронтовым смрадом. Несколько недель их батальон стоял в обороне. Солдаты отдыхали, используя фронтовое затишье. Обустроились, только ночью и днём выставлялись усиленные пулемётами секреты. Ночи южные, тёмные; стрельба редкая — для острстки. Солдаты, да и офицеры успокоились, за что и были жестоко наказаны.

В одну из таких ночей, под самое утро, и произошло в их взводе несчастье.

Немецкая разведка прямо мастерски выкрала секрет вместе со станковым пулемётом. Командира взвода, молоденького лейтенанта, взяли под стражу. Трибунал на фронте работает споро. На следующее утро построили полк, поставили лейтенанта около свежевырытой ямы; военный прокурор зачитал обвинение, командир полка вынес приговор; комендант подошёл к лейтенанту и сорвал с него погоны.

Молодой парнишка в распушенной без ремня гимнастёрке, с которой были сорваны погоны, смотрел на строй растерянно-непонимающими глазами. От этого ещё совсем детского взгляда солдатам стало жутко. Они опустили глаза.

Старик похолодел. На него оттуда, издалека, смотрел уже не лейтенант, а родной внук Серёжка. Он ясно видел, как к нему подошёл комендант, взял за плечо и повернул его лицом к яме. Опушенные плечи, непокорный торчащий вихор на затылке, пистолетный выстрел — и всё кончено...

Вспыхнувшая в сознании старика картина была настолько реальна и страшна своим бездушием, что он застонал, схватившись за грудь; на глаза у него навернулись слёзы. Дед Сергей тяжело поднялся со стула и медленно подошёл к окну. Смахнув заскорузлой ладонью скупую слезинку со щеки, он мучительно прошептал:

— Господи, сосунок совсем — первогодок! Время-то какое настало, кто бы мог подумать... — Он крепко вцепился в подоконник, так что побелели пальцы. — Неужели придётся им хлебнуть нашего горя? Неужели наших мук недостаточно?

В окно к старику заглядывала глухая весенняя ночь, но в чуть-чуть засеревшем сумраке уже угадывалось зарождение нового дня. Дня Победы!

По стеклу редко бухали крупные дождевые капли...

Из книги «В снегах глубоких»

Сосновый бор за Тихеевкой околдован декабрьской стужей. Хвоя в изморози, топорщится, словно деревья облеплены несметным числом окоченелых ежей. Морозный туман с жидкими, сизыми дымами висит над бором тонконитной сетью.

В такое средизимье идёт по всему Понарымью военный лесоповал. Самый строгий, безоговорочный план — древесина для оборонных заводов. Конечно, спросится за пиловочник, телеграфник, судострой, шпальник, карандашник, рудничную стойку, но главная боль в голове — за сосны и кедры без изъяна. Певучим камертоном должна гудеть каждая авиасосна от обушного удара лесорубовского топора.

К любому плотбищу, катищу на берегах сплавных рек тянутся из урманов дороги-ледянки, снежно-поливные пути для вывозки спелой древесины. Стоический русский лес вновь призван на войну и для тыла. Идёт его косовица по Пельсе и Вадыльге. По Тыму и Васюгану. По Кети и Парабели. Не перечесть все реки, боры, гривы нарымских хвойников. Стоят оцепенелые многовёрстные тайги, готовые отправить дюжих сородичей на заклание.

Сплавщики-нарымцы торопятся произвести зимой обоновку рек: протянуть длинные сцепки охранных брёвен на опасных участках молевого сплава. Захочет текущая с водой древесина свильнуть в старые русла, заводи, ручьи, разлитые озёра — не удастся: боны отвергнут её, пошлют по маршруту сплава.

В колхозах ещё не везде завершена молотьба хлеба — силы брошены на молотьбу леса. Мелькают топоры обрубщиц сучков. Хрустят под самокатными пимами сухие шишки, рассыпают в утопанный снег семена. Выживите, взойдите, кедры, сосны, пушистыми комочками! Порадуйте молодью обессиленный лес. Встаньте весной в безбольные родины природы, осчастливьте солнце и северную землю.

Не заморозить человека от пули, дерево от пилы. Тыловое Понарымье озвучилось чирканьем лучковых и широкополотных пил, хряским падением стылых стволов, перебранкой топоров.

Ещё потемну пустели таёжные рабочие бараки, занесённые по окна тугими сумётами. Бревенчатые стены с клочками пазового моха, сплошные нары, сделанные из тонкомерного леса-жердняка, обмазанные глиной небелёные печи совсем недавно слышали затяжные храпы, простудный кашель, оброненные спросонья несвязные слова, невольные глухие звуки, зародившиеся в спёртых животах и выпущенные в барачную тьму неизвестно кем. Из духоты лесорубовского жилища перешагивали за дверной порог в морозную свежесть таёжного утра. Сдерживали дыхание, не сразу запуская в себя колкий воздух.

Опустел барак за Тихеевкой. С нар свешиваются заulosненные ватные одеяла. Под потолком на жёрдочках-вешалах сушатся сменные портянки, шерстяные крупной вязки носки. У дверного проёма висят на гвоздях покоробленные уздечки, рваные, прожжённые у костров теплогрейки, переносной фонарь «летучая мышь» с надколотым стеклом. У печки горка сухих дров и скрюченная береста для растопки. Воздух до густоты пропитан пылью, вонью, портяночным и махорочным духом.

Осталась в бараке одна живая душа — Фросюшка Подайте Ниточку. Сидит на нарах, обхватив руками ватную подушку. Тупо смотрит на тусклый фонарь. Крысы, стерегущие время ухода лесоповальщиков, смело и нахально выкатываются из половых прогрызов. Полоумка убирает

барак, топит печь, терпеливо сносит издёвки и шлепки по костистому заду. Кто-нибудь из мужиков, ущербных телом и потому не взятых на фронт, прикрепит к подолу Фросюшки обломок сучка и зубоскальничает на нарах, обнажая грязные никотиновые зубы. Ходит Фросюшка с сучком, не замечает его.

Лень сползать с нар на холодный пол. В руках полумки ватная подушка превращается в малютку. Баюкает дитя, тянет заунывную колыбельщину — ааа-ыыы-ууу-ооо. Вата в подушке слежалась, сбилась в полушар. Фросюшка Подайте Ниточку положила комковину на сгиб левой руки, гладит головку ребёночка. У печки зашевелилась береста, поползла. Женщина оборвала мычание, положила подушку. Крыса напомнила о барачных делах. Надо хватать голик, подметать грязный, щербатый пол в окурках, плевках, опилках, вытряхнутых из валенок при разувании. Ждёт охолодевшая печка. Снег у крыльца. Обула на босу ногу великоватые серые катанки. Толкнула обмёрзшую неподатливую дверь: открыла вход морозу.

Она любила проветривать барак. Заворожённо смотрела на шустрые клубы текучего морозного воздуха, заползающего под нары, в углы, на женскую половину многолюдного жилища, разгороженного широкой холстиной. Материя проткнута сучками, гвоздями. Её проколупали пальцами для тайного подгляда, обозрения чужих спален.

За дверью в долгом карауле стояла декабрьская тьма.

Солнцу долго выбираться из хвойных теснин. Высоты осыпаны звёздным, россыпным инеем. Ополовиненная луна поспешила оставить ледяную арену, скатиться по куполам за Пельсу.

Недавний буран завалил тропу в сосняки. Лесоповальщики, раскряжёвщики, сучкожогы, возчики брёвен, смотрители за дорогой-ледянкой упорно уминали пимами рыхлый снег, тропили к деляне новопуток. В лабиринте стволов потерянно кружились бледные пятна фонарей. Желтоватыми лунными зайчиками прыгали они по сторонам, тонули в глубокой смутной тьме. Упрётся фонарь

ный свет в правую откосину ночи, отскочит испуганно. Попытается пробить брешь слева — те же непробойные напластования застойной черноты.

Первым уминает снег подошвами подшитых пимов бригадир-стахановец Яков Запрудин. Правый пустой рукав телогрейки засунут за верёвочную опояску. Рука, отсечённая в госпитале выше локтя, ещё помнит памятью оставленной культи жилистую кисть, мёртвый сжим пальцев. Изрубцованный, зауженный скальпелем хирурга сине-красный остаток руки постоянно ноет, мёрзнет и в ватном тепле. Грубо помеченный войной мужик натягивает на культю шерстяной носок, перехватывает поверху ремешком.

Однокрылый вожак ведёт потемну длинную стаю не на отдых: перелёт военных дней длителен. Давно взлетела война бомбовыми разрывами, снарядами, осколками мин. Забыли бойцы об отдыхе. Бесконечно тянутся изнуряющие бои: одних уводят в землю, других выводят в поля сражений. Живые вновь прячутся по окопам, землянкам, определяются на постой в церквах, школах, полуразрушенных сёлах.

Выбили Якова Запрудина из кона войны. Поставили на кон тыла. И с одним крылом высоко взлетел.

В звонкий бор отрядили рабочую силу два колхоза. Влились сюда и староверцы.

В одну из ночей пал коренной снег. Соседняя с Тихеевкой деревня Большие Броды по твёрдому зимопутью отправила в сосновый бор длинный обоз. Везли картошку, укутанную соломой. Мешки с горохом, турнепсом, овсом. Чернел на соломе крутым сажным пузом трёхведёрный артельный котёл. Бригадир Запрудин-старший наказал сыну Захару проверить наличие упряжи, верёвок, пил, топоров. Захватили напильники, дратву, вар, гвозди кузнечнойковки, мыло, подковы. Растянутый обоз, шагающие и сидящие на санях артельцы могли сойти за партизанский отряд. Пробирался он не в тыл врага: у отряда были иные тылы, устрашающие фашистов. Стойкий труд нарымцев разбивал их планы, изматывал на фронтах, приостанав-

ливая наступления, заставлял пятиться и терять дивизии.

Большие Броды — деревня, открытая ветрам и васюганскому заречью. Запрудины были нужны колхозу, деревне, нарымской земле, как нужен всходам на полях тёплый дождик-сеянец.

Подрезала война Яшу Запрудина. Лес без остатка забирает его силу. Пилит одной рукой сосну — зубы в крепкий притиск: весь в испарине. Мелькает лучок, исходит дерево предсмертным стоном.

Скоро тропа вольётся в дорогу-ледянку. Близок путь до лесосек, если идти шаговито. Яков торопится, улавливая за спиной пыхтение и вздохи. Вздрагивает фонарь в руке: она, надолго пленённая лучковой пилой, и на воле не отступает от рывкового движения к себе, от себя. Во сне лучок тоже задаёт руке привычный урок: пальцы терпят лоскутное одеяло, локоть катается по нему. Даже вынужденная бездельница-культа старается подмогнуть напарнице, на которую свалилась двойная тягота лесоповала.

Открыты миру Большие Броды. Зато Тихеевка упрятана в тайге. Отшатнулась от Пельсы, и от этого шага в сторону покривилась изгородями, скворечниками, воротными столбами. Скрипят дровни по новоснежью, оставляют на тихеевской дороге-саннице росчерки полозьев. На первых дровнях две громоздкие фигуры в тулупах. Надтреснутый поддужный колокольчик плещет на тёмные снега нечёткий звон.

Тихеевцы посылают на лесоповал дюжину женщин, пять мужиков, забракованных военкомиссией, несколько рослых юнцов и старичка Аггея. Про себя он говорит: «Я ещё у тех германцев был во плену, которые походом на нас ходили. Они навреждение мне сделали: опоили чем-то. Обменяли нас голова на голову. Возвернулся на Алтай, страшусь с жинкой в постель ложиться. В кальсонах стыдоба, не мужская вещь... Чего поганцы во плену утворили — до сих пор не пойму...»

Аггей балагур и складный матерщинник.

Не дремлет под дугой гремок, но вгоняет в дрёму тихеевских бабонек.

Вчера были солдатками, сегодня в горьких вдовиц обернулись. Прилетит казённая бумажка-не промашка, рученьки опалит, сердце сдавит. Ходят такие потерянные вдовы с глазами навывкат, напоминают Фросюшку-полоумку. Валяются из рук вилы, ухваты, лучины. Выскальзывают подойники и кринки. Молчит-молчит молодая вдовица, копит боль да и выльет её страшным взвоям:

«Гооспооди, неведомо что творишь на земле. Неужели мы нелюди — обмерки какие? Оторвали силом, во глушь окунули... мужиикоов фрицы побиилии...»

Отревут своё — дальше живут.

Ежедневный хлебный паёк заставляет мозолить руки. Поднимутся на ладонях красные волны, опадут, превратятся в тёмные пятна. Жуй и жуй пилами неподатливую древесину, если хочешь пожевать податливый, тающий во рту хлебушко.

Что нависло над дорогой-санницей: полночь, полуутро? Сделает ли зимнее солнышко световой полив тайги или оставит на вечное съедение колючей тьме?

Тихеевские сани остановились у истока ледянки. Поддужный колокольчик остывал от запойного звона.

— Бабоньки, встряхайсь! — отвопил из-под тулупного грузного воротника Аггей. — Слышите — Большие Броды тюкают. Забарабают все хлебные пайки — зубы на полати придётся нам забросить.

— Скоро ноги отбросим, — проворчала плечистая вдова Валерия, держа перед собой обрывок газеты для козьей ножки. — Аггеюшка, дай табачку.

— Твой поспит в кисете? Шалишь, кума. Мы тоже знаем, почём нынче грош.

Из тайги высачивался запах кострового дыма. Меж стволов замелькали суетливые огоньки: начали кострить подборщицы сучков. Запалили сушняк и пока не давили огонь тяжестью мёрзлой хвои, не выжимали из горящих куч вороха тяжёлого, едучего дыма. Сучкожоги зажигали первый — досолнечный — свет для вальщиков. Свет

больших костров был нужен огребщикам окоlostвольного снега, сучкорубам, всем трудармейцам, урезавшим темноту ради двухчасовой прибавки тяжёлого тылового времени.

С треском выстреливали из костров пропитанные огнём угли. Трассирующими пулями делали красные росчерки, с шипением прожигали рыхлый снег. Костры разрядили таёжную темь, до срока погасили над бором зябкие звёзды.

Запрудин беглым проницательным оглядом находил самые пригодные, самые подходящие сосны под высокую марку — для обороны. Дотоле молчаливый, ждущий трудного часа сосновый бор теперь тоже оборонял отчую землю: из неё возрос, её усыплял хвойным шумом. Редели золотые колонны. Долго стояли они, набирались стойкости, цедили сладкие земные соки.

Бригадир оглядывал могутные стволы, высокую раскидистую крону. Деревья кричали наперебой: бери меня, меня, меня. Мы будем шуметь в пропеллерах. Самолётными крыльями обопрёмся на воздух... меня, меня.

Для верности и окончательного выбора Яков стучал обухом топора по стройному стволу сосны. Листовым золотом срывалась лёгкая кора, кружилась над глубоким снегом. От обушного удара дерево тонко звенело. Вальщик чутким слухом улавливал нежную сосновую мелодию и приступал к ошкурровке ствола: освободишь его от нижнего толстого слоя коры — значит, меньше серы, смолы набьётся в зубья лучковой пилы. И высоту пня определить легче. Лесообъездчик следит строго: пни должны оставаться ровные, невысокие.

Захар успел откидать снег от ствола. Взял топор из отцовской руки. Неподатливая кора примёрзла, пришлось стёсывать вместе со щепой. Дерево роняло лёгкие комья. Они решетили подкронные снега, впитывающие блики густеющих огней.

Бригадирский лучок насторожённо ждёт жаркой минуты. Скоро он надолго распрощается с покоем. Зубастое тонкое полотно лучка напоминает кружевную тесёмку,

туго натянутую между плоских берёзовых стоячков. Прочная верёвка, скрученная в жгут деревянной закруткой, производит нужную натяжку полотна на раме. Если подсчитать все годовые кольца деревьев, сваленных бригадирской пилой, получатся многие миллионы древолет. Виток — годок. Пила за прогонку разжует и выплюнет с опилками несколько годовых колец. Разбежались по бору бесчисленные пни. Летом пузырятся смолой, залепают кольчатый срез: корни по вековому инстинкту берут земные подати смолами и соками. Поднимать бы их по стволам до каждой хвоинки, да подрезаны все жилы. Пням достаются последние ласки и сладости земли.

Насупленное молчание отца передаётся сыну. Пришёл с войны, оставил там руку. Принёс в волосах досрочную седину, обменял красивое лицо на ошрамленный лик: на нём осталась непогашенной извечная дума жизни.

Яков снимает рукавицу-шубинку, засовывает за опояску. Теперь рука, взявшая лучок, всецело переходит на внутреннее тепло. Его в достаточном количестве произведёт потное тело. Даже кулья взмокреет в укромном месте под колючей шерстью. Махал ли Запрудин топором, делая подруб сосны перед пилением, таскал ли взад-вперёд лучок, оседающий в глубь ствола — постоянным видением возникала перед глазами правая, когда-то живая рука, низведённая войной до багрового обрубка. Он видел бывшую руку веснушчатой, шерстистой, с крупным родимым пятном возле вспученной вены. На запястье жила сильно пульсировала от скрытого бега крови. Пальцы несуществующей теперь руки тоже были перед глазами — с порезами ножей и стамесок, уколами гвоздей и шильев, с синими трещиноватыми ногтями, по которым разбежались белые пятнышки. Захарка любил считать белячки, верил: они сулят обновки. Проходили месяцы, обновок не появлялось. Отец напивал всё ту же грубую суконную рубаху, подшитую на локтях, влезал в залосненные штаны. Обувал вечные чирки, собранные по голяшкам в гармошку.

Нехватка правой — главной рабочей руки — особенно сказывалась в первые месяцы. Шевелился машинально

обрубок в пустом рукаве, искал и не находил применения. Запоздало спохватывалась осиротелая рука, брала рубанок, вожжи, деревянную ложку, веник в бане. Ей, только ей перепадало теперь всяческое поделье. В её ведение переходило всё тело солдата, списанного войной в деревню. Не хватало второй ладони похлопать на колхозной сходке. Яков не хотел подкачать и тут: стучал рукой о лавку или по колену. Война насильно сделала его левшой. Левоулылся на собраниях. Левоу поднимал стакан с бражкой.

Сын подпиливал лучком сосну рядом. Он никак не мог угнаться за отцом, хотя из трёх учённых тылом запрудинских рук Захару принадлежали обе-две. Вальщики знали, куда повалить вершинами авиасосны — к костру. Обрубицам меньше беготни — огонь рядом.

Запрудины проливали на лесосеке пот, истекали им, таким же солким, как кровь. Труд войны и труд тыла выжимали влагу разного цвета, но для цвета победы годилась любая.

Тихеевцы запалили костры по левую сторону дороги-ледянки. Дед Аггей нёс широкополотную пилу на правом плече — ходила волной тонкая сталь, качался за спиной берёзовый, отполированный рукавицами колышек-ручка. Напарница по валке, не сумевшая подстрелить у деда табачок, шагала молча след в след.

— Ку-у-ма-а?

— Чё тебе?

— Воспой расцыганскую песню — порушь тоску.

— Заглох бы ты... пожалел махры на закрутку.

— Не пожалел. Кури, дура, меньше. Задыхаешься — пилу еле-еле таскаешь. Была ты ниткой двупрядной, истёрлась раньше времени.

— Тут изотрёшься. Мужика там чиркнули. Пила здесь меня чиркнет — доконает. Бор за горло сдавил.

— Не тебя одну давит. По моим летам на печи лежать надо да вьюги по пальцам считать.

— Поматерись, дед, облегчи душеньку. Песенный у тебя маток.

— Нельзя, кума, сегодня Боженку по-рыцарски помянуть — воскресенье.

— Верно. Забыла совсем. Кубатура проклятая память отшибла.

Огребли снег у сосны. Без ошкуровки низа ствола дали пиле полную разгонку. Вчера Аггей развёл её позубно: один ровный рядок идёт влево, другой вправо. Плоский ромбический напильник давно каждый зубок изучил. Остро наточил: любая вершинка за ноготь хватается. Посмотришь при ясном свете в междузубье, поворачивая пилу положим брюшком на себя — пробежит перед глазами сияющая узенькая дорожка. Тянется она серебряной колеёй. Такая пила за один чирк пускает под ноги пышный опилковый ус. В сторону Аггея свисает ус длинный. В сторону кумы покороче, поскуднее. Дед тянет к себе прогонистую пилу с силой. Возвращая её напарнице, мог бы полностью расслабить руки, но они напористо толкают ручку, а значит, и полотно к задышливой куме. Она подняла со дна души ещё не все слёзы по убитому мужу. Глубок колодец горя, многослёзен. Крепитесь, русские вдовы. Истекая слезами, не иссякайте телесной и духовной силой. Кто поручится на горестной земле, что миновала ваша самая тяжкая доля?! Материнские сердца никогда не впадут в забытье по убитым сынам и мужьям. Слезами и кровью омываются женские сердца... Бессрочная доля у русской женщины. Нескончаем плач Ярославны.

Толстая сосна под пилой — кубатуристая. Вскидывает Аггей глаза, поправляет облезлую шапчонку. Даже не с овчинку кажется небо, начинающее слабо светлеть, — с кисет. Скоро рухнет колонна, ветвистая крона оставит брешь в небесах. Носятся по снегам красные тени костров, выхватывают из темноты крутые бока кедров, бросают отсветы на ровные стволы берёз: они кажутся порождением снегов, их недвижимым смерчем, скрученным во время вьюги и оставленным среди хвойной немоты игольчатых деревьев.

Отовсюду слышатся крики — ээй, берегиись... паадаит... Сомнётся стволом, густой кроной морозная тишь, ко-

лыхнётся по лесосекам короткое хрустальное эхо. И снова чирканье пил, ржание тягловых коней, постук топоров, несвязный говор сучкожогов. И опять пугливое — берре-гиись... ээй... паадааит...

Воскресное утро медленно воскресает на ледяных куполах. Скоро неуверенный рассвет проредит мелкие звёзды. Оставит стойкие, броские: недолго посияют последним светом и эти зрачки небес.

Поодаль от тихеевских и большебродских артельцев ведут валку староверы с верховья Пельсы. Живут они в бараке вместе с колхозниками из Больших Бродов. Из артельного котла не едят. Артельной посудой не пользуются. Чашки, ложки, кружки хранят в закрываемом сундуке. Туда прячут и съестные припасы. Крупой, жирами, хлебом ведаёт криворотый сухонький Остах Куцейкин. Нижняя губа у него сдвинута вправо, будто моляка-двуперстник вздумал однажды кого-то передразнить да так и остался с перекошенным ртом. Кривоту губ скрывают отчасти редкие усы. Мужичонка светел волосами и бородой: чистый слепок с Серебряного старца.

Куцейкиных три брата — Остах, Орефий и Онуфрий. Ходит предание, что их скитский прадед никогда не называл господ бога с тугой буквы. Величал его светло и прокатно — с о: Осподи Боже. Посему всю куцейкинскую родовую наделяли именами осподними. Остаха оставили в тылу по причине шибкой костлявости тела. Разделся на военкомиссии — одни мощи. Капитан стыдливо отвёл глаза, кивнул на горку старой одежки: «Прикройся, прикройся скорее...» Оделся, сокрыл тело, замученное постами, и остался под бронью.

Орефий и Онуфрий тоже постились по уставному староверческому численнику, но были могутными, рослыми: такие и рогатиной медведя осадят. Остах-заморыш рядышком с голыми братьями выглядел сморчком возле крепеньких боровиков. Капитан из призывной комиссии подал Орефию красномедный пятак екатерининского времени:

«Продави монету — вот так».

Орефий посмотрел безглаголю на три слитых пальца. Отвернулся, прокатил по груди из стороны в сторону опрятную бородень. Ненавистную с малолетства щепоть не хотелось даже видеть. Не соберёт он пальцы воединным сдвигом, не покажет силушку на старинном пятаке.

На щуплом капитане мешковато висел новый китель, на пуговицах броско сияли начищенные звёзды. В одну из них Орефий упёрся бычьим взглядом, напружинил широкие скулы — даже борода дёрнулась. Он видел перед собой звезду-разлучницу. Остаху повезло — отвертелся от фронта. Он с Онуфрием загремит. Вон прыщавый солдатик борзо пером скрипит — втискивает их души в бумагу... Орефий шагнул к капитану, подsunул под нижнюю пуговицу кителя указательный палец и даванул большим сияющую звезду. Пуговица сплющилась. Недоуменный капитан расширил глаза, потрогал измятую звезду.

«Ты что, христомалец, наделал? Д-да за такие штучки... В штрафбат захотел?» Спокойный староверец поддёрнул кальсоны, пошарил взглядом иконы по углам. В простенке висела единственная икона — застеклённый в рамке портрет Сталина. Орефий помолился не ему — распахнутому сейфу.

«Не убий — глаголят уста твои, Господи... распятые скоро будем... всем гвозди откованы и кресты излажены...»

Военный взвизгнул.

«Ты мне тут церкву не строй! Мы купола-то давно сшибли...»

Орефий шептал сейфу молитву — братаны чертили в воздухе раскольничьи кресты.

Онуфрия и Орефия обезбородили. Волосы остригли бобриком. Бобров с верховья Пельсы ждала в скором будущем вагонная теплушка, чтобы проглотить на томском перроне и выплюнуть перед Москвой. Каждый отстук колёс будет урезать торную дороженьку на запад.

Вялый Остах Куцейкин топтался возле сваленной сосны, подбираясь с топором к частым сучкам. Кажется, целую вечность не выпускает он из рук скользкое топорище. Тыкаются в лицо ломкие иглы. Набивается в бороду кро-

шево коры. От сучков, припаянных к стволу, отскакивают при обрубке литые кусочки древесины. С пулевой скоростью хлещут по щекам, глазам, лбу.

По вёснам выпадают росы: первая — ледовая, вторая — медовая. На Остаха пала зимняя, самая зловердная роса. Потом пала, пропитала рубаху-нательницу, подклад шапки.

Летит сосна, торопится отдать земле смертный поклон. Куцейкину легко шагнуть под неё и тоже навевер раскланяться с немилостивой нарымской землёй. Невмоготу вставать в доутренний срок, раскалывать сон ранним пробуждением. Ненавистен Остаху протабаченный барак, матерковая галдень людского гурта, согнанного под тесовую крышу.

Плетутся по дороге-ледянке измотанные клячи, сопящие быки, приученные к ругани и кнутам. Плетётся каждое утро на лесосеку староверский гурток: кашляет, сопит, лопочет на ходу молитвы, прочищает глотку и ноздри от барачного чада.

Раздавил Орефий звезду на капитанском кителе, но судьбинушку разве раздавишь? Прощался с хилым Остахом в тугой обхват загребистых рук, обдал ухо горячим шёпотом: «Всё равно, братец, винтовку расколю об колено и на Пельсу сбегу...»

Остаху топор об колено не расколоть. Никуда не сбегать. Попробовал разок симульнуть: впихнул в задний проход кусочек поваренной соли — нагнал высокие телесные градусы. За окнами барака мороз жмёт под сорок. Под мышкой у староверца термометр жару показывает.

Запрудин в военном госпитале вдоволь насмотрелся на хитрые штучки-дрючки. Ефрейтор-пехотинец, косенький ехидный мужичок, не давал срастаться под гипсом костям ноги. Их расшевелил в бою минный осколок, теперь нарочно расшевеливал раненый: отдалял повторную отправку на фронт. Скуластый, востроглазый татарин с Крымского полуострова, легко раненный в брюшную полость, тоже вводил в обман госпитальных врачей. От-

крошил в своей деревне кусочки соли от камня-лизунца, возил в вещмешке. Сероватые валуны, лежащие на пастбищах, возле водопойных колод, служат лакомством для коней, овец, рогатого скота. Послужили они лакомством и для солдата автоматной роты. Его кровать в госпитале стояла неподалёку от запрудинской. Подсмотрел Яков: обкатывал татарин во рту белый комочек. Безрукий фронтовик догадался сразу: за крепкими зубами солдата мелькал не сахар. Он часто сплёвывал в утку густую слюну.

Перед выпиской автоматчика из госпиталя врачи долго не могли согнать с него высокую температуру. Утомлённый бессонницей хирург проверил тумбочку, нашёл под растрёпанным Кораном кругляши соли. Пехотинца и автоматчика судил военный трибунал.

Из госпиталя Яков рвался на фронт. Горько мучился от сознания, что изуродованное тело будто отделилось от его души, норовит домой, в васюганскую деревеньку. Хотелось воевать, мстить за Родину, народ, за жуткую телесную боль и немощь, причинённые вражьем металлом.

Нарымец Запрудин поднимался в атаку рывком. Всегда бежал немного впереди растянутой рваной цепи одноротников. Яростно выкатывал из себя крепнущее уррраа, сливал клич в бурлящую волну бойцовских глоток. Где-то в гремящей и орущей цепи бежал политрук — взвинченный, чернокудрый полтавец. Вперёд, вперёд! Ни шагу назад!.. Остались за спиной насиженные окопы. За Волоколамском тоже наша земля, но считай, что её сейчас нет. Считай, что эта, испятнанная бегущими фигурами частица среднерусской равнины — последнее пристанище врага. Матушка-Москва не простит поражения, позора отступления.

Качаются сверкающие штыки, режут спрессованный воздух узкого перешейка перед фашистской пехотой. Пули навевают бойцам последний, беспробудный сон. Судьба распоряжается жарким боем: иных укладывает на временную лёжку, иным готовит деревянные кресты, над

другими замелькали красные кресты медсанбатовских спасительниц.

В госпитале Запрудин невольно прокручивал в голове убийственно правдивую хронику пережитых событий. Война-война, зачем ты так рано выбила из седла храброго наездника?! Зачем убрала из-под ног стремяна, опутала госпитальными тугими бинтами? Комковатый ватный матрас в пятнах крови, йода и марганцовки, тощая ватная подушка, застиранные простыни, прикроватная шаткая тумбочка вгоняли Запрудина в долгую зелёную тоску. В многолюдной палате стучали костыли и глазастые доминошные костяшки. Сыпались анекдоты, имена целованных и невинных девчонок, эпизоды боёв и житейские случаи. Пробовали едко шутить: подсчитывали — сколько на восемнадцать гвардейцев приходится теперь рук и ног. Недостача была крупной, ведь крупной была навязанная фашистами война.

После фронта Якова злили и раздражали симулянты, отлынивающие от тыловых трудов. Он заподозрил Остаха Куцейкина, догадался о воспалении его хитрости. Поутру староверец заторопился на улицу по нужде. Яков завёл криворотого моляку за уборную, приказал оправиться на снег:

«Выбрасывай из ж... соль!»

Сучкоруб захлопал глазами, закрестился.

«Задницу перекрести, чтоб соль не глотала... Выкладывай! Буду день караулить, пока она комок не выплюнет. У нас в госпитале был такой шустряк, под трибунал угодил».

Куцейкин бухнулся в ноги стахановцу. Обхватив тощими пальцами чёрный пим, заскулил по-щенячьи.

«Бородатый хитрец! По военному времени мы тебя за тыловое дезертирство карать будем...»

Нет, не расколоть Остаху о худое колено почти косяное топором. Бригадир поклялся смолчать о симулянстве. Куцейкин взвалил на себя тяжёлый молебный крест обещания махать топором до последнего изнеможения....

Иизэй, боойся... паадааиит..

Из каждого лесного закутка вылетали грозные, предупредительные окрики. Это сам могучий нарымский урман зычно кричал врагу:

— Беррегиись! Упаду я, лягу стволами и кроной. Не встанешь с русской земли ты. Ляжешь погаными костями... Боойся!..

Много сосен в бору. Много в Понарымье урманов. Везде ползут по ледовым и снежным дорогам скрипучие сани и подсанки. На них замороженные до самого первого годового кольца ровные брёвна. Куда покатытся кольца? В цеха военных заводов. На пилорамы, где режут шпалу, брус, тёс, плахи. Всё равно будет отсечена врагу башка на плахе войны.

Пойдут брёвна на телеграфные столбы: по ним придёт счастливая весть о нашей победе. Древесина пойдёт на шахтную крепь, подопрёт угольные пласты в забоях. Сейчас вся страна превращена в один опасный забой, и надо его подпирать трудом: плечами, руками, спиной. Люди сибирского тыла — надёжная, необрушная крепь Родины. Не раздавить, не расщепить её врагам.

...Беррегиись! Паадааиит!..

Запрудины подпиливали лучками сосны и тьму: она оседала, рушилась на глубокие снега. Всё ниже опускались пласты скупого рассвета, неудержимо скатывались со скользких куполов.

Осветлялись небеса — ужимались огни костров. Телогрейки над тьмою недолгую власть, отдавали её новой солнечной силе.

Телогрейку Яков давно снял, укрепил на пояснице тонкой опояской. При нагибе мороз холодит спину, стежёнка не даёт ему полной воли. Серая нательная рубаха мокра от пота. Мокреть просачивается через вторую, байковую одежку: спина покрывается махристым куржаком.

Немее левая рука, спаянная с лучком. Даже культя упрела, издёргалась на подсобляющем плече.

Неугомонный лучок закручивает опилковые усы вокруг ствола.

— Сыноок, отдохни.

— Не устаал.

Захару приятно слышать отцовское жалеющее словцо — отдохни. Оно вливает свежую силу, бодрит и подгоняет лучок.

Кочанной капустой хрустит под пимами снег, усеянный корой, хвоей и опилками. Взамен статных авиасосен остаются низкие стандартные пни, напоминающие о вековой стойкой жизни деревьев.

Тихеевские артельцы медленнее рушат стволы. Аггей с кумой пятую сосну не опрокинули — напарница стала выдыхаться. Дёргает пилу вяло, рывками.

— Курица! Тяни ровнее! — строжится Аггей.

— В воскресенье Бог дал рукам покой.

— Война отменила всевышнее распоряжение. Тяни-тяни шибче. Не зря план и паёк одной буквой накрепко связаны — сапожным ножом не разрежешь.

— Умаялась я, Аггеюшка. Ослобони на перекур.

— У тебя табак силу ворует. Курево дыхалку перекрывает.

— Ослобони.

— Уроним — отдохнёшь. Я лучком попилю.

— Не устал, чё ли?

— Костлявый я — пружинистый.

Рухнула головушкой к костру очередная кубатурная сосна.

Вдова Валерия сидела на пне, распускала толстую самокрутку на пряди дыма. Курила в глубокую затяжку. Хмельно кружилась голова. Сошли с мест, закачались деревья. Неподдалёку дед Аггей в рубахе-беспояске, в отвислых ватных штанах водил лучком-смычком по сосне. В ушах Валерии, опьянённой куревом, слышалась давно забытая мелодия мелькнувшей юности. Полегла луговыми цветами. Оплавилась утренней парной росой. Уплыла по быстрому течению времени ромашковыми венками. Костяные гребешки обломали зубья о густые чёрные волосы, проредили их. Набежные годы дохнули на пряди ранней изморозью.

Тятя Панкратий — мужик цыганских кровей — последний раз густо смазал колёса кочующей кибитки и навсегда оставил табор. Под Бийском наладил крепкое хозяйство. Всего было вдоволь — хлеба, масла, овса для коней, сливок и гнутых пряников. Обезжирили Панкратия, самого согнули пряником. И в Тихеевке не распрямился, не согнал с глаз плотной пелены. Под завихрение массового артельства загребла метучая метла не одного мужичка-середнячка. Покатился истёртой подковой и тятя красавицы Валерии.

В Тихеевке прыщавый, развязный конвойник не давал проходу кулацкой дочери. Стыдила служаку словами, секла взглядом, била по рукам. Стройная, с плавной покатиной бёдер молодайка ловко выскальзывала из хватких рук. Посмеивалась в лицо парню:

«Ты, бриллиантовый мой, при погонах, при ремне. Вот и ходи опогоненный — не опоганенный».

«Уступи!» — слышалась вослед устрашающая мольба.

Красавица ехидно крутила возле подола смачную фигу.

В субботний пасмурный вечер конвойник подкараулил у поскотины девушку, намотал на кулак пышные, волнистые волосы. Дохнув сивушной вонью, просипел: «Не явишься через час за артельную баню — навечно в тайге сгною...»

Валерия страшилась посвящать отца в тайну своих мук. Буйным был Панкратий. Не раз истязал жену, дочь. Разгонял табор топором и оглоблей. В Тихеевке ходил сумрачный, со стиснутыми зубами. Зло сверкал воронёной сталью глаз. Правая рука с растопыренными пальцами постоянно маячила над голенищем старого хромого сапога: была готова в любой миг выхватить оттуда цыганский отточенный нож.

Расшатал служака корни волос. Ныла от боли голова Валерии. Не собиралась говорить отцу, да неожиданно в сенях бухнула про долгую обиду.

За артельной баней рос густой боярышник. Панкратий пришёл сюда на свидание вместо дочери. Приготовил из боярки пышный веник: выбирал прутья с частыми круп-

ными шипами. Похаживал скорыми шагами возле стены боярышника, в нетерпении взмахивал на полный вылет руки шипастым веничком.

Конвойник поздно заметил Панкратия. Почувствовав недоброе, повернул за бревенчатую стену. Парильщик догнал его, стал исхлёстывать веник о голову, о холёное ненавистное тело трухнувшего парня. Шипы полосовали лицо, острыми шильями впивались в уши, плечи, спину.

«Хорроша банька?.. Поддать парку?!»

На четыре безгрешных слова кузнец выплёскивал дюжину грешных — матерных, смачных.

Сейчас конвойным оказался мужичок-середнячок, напрасно стронутый с алтайской земли. Он гнал прыщавого парня по деревенской улице сквозь строй новых избёнок. Каждая подхлёстывала усмешным взглядом удивлённых окон.

Месяца два назад рассерженный Панкратий выпалил при конвоирах: «Мы — середняки. Почему нас носом в лохань ткнули? Почему шибанули оглоблей по рукам? Всё отбили. Душа чахнуть стала, руки сохнуть...»

«Выкинь труху из башки! — прыщавый поправил широкий ремень. — Давно кулацкий душок выпускаешь...»

Душок припомнили. Вернее, не забыли тайное свидание за баней. Кузнецца доставили под стражей в большое обское село. При закрытых дверях опозоренный конвойник наотмашь охаживал бунтаря валенком, бросив туда пестик от ступки. Второй служивец держал Панкратия за руки, прямил чёрную, кучерявую голову, ухватив за густую шевелюру. Опричники преуспели в деле расправы над непокорными. Набили руку, запаслись секретами. Один из них применяли сейчас. Знали: гири, пестики, мраморные пресс-папье, опущенные в пимы, не оставляют следов при битье. Мокрое тело тоже. Никакой литой кулак не оставит отпечатка на лице кулака, любого репрессировца, если бить через книгу, кипу бумаг. Пусть сотрясаются мозги и внутренности, смещаются печёнки-селезёнки, главное — нет на теле печатей безнаказанной расправы.

Курит Валерия на пне, разгоняет усталость тела, чёрные тучи вдовьих дум. Скоро огонь истлелой закрутки подберётся к пухлым губам, не потерявшим алости и жара. Вспоминает женщина горькое былье жизни. За избивание в комендатуре тятя отплатил злым бичом. Бил конвойника принародно: он извивался от острых ужалов. Хлестая, кузнец швырял в толпу яростные слова:

— Вот так... всегда... учите ггадов!.. Разнузданные своевольники!..

Гудящий бич расставлял точки после спаянных, вылетающих из оскорблённого сердца слов.

Конвойник выхватил наган, пальнул по ногам разъярённого мужика. Пуля угодила в каблук сапога, скрикошетила в траву.

На сей раз Панкратия взяли надолго. Не вернулся к октябрьскому празднику. Прошёл Новый год. Подходили майские деньки... Колхоз потерял отличного кузнеца, семья — надёжного кормильца.

Жена, дочь, её муж — свадьбу сыграли незадолго до печальной развязки с отцом — наводили по властям справки. Писали во многие казённые дома, ниоткуда не получая ответа. Изматывала неизвестность. У кого узнать? Кому пожаловаться?..

Окурок обжёг губы. Валерия выплюнула его, приложила горсть снега. Дед Аггей с воловьим упрямством лущил сосну. Маячил залосненными толстыми штанами.

«Пили-пили, жилистый-пружинистый, — шептала кума. — Мне паёк тоже нужен, да чёрт с ним — на картошке, на жмыхе перебьюсь...»

Перестала шептать. Дальнейшие слова попрыгали в голову, разбежались по извилинам, перешли в мысли: «Мужа убили — пришла казённая бумага-подтвердивка. Война, а всё ясно: какая беда, какая жратва. В тылу тятя пропал без вести — ни до кого не докричишься. Это как называется? Сплошная подлость...»

И снова выкатились из головы слова, отлились в шёпот:

«Пили-пили, Аггеюшка... пайком со мной поделишься... ты добрый дед...»

Валерия отплевалась в снег, тихонько потянула из души песню про чистое полечко, которое породило ракитов куст. Под ним лежит молодой солдат — весь израненный, весь истрелянный. Вдова видит мужа-солдата, его верного коня: он шершавым языком виновато лижет поверженного седока. Надо поторопиться, передать верному другу-коню последние слова наказа:

...Забегу, мой конь, в самый крайний дом.
Передай, мой конь, мамоньке поклон.
А жене скажи: я женат на другой.
Что жена у меня — гробовая доска.
Оженила меня пуля быстрая,
Обвенчала меня сабля вострая.
Мать — сырая земля,
А отец у меня — деревянный крест..

Слабым речитативом закончила Валерия грустную песню. Встала со свежего пня. Скоро у ног вальщика замаячит новый срез. Между пнями топорщится над снегом сбережённая сосновая молодь: молча принимает природа родины у тайги. Пеленает хвоей, листьями. Потеплее закутывает в снега. Вальщики, сучкорубы, огребщики проявляют осмотрительность, жалеют бережённый богом и бором молоднячок. Родичи стоят вокруг могучие: от них поднимаются крепенькие игластые мальцы.

— Куумаа! Беррегииись!

— Эггей!

Обдало напарницу холодным ветром от матёрой кроны. Посыпался на неё мелкий дробленый снежок.

— Не устал, дед?

— Чему уставать — жилы с костями срослись.

— Силён!

— Похвальба молодцу даром пройдёт. Похвальба старику — лишний годок на веку прибавит.

Потрогал пальцами горячее полотно лучковой пилы.

— Жаркая валка. Трение до чего сталь доводит — словно в горне побывала. Вот тут трещинка наметилась. Жаль: скоро полотно порвётся. Эх, Панкратия твоего

нет — он полотна паял на зависть пильщикам. В новом месте лучок лопнет, на спайке — хрен...

— Не трави, дед, душу. Сейчас горевала, об отце думала.

— Да-а, ни за что ни про что сгинул человек. Война мертвит, и в тылу лихота. Крепчай духом, милая. Нам его раньше времени выпускать нельзя. Пусть фашист его наперёд испустит. Ещё отдохнёшь или вместе подёргаем?

— Пойдём, отдохнула чуток.

Аггей лихо обнял куму за талию, охотно потискал через стежёнку два взлобка. Взревел на бор, переиначив строчку в известной песне:

Отец мой был природный пахаарь.

Й-я уу негоо природный хахааль...

Вдова не оттолкнула ищущую руку...

Надпись на могиле солдата

Принёс я жизнь Отчизне в дань
В свинцовую страду.
Но скажет мне Россия: «Встань!» —
Воскресну, в бой пойду.
И так же буду бить врагов,
Чтоб их с земли стереть.
За Родину свою готов
Хоть дважды умереть.

Штрафники

Поля распаханы войной.
Они без нас осиротели.
Такой идёт от боя зной —
Тельняшка плавится на теле.

Две роты выбиты на треть
В свинцовой жуткой круговерти.
Никто не хочет усмотреть
Границу неразлучной смерти.

Невдалеке пехотный брат
Шальным осколком изувечен.
В крошечный ад летит штрафбат:
Он для истории не вечен.

На рану наложил ковыль.
Не дорожу судьбой бесследной.
За нашу лагерную быль
Заплатим кровью предпобедной...

Ты не плачь, Ярославна

Роковая атака
Нас на запад вела.
Вопрошаем из мрака:
— Чья земля обняла?

— Русь обняла, солдаты.
Победа — ваш венец.
Храню координаты
Расплавленных сердец.

Отбивали высотку —
Сталинградский рубеж,
Чтоб военную сводку
Скрасить светом надежд.

Обнаглели осколки:
Мстил за смелость фугас.
Пусть история полки
Припасёт и для нас.

Защищали мы славно
Каждый подступ к судьбе.
Ты не плачь, Ярославна,
Слёз не хватит тебе.

Назовут поимённо
Наше мужество вслух.
Мы вливали в знамёна
Несгибаемый дух.

Рассказ гвардейца

Я видел на фронте
Пехоты летучесть.
Сражались солдаты
За русскую участь.
Пусть нас выбивали,
Как бабки из кона,
Мы бились с врагами
С отвагой исконной.
За Волгой в окопе
Сказал я: «Ребята,
Пора подошла
Отомстить за комбата!
За сёла сожжённые,
Рощи и нивы.
Коль головы сложим,
Оплачут нас ивы...»
И дымные ветры
Допеть не успели —
«Уррра!» закричали.
Штыки заблестели.
И враг захлебнулся
От яркой атаки...
Сейчас там на поле
Склоняются маки.

Погибших друзей
Назову поимённо.
В честь них преклонила
Отчизна знамёна.

Память

Идут-бредут смиренно дни за днями.
У времени не будет седины...
Деревни, как солдатскими ремнями,
Затянуты дорогами войны,

А на дорогах круглые воронки,
Как дыры на изношенных ремнях.
Контуженная яблоня в сторонке
И пепел битв на почерневших пнях,

Орудий неразборчивые речи,
Поля жестокой огненной страды,
Средь пепелищ тоскующие печи,
Вдруг вставшие фрагментами беды.

Четыре года видели мы сами
И маету простуженных колёс,
И избы с помутневшими глазами
И с горечью невыплаканных слёз,

И оттого желанная победа
В судьбе России — красная строка.
Она давно отмежевала беды,
Прославила Отчизну на века.

Рождённая в повозке

Скрипели старые телеги,
По втулки погружаясь в грязь.
По хлябям, вдавливая следи,
Беда над Родиной неслась.

Не потеряв в победу веры,
Сельчане шли четыре дня.
По сторонам трепали ветры
Куделю дыма и огня.
Внезапно с головной повозки
Под детский плач, тележный скрип,
Как стон надломленной берёзки,
Предродовой раздался крик.
Неся судьбу свою веками,
Инстинктом всё постигнув вмиг,
Всплеснули женщины руками
И сразу ринулись на крик.
Священнодействовали стоя
С тяжёлой думой о вдовстве,
И что-то было неземное
В их непонятном колдовстве.
Трясло телегу, как по кочкам...
Писала Дарья мужу днём:
«Вчера у нас родилась дочка,
Давай Надеждой назовём...»
И это имя оправдало
Надежду всех людей страны,
Хотя пройти пришлось немало
Нам перепутьями войны.

* * *

Сегодня снег искрист и колок.
Над баней седенький дымок.
Сюда выпаривать осколок
Придёт знакомый мой дедок.

Я кипятком ошпарю камни —
Огонь пройдёт по нутру.
И после ловкими руками
Ипату спину разотру...

Я на полке Ипата парю,
Сам от жары едва терплю.

Мне дед кричит: «Спасибо, паря,
Хлещи, чтоб вышибло соплю.

Осколок страгивай с прикола,
Гони его в обратный марш.
Недавно спрашивала школа:
— Как выйдет, нам в музей отдашь?

Металл немецкий мне не жалко.
— Хошь на помойку, хошь и вам...
Ипат мне говорит: «Не жарко».
Я говорю: «Ещё поддам».

...Он умер не на поле брани,
Скончался через месяц в бане.

Блестит стёрней его щетина.
А рядом данная страной
Медаль «За взятие Берлина»
Лежит уменьшенной луной.

Золотая свадьба

Говорил он когда-то дивчине,
Углядев её в светлом окне:
— Ты красивой была при лучине,
А при солнце прекрасней вдвойне.
Поженились... Сыны подрастали...
Вот и внучек седьмой родился...
Вот и свадьба шумит золотая
И гуляет Берёзовка вся.
На груди у Егора медали:
На войне и в работе был крут.
Их под Брестом, на Одере дали
И в колхозе за пахарский труд.
Пляшет дед, как заправский мужчина,
Удивляя энергией всех.
— Эй, Ариша, зажги-ка лучину,

Как в старинушку...
Топот и смех.
Дедов внук — избалованный Борька
Тоже ладит с припляскою в круг.
Кто-то крикнул пронзительно:
«Горько!»,
Электричество выключил вдруг.
Но по-прежнему пели медали,
Светлый звон их летел в потолок.
До утра в неизвестные дали
Всё скакал над избою конёк.

Вечный огонь

Под шатром нескончаемой сини
У живого огня я стою.
Потому и не пала Россия,
Что сыны её пали в бою.
Полыхает суровое пламя,
Обелиск не уходит с поста.
Может, это не пламя, а знамя
Вдруг свои разомкнуло уста.
Мне понятна геройская сила,
И понятен язык для меня.
Это Родина нас научила
Правде века
и правде огня.

Тыловой город

из романа «Университетская роща»

1

Карповский переулок, скромный по своим размерам и вдлинь, и вширь, в морозное январское утро выглядел нежилым. Ещё не вынимались железные полосы и не отпахивались ставни. Многие не открывались давно: снеговые колпачки на штырях-засовах нетронуты. Люди берегли тепло.

Лидия Палладиевна Сергиевская, учёный-ботаник, заведующая Гербарием Томского университета, возвращалась с совещания, на которое были приглашены медики, учёные, аптечные работники, хозяйственные и партийные организаторы. Обсуждался один вопрос: выпуск продукции для фронта. Бывший йодный заводик с химлабораторией стал очень важным объектом — наравне с производством боеприпасов. На предприятии, выпускавшее скромную продукцию в виде мазей, пластырей и жидких экстрактов, была возложена задача вырабатывать наркозный эфир, висмуты, молочный сахар, медикаменты в ампулах, пантокрин, ксероформ, перевязочные материалы... Остро стоял вопрос о сырье. Где, какими силами брать необходимое количество лекарственных растений, плодов шиповника, рябины, черёмухи, смородины, пихтового масла?..

— Обратиться к населению, — предложила Лидия Палладиевна.

— Может, и к знахаркам? — задал кто-то неумный вопрос.

— И к ним тоже. У меня есть адреса, — ответила она. — Сейчас не время решать, чьё самолюбие пострадает. Надо спасать раненых.

Собрание поддержало только часть её предложения — обратиться к населению: сдавать дикорастущие. «Народную» медицину решили не беспокоить. Дальше разговор перешёл на другую, тоже острую тему: о производственных площадях. Заводу передано здание пátочной фабрики, а также оборудование московских заводов имени Карпова, Семашко, алкалоидного и «Акрихина». Ожидалось прибытие фабрики перевязочных материалов имени 8 Марта. Завод реконструировался с колёс. Строили сами заводчане. Стройматериалы изыскивали на месте.

Лидия Палладиевна ушла с совещания недовольная собой: вылезла со знахарками...

Выйдя на проспект, заметила, что и здесь много не отворенных ставен, а высокие окна, обрамлённые старинной деревянной резьбой, завешаны стёгаными одеялами. Холодно.

За спиной коротко гуднул паровоз. Лидия Палладиевна сошла в сторону. Она всё ещё не могла привыкнуть, что по центру города проложен рельсовый путь — для прямой связи вокзала с оборонными предприятиями. А их в Томске за минувшее лето и осень появилось свыше тридцати.

Недостроенный томский «Сибэлектромотор» принял прославленную ленинградскую «Электросилу», московский электромоторный и ярославский электромеханический. Бывший томский «Металлист» размещал у себя ленинградскую «Пневматику», конотопский «Красный металлист» и харьковский завод маркшейдерских инструментов. В старых солдатских казармах уже начали работу московские предприятия «Фрезер» и Первый подшипниковый завод. В старинном здании у Базарной площади разместился московский резино-технический завод «Красный богатырь». А железнодорожные составы всё прибывают...

Безостановочно шли и эшелоны с ранеными.

За короткий срок население Томска увеличилось вдвое. Не считая заводов, сюда прибыли пятнадцать учреждений, шестнадцать институтов и учебных заведений, детского дома, госпитали, смоленский пионерский лагерь и почти пятьдесят тысяч жителей из оккупированных фашистами территорий. Казалось, город не выдержит и разорвётся, словно паровой котёл, в котором беспрерывно поднимается давление. Но он выдержал. И продолжал выдерживать. Только изменил свой облик. Погружены во тьму дома и улицы. Суровы лица горожан. Захваченные врасплох сибирской зимой, эвакуированные кутались кто во что горазд, иной раз вместо валенок натягивая на ноги рукава промасленных ватников или бушлатов. Старожилы одеты немногим лучше. Стёганая одежда и стёганая обувь заменили меховую и валяную. Всё, что поновей, отправлялось на фронт. Всё для фронта. Всё для Победы.

Война всегда обрушивается на плечи народа внезапно. И тут главное — не растеряться слишком, упереться и встать.

Особенно тяжело было осенью. Станция забита составами с эвакуированным оборудованием. Его нужно разгружать. Срочно. Немедленно. Сверхсрочно! А нечем. Весь транспорт, даже лошади, ушли на фронт. Остались только руки. И город подставил их под многотонную тяжесть станков. Придумали «ковры-самолёты» — железные листы, на которых волокли станки по грязи и мокрому снегу.

Впрягалась в эти ковры-самолёты и ботаник Сергиевская, когда звали на разгрузку университет. Запомнила их скрежет и визг, и «свободный полёт».

Теперь вот новая, точнее, старая беда: холод. Холод мешал думать, жить, отвлекал на себя и без того не богатые силы. В борьбе с ним приходилось двигаться по городу перебежками, отогреваясь в подъездах домов, учреждений, в немногочисленных магазинах. От частых растираний кожа на лице стала шероховатой, жёсткой, словно солдатское сукно. Колени теряли чувствительность, сколько ни стучи по ним кулаками.

От Карповского Сергиевская двигалась такими перебежками. Миновала почтамт, преодолев соблазн зайти туда и погреться. Добежала до электромеханического института инженеров железнодорожного транспорта. (Он пока что обитал в собственном здании; остальные вузы уже перекочевали в подсобные помещения, отдав свои площади оборонным предприятиям).

В вестибюле было немногим теплее, чем на улице, но хотя бы не дул ветер. Лидия Палладиевна потёрла колени. Ждала, когда начнёт покалывать... Чтобы не терять времени даром, стала изучать свежие плакаты «Окна ТАСС».

«В Сибири зимы люты, не теряй же ни минуты!» — о заготовке дров.

«Он тащит всё: часы, подушки, ботинки, даже детские игрушки» — о мародёрстве фашистов на занимаемых территориях.

Рисунки выразительные, напряжённо-злые. Изломанные линии, много чёрного цвета. В Томске уже привыкли к этим плакатам в витринах магазинов, в учреждениях. В Москве «Окна ТАСС» начали выходить с 22 июня 1941 года. Автором первого «Окна...» стал Михаил Михайлович Черемных, уроженец Томска.

«Интересно, а кто автор наших «Окон...»? — подумала Лидия Палладиевна. — Ага, Щеглов... Тот самый? Но ведь он давно покинул Томск и уехал в Харьков... Ах, да. Харьков... Стало быть, война вернула художника в Томск».

С новым, почти родственным чувством она вглядывалась в плакаты. Фашист с курицей подмышкой вызывал гадливость, наш солдат-богатырь — гордость. Молодец Щеглов. Хорошо рисует, правильно. Нас бьют — а мы крепчаем! Только так. Русского солдата, считал Бисмарк, мало убить — надо ещё и повалить. Вот именно.

Лидия Палладиевна ещё раз взглянула на работы Щеглова. Рисунки сделали своё дело: она согрелась. Более того, в ней поднялось какое-то злое веселье: нас бьют, а мы крепчаем! Оттянула на себя тяжёлую дверь и окунулась в улицу, словно в прорубь.

У входа в Университетскую рощу пришлось остановиться: из ворот выходила рабочая студенческая колонна: «Даёшь котлован!». Солдатская выправка, сложенный шаг, взмах правой рукой... Только вместо винтовок на плечах лопаты, лезвием вверх. «Лопастые снаряды, — шутят студенты. — Героический струмент!».

А что, и правда, героический.

Возле библиотеки колонна затопталась на месте. Сверху, от Индустриального института, спускалась такая же колонна студентов, с такими же «лопастыми снарядами».

Представители двух старейших сибирских вузов шумно поприветствовали друг друга. Колонны потекли дальше. Ушанки, ватники, штаны-стёганки. Не разберёшь, где юноши, где девушки. Впрочем, девушек явное большинство.

От колонны отстал какой-то очкарик и перед входом в Научную библиотеку что-то быстро начертал vareжкой на снегу. Потом, довольный, побежал догонять своих.

«Если учёбе мешает любовь, к чёрту такую учёбу!» — прочитала Лидия Палладиевна. Улыбнулась. Гекзаметр? Удивительно. Студенческий юмор непредсказуем и, кажется, неистребим.

В хорошем состоянии духа она вошла в библиотеку. На короткое время припала к «грелочке». Железная печка, которую в западном Зауралье звали буржуйкой, а сибиряки ласково именовали грелочкой, старательно рассылала слабое тепло, не в силах растопить ледяные наросты над входом и по углам.

И всё-таки это была печка. Грелочка.

2

В библиотеке горел свет. Бесшумно и деликатно ходили с книгами библиотечные служители, за столами сидели профессора и преподаватели, редкие группы студентов. Умственная жизнь продолжалась вопреки всем невзгодам,

холоду и тесноте. Главный корпус университета занял цех электролампового завода. Точнее, двух заводов — Московского электролампового и Запрудненского стекольного. Там теперь день и ночь вязко ухают прессы, тянут свою вечнорабочую песнь станки, рождаются самолётные лампы. А библиотека стала теперь главным корпусом.

Какое-то время университет был вообще на грани закрытия. Лаборатории свёрнуты, лучшие помещения отданы под госпитали и военные предприятия. Лекции читать негде. Ночами студенты работали на заводах, в речном порту, на вокзалах. Валили сосны в Тимирязевском леспромхозе, волокли дрова с заречной стороны по льду Томи. Сдавали кровь для раненых. Стипендии отменены ещё в сороковом году — в Фонд обороны. Студенческий паёк — 400 граммов хлеба. Как учиться? Какими силами?

Колебнулась было и дирекция: не закрыть ли университет, хотя бы на время? Студенчество и преподаватели воспротивились: нельзя закрывать! при Колчаке выстояли, не закрывались, и сейчас выстоим!

Лидия Палладиевна открыла ключом дверь. Не раздеваясь, окинула взглядом свои владения. Коробки с гербарием на месте. Книги на месте. Портрет Учителя, профессора Крылова, на шкафу.

Темновато. Сквозь замороженные с обеих сторон окна дневной свет едва-едва брезжит: нет у него сил преодолеть ледяные бастионы.

С надеждой и привычным опасением Лидия Палладиевна тронула выключатель и с облегчением вздохнула, когда над столом затеплилась лампочка.

— Отлично, — сказала вслух и стала готовиться к работе.

Свет в квартиры давали по списку. В первую очередь профессорам и заведующим кафедрами. Лидия Палладиевна в этот список не входила, домой не спешила, старалась как можно полнее использовать те часы, когда электроосвещение подавалось в библиотеку.

Она сняла пальто и набросила его на плечи: работать «в рукавах» очень неудобно. Из ящика стола достала «спецо-

дежду» — шерстяные перчатки без пальчиков (чтобы чувствовать карандаш). Разложенные на столе бумаги молчаливо напомнили о той мысли, которая была прервана вчерашним внезапным отключением электричества. Вот эта мысль. На болотах томской земли растёт несколько видов рода *Sphagnum*. Из них сфагнум средний — наиболее хрупок, имеет длинные побеги, большие головки от беловатого до красного и бордового цвета. Другие мхи — более мелкие, но густо покрытые листочками по бурому или коричневому, или зеленоватому стеблю; их особенно много по окраинам верховых болот...

Лидия Палладиевна подышала на пальцы и продолжила: «Все эти мхи обладают высокой всасывающей способностью и могут использоваться как перевязочный материал, даже в хирургии, при лечении гнойных ран. Особенно мох торфяной, белый. Следует различать: 1 сорт (как перевязочный материал) — стебель более 20 см; 2 сорт — 10–20 см; 3 сорт — 7–10 см. Сбор с мая по сентябрь. Производить сбор железными граблями с зубьями или вилами с загнутыми рожками. Сушка — прямо на болоте, или на суходолах, стеллажах, козлах. Прессовать вручную, в кипы...».

Слова ложились отрывисто, словно в приказ. Лидия Палладиевна не особенно заботилась о стиле, об отделке фразы. Главное — смысл. Главное — точно и просто. Памятку сборщикам распечатать типографским способом, а если не удастся — размножить обычным переписыванием. Она стремилась быть краткой и полезной. Мох — это очень важно.

Но также важно рассказать, как собирать спорынью. Из неё готовятся препараты для свёртывания крови. А ещё очень-очень нужны витаминотеносители: шиповник, черемша, рябина, смородина, земляника, брусника. Но с ними проще. Сибирское население давно умеет их заготавливать. А вот о ликоподии (споры плауна) придётся рассказать подробнее...

Погрузившись в работу, она перестала замечать холод, забыла о времени, о том, что за окном Васильев месяц,

хозяин-январь. Она была вся там, в красном лете. В сухом океане — в степи. Или в тайге, на болоте. В глубине зелёного мира.

Зелёный цвет — от слияния синего с жёлтым. Поэтому лиственная одежда — древесная, огородная, полевая, водная — бывает ярче, мутнее, голубее, желтее... По цвету можно определить качество растения, его здоровье, полезность. Как, какими словами передать незнакомым людям, которые выйдут с Памяткой в поле, свои наблюдения, знания, свой опыт, — чтобы они успешно и тщательно совершили своё очень важное дело?

Трудное это дело: уложить на бумаге слова, да не за-мертво, а чтоб в точку, в боевой порядок. Чтобы и они били по врагу. Что нам полезно, то противнику во вред. И шиповник с брусникой могут службу сослужить, раненого быстрее на ноги поставить. Стало быть, и они солдаты...

В дверь постучали.

— Да! Да! — отрывисто и сердито отозвалась Лидия Палладиевна. Нахмурилась. Не любила, когда мешали.

Но вошёл человек, которому она всегда была рада, и лицо её разгладилось.

— Воюем? — бодро спросил профессор Токин, протягивая для рукопожатия широкую рабочую ладонь.

— Где уж нам, тыловикам. Так, по мелочи...

— Не скажите, — возразил Токин. — Вижу, Памятка уже готова. Быстро! Сверх всякого срока.

Лидии Палладиевне приятна его похвала, но вида не показывает: брови сдвинуты, губы поджаты.

Борис Петрович, не обращая внимания на её настроение, принялся жадно читать Памятку. Прекрасная «есенинская» шевелюра, в которой уже заметны серебряные нити, мешает ему, закрывая половину лица. Токин машинально всаживает в неё пятерню, отодвигает. Широкоплечий, широкоскулый и большеглазый, он весь заряжен какой-то загадочной энергией, жизнелюбием и упорством. Нет, право же, в нём действительно много есенинского. Не одна лишь шевелюра.

Лидия Палладиевна подумала о том, что не случайно именно Токин стал во главе томского Комитета учёных, созданного 3 июля 1941 года. И в постановлении, принятом на собрании научных работников, слышится его голос:

«Общее собрание научных работников города Томска приветствует образование Государственного Комитета Обороны. Томские учёные считают себя мобилизованными и готовыми выполнить любое задание нашего правительства и нашей партии в Великой Отечественной войне против коварного врага — представителя грубого варваризма, разрушителей культуры и поработителей свободы человеческой мысли. Мы знаем, что для достижения победы над врагом потребуется немало жертв, но мы готовы вместе с многонациональным 200-миллионным советским народом на любое самопожертвование. Вся страна должна быть военным лагерем. Сейчас настало время, когда учёные мобилизуют все области естествознания и техники на обслуживание непосредственно нужд войны.

Мы полностью согласны с обращением Академии наук СССР к учёным всех стран и даём красноармейскую клятву в том, что мы направим все наши мысли, все наши знания, всю нашу волю и силы на то, чтобы вместе со всем монолитным народом победить врага и полностью его уничтожить».

Это была действительно красноармейская клятва, и Сергиевская дала её вместе со всеми. В её глазах Токин был командиром, а она — солдатом.

Дочитав Памятку, Борис Петрович поднял глаза:

— Неплохо, — задумчиво сказал. — Неплохо... — потом, спохватившись: — Что же вы стоите? Или я ваше место занял?

Лидия Палладиевна придвинула табуретку к столу. Села.

— Знаете, чего не хватает в вашей работе? — спросил Токин.

— Знаю. Я допишу... Кора ивы, корни кровохлёбки, калина, берёзовые и сосновые почки, черёмуха, ромашка, сушеница болотная. А также корни аира и одуванчика.

— Не сомневаюсь, — улыбнулся Токин. — Это вы не пропустите! Но я о другом...

Лицо его приняло виновато-просительное выражение, которое появлялось, когда он вынужден был пользоваться данной ему властью и вторгаться в чужую работу.

— Давайте вставим в конце Памятки пункт о премировании за сборы. А? Чтобы люди работали ещё активнее. С настроением. А? Особо отличившихся будем награждать. Соль, кондитерские товары, керосин, спички, табак, мыло хозяйственное, топоры, вилы, грабли, хлопчатобумажный лоскут, школьно-письменные принадлежности, лопаты, замки и пилы.

— И что — всё это писать?!

— Непременно. Всё. Такие товары у нас, хоть немного, но есть. Будем награждать.

— Но...

— Вы хотите сказать, какое это имеет отношение к ботанике? Имеет, дорогая Лидия Палладиевна. Имеет. Сейчас всё имеет отношение ко всему. Понимаете?

— Не совсем.

— Всё равно, я прошу вас, пишите. Не сомневайтесь. Этот пункт — правильный!

Лидия Палладиевна принялась покорно дописывать: соль, мыло, топоры, пилы... Она не знала, что Токин только что выдержал бой, доказывая в Комитете, что людей, самоотверженно и тяжело трудящихся на оборону, нужно не только контролировать и словесно хвалить, но и поощрять материально. «Мы так развратим патриотически настроенных людей!» — возражали ему. «Нет, развратить можно красивой ложью и обманом, — спорил Токин. — Куском хозяйственного мыла невозможно испортить душу. А вот радость от материального вознаграждения способна согреть эту самую душу, поддержать её в лишениях». Токин победил. И спешил закрепить победу.

— Записали? — подытожил первую часть разговора Борис Петрович. — Хорошо. Идём дальше.

Вынул из кармана пиджака белый конверт и протянул его Сергиевской:

— Это вам.
— Что это?
— Карточки на военный паёк, — с гордостью пояснил он.

— Мне?!
— Да, вам. Ботанику, чья работа имеет оборонное значение.

Лидия Палладиевна недоверчиво покачала головой:

— За что ж такая честь?

— За ваши Опорные индикаторные гербарии, которые вы сотнями изготавливаете по ночам. Это не моя придумка. Так решил Комитет.

Сергиевская смешалась, умолкла.

Токин отвёл взгляд. Он понимал душевное состояние маленькой скромной женщины, которая часто называла себя «солдатом науки» и, видимо, впервые осознала, что метафора стала явью.

С первых дней войны лесные ресурсы были включены в сферу внимания Комитета Обороны страны. Раз в неделю из Сибири, в том числе из Томска, лично Сталину докладывали о заготовке спецассортимента — сырья для винтовочных лож и переборок подводных лодок, авиационную сосну, лыжи... (За годы войны Томск поставит винтовочных лож на 270 дивизий). Тысячи заготовителей работали в тайге по Опорным индикаторным гербариям, составленным Сергиевской, как по картам, выполняя военные заказы.

К лесу выставлялись повышенные претензии. На авиасосне должно быть определённое количество слоёв на сантиметр, ограниченное число сучьев, без малейшего признака гнили. Под стать ей требовалась берёза для ружейной болванки. Берёза в годы войны вообще повела себя героически. Из неё стали готовить сверхпрочную фанеру (пропитка бакелитовой смолой под большим давлением). Она шла на броню для самолётов и заменяла металл. А в подшипниках выдерживала такую скорость и нагрузку, что и металлу не снилось. Заменила бакаут, железное дерево с островов Тихого океана; из брусков,

спрессованных под давлением, изготавливали текстильные челноки... И чтобы деревья — ни-ни в воду! Никакого сплава! Только посуху. Как младенцев — на руках...

Кроме военных заказов, сортная древесина шла на рудничные стойки, шпальник, пиловочник... Переоборудованные грузовики, газогенераторы «питались» чурочками. Даже корпуса небольших авиабомб начали делать из картона, прессованного с опилками. Вozами добывались лекарственные растения. Словом, лес тоже оказался военнообязанным.

А Лидия Палладиевна по-прежнему считала свою работу сугубо мирной. Понятно её волнение.

Токин вздохнул.

— Хорошо тут у вас, — сказал неопределённо. — От вашей лампочки у меня даже затылок перегрелся. Как старый мотор.

Улыбнулись. Лидии Палладиевне тоже нравилось тепло крохотной лампочки, когда грела об неё руки.

— Ну, что на совещании? — вернулся к деловому разговору председатель томского Комитета учёных. — Что решили?

Сергиевская доложила. Не хватает сердечных средств, кровоостанавливающих, тонизирующих, ранозаживляющих, болеутоляющих.

— Знаю, знаю, — тревожно сказал Токин. — Надо работать.

— Надо.

— А вы знаете, — вдруг оживился он, — мои-то фитонциды пошли! Да, да! Моя жена Агнесса Григорьевна и профессор Торопцев использовали натуральные фитонциды для лечения гнойных ран после ампутации голени и бедра. Натёрли лук в кашу, собрали в стеклянный сосуд — и к ране на восемь-десять минут... Опаряли. Результат поразительный. Раны стали закрываться. А Татьяна Даниловна Янович из чеснока получила сативин и успешно лечит у детей дизентерию...

— Поздравляю, — сказала Лидия Палладиевна. — Я всегда верила в вашу теорию.

— Спасибо, друг мой, — растроганно ответил Токин. — Я помню. И веру вашу цену высоко...

Они вновь замолчали, невольно вспоминая довоенное время, когда Токина, открывателя фитонцидов, осмеивали в околонуточных кругах.

— А фитонциды — пойдут, — убеждённо сказала Сергиевская. — Чего ж им не пойти? Нужны дополнительные исследования и только. Летучими веществами растения испокон веков защищали себя. Почему бы им не прийти на помощь человеку? В воздухе кедрового и молодого соснового леса почти нет микробов, он стерилен. Эвкалипт по-русски означает «хороший воздух». В Австралии эти деревья зовут «деревьями жизни». Не случайно в древности так популярны были окуривания.

— Да, да, — подхватил Токин, — Совершенно верно! Я сейчас заканчиваю книгу «Бактерициды растительного происхождения». О фитонцидах. Но мне нужна ваша помощь. Во-первых, я попрошу прочесть рукопись. Так сказать, окинуть критическим взором. Ну а если отыщутся примеры взаимодействия в растительном мире, те, о которых я не осведомлён, буду признателен...

— Непременно, — кивнула Лидия Палладиевна. — Я пересмотрю свои архивы.

Токин взглянул на часы, удивился:

— Ого! А дел-то ещё сколько...

Они прошли в коридорчик, выходивший на узкую лестницу. Борис Петрович вдруг остановился:

— Да, что же я не спросил, как ваша научная работа?

— Научная? — удивилась Сергиевская. — Никак. Ушла в прикладную.

— ?

— Заканчиваю дикорастущие съедобные.

— Понимаю. И всё-таки, — он дотронулся до её плеча, — мы не имеем права забывать о фундаментальной науке. Не имеем. В науке скидок на войну не будет.

Сергиевская ничего не ответила. Она не знала, что сказать... Что нет сил, не хватает тепла и света? что сон давно превратился в короткое беспамятство, отнимающее ко-

роткий отдых? Но это он и сам знает. В науке скидок на войну не будет. Это верно. Но отвечать на этот тезис надо не словами, а действием.

Они спустились по узкой лесенке. Попрощались у двери, обитой оцинкованным железом.

Странная дверь. Всегда заперта на ключ. Таинственная. Непонятная.

— Борис Петрович, а что это за помещение?

— Какое?

— Вот это. Нельзя ли его приспособить под нужды Гербария? И дверь несгораемая...

— Ах, это... Нет, Лидия Палладиевна, э т о — никак нельзя. Придётся вам потерпеть до лучших времён, — он вдруг озорно, по-мальчишески подмигнул ей и понизил голос: — А здесь т-с-с! Военная тайна. Ясно?

— Ясно, — буркнула Сергиевская. — Разыгрываете.

— Ни в коем разе. Чтоб меня фитонциды съели, — поклялся он. — Военная тайна. Точно.

Рассмеялся и, махнув на прощанье широченной рукой, исчез за выступом стены.

3

Наутро Лидия Палладиевна с трудом поднялась с постели. Жар. Слабость. Ноги не держат. Простудилась?

За окном валил непомерно крупный снег. Даже и не снег будто, а куски довоенной белой-белой ваты. Их медленное движение вызывало головокружение. Сергиевская закрыла глаза.

Болела она редко. К медикам никогда не обращалась, справлялась сама. Вот и сейчас привычно подумала: мать-и-мачеха, душица, мята...

Оторвалась от подоконника и заставила себя идти в кухню. «Ничего, — бодрилась, разжигая в печи приготовленную с вечера горючую сушь, бересту, сосновую драпочку и клочок обёрточной бумаги, — Ничего, ребятаки помогут...»

«Ребятками» она звала травы.

Огонь бойко принялся за дело. Печь ожила, задышала. Лидия Палладиевна очистила большую луковицу, пожевала без соли и хлеба, как яблоко. Горький и пряный корень (луковица и есть корень, а не плод, как думают многие) прочистил сознание. Отвар душицы и мать-и-мачехи прекратил стеснение в груди. (Липу решено оставить на потом, на сон грядущий.)

— Так-то вот, — неведомо кому сказала Лидия Палладиевна. — Не свалите.

Застелила кровать суконным одеялом, преодолевая большое желание приклониться к подушке. Походила по комнате. Потом умылась холодной водой, оделась и села к столу.

Есть не хотелось. Работать — тоже. Но если от пищи она могла отказаться (она вообще ела только тогда, когда испытывала чувство голода), то разложенная на столе рукопись и заготовленные к ней «писарские припасы» (полевые заметки, наброски, разнообразная выпись) молчаливо требовали её участия. Эту свою работу — «Дикорастущие съедобные растения» — она не могла отодвинуть на другой срок. Не имела права.

Война — не только взрывы, разрушения и насильственная гибель, это ещё и голод. Смерть медленная и мучительная. С давних времён в блокированных неприятелем городах и посёлках люди вспоминали о крапиве, сныти, одуванчике... И дикие «ребятки» выручали людей.

Вот такое напоминание и хотела создать Сергиевская. Именно так: напоминание. О народном опыте, о борьбе человека за жизнь, о зелёном космосе, малознаемом и слабо изученном, но всегда готовом прийти человеку на помощь.

Крапива, лебеда, одуванчик...

Конечно же, лебеда вспоминается привычнее всего. Не то беда, что во ржи лебеда, а то беды, что ни ржи, ни лебеды! Сеяли рожь, а косим лебеду... Белая марь, гусиная лапка, дикий шпинат, николаева трава, божий-быт, мучнистый сорняк, только на вид слабый и легко истребляемый, — огородная лебеда испокон веков мозолит людям

глаза. Одно из главных десяти сорных растений мира, она живёт повсюду. На грядках, в поле, при дороге, на пустошах, в оврагах, на засоленных и истощённых почвах. От мари нигде нет спасения, всюду найдёт. Семёна её (на каждом кустике до 70 тысяч!) прорастают не сразу. В этом её природная хитрость: оживать постепенно. Прополет землепашец свою нивку — тут как тут молодая лебеда! Прополет ещё раз — глядь, а она снова как ни в чём ни бывало красуется, невзрачные соцветия в небо таращит. Культурный хозяин снова повывёргивает серо-голубо-зелёные водянистые стебли — устоит и на сей раз.

Никогда лебеда не относилась к кухонным овощам — и всегда её употребляли в пищу. Такое вот растение.

Сергиевская перечитала написанное и осталась недовольна: много лишнего. Нужно проще и яснее: как выглядит растение? когда собирать? как применять? Всё остальное оставить для научных или популярных статей, на будущее. Какое дело голодному человеку до того, что марь и лебеда — не есть одно и то же, а даже суть разные, не родственные растения? что в стране произрастает более тридцати видов мари и всего несколько — лебеды. Главное — как выявить съедобный вид?

Она сократила текст, оставив одну страницу. «В пищу идёт обычно марь белая — *Chenopodium album*. Отличить её легко: у неё прямой блестящий стебель, высотой до метра, листья яйцевидно-ромбические, с тупыми зубчиками, с белым мучнистым налётом. Цветки мелкие, зелёные, собраны в клубочки, а затем в метельчатые соцветия. Но использовать листья мари в пищу можно лишь до цветения, когда они ещё сочные, без горечи.

Лебеда раскидистая: листья одноцветные, без мучнистого налёта, нижние — зубчатые, с ушками, а верхние — цельнокрайние, без зубчиков. И марь белая, и лебеда раскидистая богаты аскорбиновой кислотой и применяются как заправка к супам, а также в качестве салатов...».

Молчаливый дружелюбный мир зелёных растений обступил её. Она даже ощутила его лечебную прохладу, мятный привкус бархатистых листочков, сладковатый

сок тоненьких и упругих дудочек-стеблей. Борщевик, гравилат, девясил, донник, дудник, заячья капуста, ирга, календула, камыш, клевер, коровяк, лопух, Melissa, осот полевой, подорожник, полынь, пырей ползучий, сныть, стрелолист, тростник, черемша, чертополох, ярутка... Она писала о них по алфавиту, коротко, но обстоятельно, стараясь не упустить ничего, рассказать обо всех вкусовых и полезных качествах. А за кромкой листа оставалось ещё море трав и кустарников, которые могли бы поддержать человека в трудный для него час.

Сосновый сок, молодая заболонь, сладкая и пахучая; её можно пить просто так. Сосновая мезга — молодая исподняя кора, ещё не затвердевшая, вместе с грубой заболонью сушится, мелется и подмешивается в муку: в голодные годы еда. Об этом хорошо ведомо и в Сибири, и в Смоленске.

Молодые корни рогоза — тоже в муку. Лучше, конечно, во ржаную.

Одуванчик-раздуванчик. Ну о нём подробнее... Всяк его знает, все видели, да мало кто понимает его пользу из-за горечи. А её просто-напросто нужно у-да-лить! Выдержать в холодной подсоленной воде всего 30 минут — и горечи как не бывало! Измельчить. Если есть петрушка, зелёный лук, соединить, заправить растительным маслом (если есть) — и салат готов. Хорошо бы притрусить его укропом, да уж когда как: найдётся ли сам укроп, великий огородный овощ, древнейшее лекарственное растение, снимающее давление и головную боль...

У берегов рек, болот и прудов растёт ещё одно замечательное растение, которое мало кто замечает. Стрелолист обыкновенный. Его листья действительно похожи на стрелы, торчащие из воды. Подводные листья напоминают ленты. Стебель с соцветием трёхгранный. Цветы белые, чуть голубо-сиреневатые. Расположены по три цветка в виде мутовки.

Но не в ботанических красотах дело. В Северной Америке стрелолист называют «белым картофелем индейцев». В Китае он культивируется как овощ. Во Франции

из него готовят ресторанное блюдо. И только в России он пребывает в забвении, в почти нетронутым виде.

А жаль. Клубни стрелолиста, точнее, корневище и ви-сящие на нём, словно орехи, клубни, богаче картошки-матушки. Крахмалистые, вкусные, питательные, они могли бы стать при нужде главной опорной пищей. Надо только обратить свой взгляд на этого водяного скром-ника. Поверить в него.

Позабыв о своём намерении не вдаваться в рецепты, Лидия Палладиевна увлеклась и исписала несколько ли-стов — только об одном стрелолисте.

«В духовке или в золе костра испечь клубни стрелоли-ста, посолить и есть. Как печёную картошку, очистив от кожуры.

Клубни сварить, очистить от кожуры, растолочь со ста-каном молока — вот вам и каша. Хоть для ребёнка, хоть для взрослого.

Вымытые клубни стрелолиста нарезать ломтиками, высушить на солнце, досушить в русской печи и размо-лоть: вот вам отменная мука для любой выпечки!»

...Она оторвалась от работы ближе к вечеру. Чувство го-лода сбило мысли, остановило торопливое перо. Расска-зать хотелось многое: о травяных чаях, о грибах и ягодах, но силы покинули её. Она уронила на скрещённые руки голову и оцепенела в неудобной болезненной позе. Не двигаться. Не думать. Не страдать. Ничего не желать.

Погасла печь: не находя себе пищи, огонь слабо побился-побился да и упрятался в ничто. Стало холоднее.

Преодолевая странное полуобморочное состояние, Ли-дия Палладиевна подняла голову, надела пальто, взяла рукопись «Дикорастущих...» и ушла из дома — к людям.

В библиотеке шла своя жизнь. В вестибюле копились посылки для фронта. В библиографическом отделе про-должался сбор средств на постройку самолёта «Томский

университет». В отделе периодики студенты вычерчивали карту с обозначением фронтов и наступательных ударов Красной Армии. Против двух синих стрелок (враг) рисовали семь-девять наших, красных. Количество армий у нас было больше, чем у фашистов. Наступательных ударов меньше. Надсадные шли бои.

Чем ещё помочь вам, дорогие бойцы, чтобы вы устояли, сломали острие этих зловещих синих стрел?!

Лидия Палладиевна поднялась на третий этаж, в Гербарий. Сердце стучало в ушах, как приглушённый барабан. Может, из-за этого, а скорее всего, по рассеянности, она не услышала приветствия:

— Лидия Палладиевна, здравствуйте, а мы здесь!

Из-за гербарных шкафов выглядывали профессора Вершинин и Ревердатто, в последнее время ставшие «неразлучниками».

— А мы кое-что придумали...

Сергиевская была посвящена в их придумки. Ботаник Ревердатто и фармаколог Вершинин, подключив терапевта Яблокова, усиленно искали лекарства из местного сырья. Их прежде всего интересовали сердечно-сосудистые, болеутоляющие, кровоостанавливающие и ранозаживляющие.

Лучшего трио и представить себе невозможно: Вершинин, Ревердатто, Яблоков.

Патриарх сибирской фармакологии Николай Васильевич Вершинин обладал огромными познаниями в своей области. Ещё в 1935 году он получил образцы синтетической камфары, а уже в 1936-м страна отказалась от ввоза дорогостоящей японской камфары и перешла на отечественную, сибирскую. Николай Васильевич обладал необыкновенным чутьём угадывать, «пойдёт или не пойдёт» растение как лекарство.

Виктор Владимирович Ревердатто — отличный ресурсовед, знающий, где быстрее, доступнее, экономичнее взять сырьё.

Дмитрий Дмитриевич Яблоков — превосходный клиницист, врач милостью Божией. С ним испытывать новое

лекарство — горя не зная. Осторожен, терпелив, сто раз отмерит, один раз отрежет, во всём сомневается, но и риска не боится, ответственности.

Сергиевская верила, что эта троица обязательно добьётся успеха. Такие головы, да не смогут?! Как умела, помогала им. Радовалась, когда выпадала возможность быть полезной в архинужном деле.

Сейчас в Гербарии их двое. У Яблокова в госпитале запарка: прибыл новый эшелон с ранеными.

— Ну и в чём дело? — она подсела к дуэту.

— Всё в том же, в шляпе, — Ревердатто снял очки и потёр уставшие глаза. — Нас интересуется синюха, а где её коробка, найти не можем. А Эльпас, заведующая Гербарием, шастает неизвестно где...

— И желтушник, — добавил Вершинин. — Из Африки и с Мадагаскара перестал поступать строфант.

— Понятно, — кивнула Сергиевская, не обращая внимания на «шастает неизвестно где». Эльпас — это она. Л.П.С. Лидия Палладиевна Сергиевская. Так они её прозвали; и пусть. — Это вы правильно. Желтушник личность занятная.

Она нашла всё, что им требовалось. Книжки, определители, дореволюционные труды Ботанического общества, записки Порфирия Никитича Крылова, не вошедшие в его статьи, сообщения травников, знахарей. Кто знает, может быть, случайно оброненная фраза, полузабытый факт натолкнул исследователей на полезную мысль? Ничем пренебрегать нельзя, ничем.

— Спасибо, Лидия Палладиевна, — поблагодарил Вершинин и как-то очень мило развёл руками: извините, дескать, надоедает, но — надо...

Этот жест заставил сердце Сергиевской знакомо притихнуть — так напомнил дорогого Учителя, Порфирия Никитича Крылова.

Они вообще очень похожи, Крылов и Вершинин. При всей несхожести внешней. Порфирия Никитича красавцем не назовёшь, хотя он был по-своему привлекателен. Ни-колаю же Васильевичу природа отпустила сполна: муже-

ственное чистое лицо, выразительные глаза, прекрасные и почти не седые волосы, густую, чуть кудрявую бороду, переходящую в изящные бакенбарды и усы. Высокая сухощавая фигура. Сильные руки труженика. Пытливый ум и природная скромность. Словом, Вершинин был на удивление обаятельным человеком, и в свои семьдесят пять лет — красивым. Наверное, он чувствовал это и, как действительно скромный человек, отгораживался от щедрот природы застенчивой, как бы виноватой улыбкой: извините, мол, что так получилось... Улыбка красила его ещё больше.

А похожесть с Крыловым состояла в чём-то ином, не внешнем. Они оба были оттуда, из старой гвардии первых профессоров, первых сибирских учёных. Николай Васильевич, правда, помоложе. Но он тоже из первых. Учился вместе с Кулябко (это он, впервые в мире, оживил человеческое сердце), профессорствовал вместе с Мышем, Рузским, Березнеговским... Из Томска по своей воле не отлучался. Только войны сбивали его с мирного шага. В годы русско-японской войны был на фронте, заведовал госпиталем на полторы тысячи коек. В 1914 — тоже на фронте, в качестве консультанта по токсикологии боевых отравляющих веществ. В то время у него вышла важная работа: «Отравление удушливыми газами». В России практически не было таких специалистов, а Германия коварно стала применять химическое оружие. Фармаколог с природным дарованием, Вершинин всю свою жизнь делал то, что от него ждало Отечество.

В сознании Лидии Палладиевны ещё со студенческих лет, когда она слушала его лекции на Высших женских курсах, давно устоялся его образ: рыцарь, без лат и шлема, благородный рыцарь. Он и фармакологию преподавал, как отстаивал поле битвы за народное счастье. Он не просто ориентировался в океане лекарственных форм и препаратов, не только слыл эрудитом — непревзойдённый лоцман, он всегда правил к родному берегу. Не щадя сил работал над заменой заграничных препаратов отечественными.

С первых дней войны убеждал (и убедил!) медиков, что «сибирский бальзам», обработанная пихтовая живица,

не хуже перуанского снадобья, превосходно заживляет огнестрельные раны. Да, масляно-бальзамическая мазь академика Вишневого в сочетании с новокаиновой блокадой — отличное средство. Но всегда ли оно под рукой? А пихтовая живица — вот она, лечи, облегчай участь страдальцев-солдат. Не жалуйся на нехватку медикаментов, лечи.

Очень любят его студенты.

— ...да, — сказал Вершинин, — и пустырник тоже.

— Что, что? — переспросила Сергиевская. Задумалась и пропустила, видимо, что-то важное.

— Пустырник, — подтвердил Ревердатто. — Сначала синюха, а потом пустырник. На черта нам привозная валериана, когда есть сибирский пустырник?

— Блестящая идея, — одобрила Лидия Палладиевна. — Поддерживаю.

Она уже знала об опытах в лаборатории фармакологии по замене валерианы пустырником. Конечно, вековая слава кошачьего корня крепка: непревзойдённое снадобье, входит во многие сложные препараты: нашатырно-валериановую и эфирно-валериановую настойки, в кардиовален, капли Зеленина... Но ведь и пустырник, особенно его сибирский вид, не промах. Тем более — валютные средства не надо тратить. Сибирь-аптека снабдит.

Вспомнив об «особой» папке, порылась в ящиках стола, нашла и протянула её Вершинину. Николай Васильевич надел очки и принялся всматриваться в листочки, исписанные мелким ясным почерком Сергиевской. (Каждый листок помечен: противогнилостные, заживление ран, против цинги, туберкулёза, витамины, ревматизм, сердце, желудок, «от нутра»...)

Многие растения, естественно, ему были знакомы. Над некоторыми он призадумывался. Кое-что встретил с удивлением и даже одобрительным восклицанием.

— Золотая папочка, — уважительно сказал он, переводя последний листок.

— Зелёная, — усмехнулась Лидия Палладиевна, тронутая, однако, его похвалой.

— Как минимум, докторская диссертация, — Николай Васильевич ласково погладил затрёпанную обложку. — А?

Сергиевская нахмурилась, ушла в себя, запечаталась. Не переносила она разговоров о диссертациях применительно к себе. Другие пусть защищаются, пусть пишут учёные труды ради степени. Всё это не для неё. Она и звания кандидата биологических наук не искала. Но в 1938 году Ленинградский университет присвоил ей эту учёную степень без защиты диссертации. «Мы признаём в Вас, уважаемая Лидия Палладиевна, авторитет среди ботаников», — было написано в поздравительной телеграмме из города на Неве. Она была счастлива: столица Ботаники признала её работу. Чего ещё желать?

Вершинин и Ревердатто ушли не скоро: «дикие ребята» быстро не отпускают.

5

Кончалась зима, долгая и немилосердная. Но именно в эту зиму был перейдён перевал напряжения и страдания народного. Люди об этом ещё не знали, не чувствовали и не догадывались. Но он был перейдён. Впереди было ещё много трудностей, великих испытаний. Впереди было возмездное движение на Берлин, утраты и победы... Но главное: народ устоял, урало-сибирская земля стала военно-промышленной платформой, люди не разобщились, не бросились, объятые страхом, в разные стороны, а напротив, сошлись в неразбивную сплотку, в единую силу.

Из этой зимы «тихий город» Томск выходил долго и трудно, подобно тому, как человек возвращается в жизнь после тяжёлой и продолжительной болезни. Сожжены для обогрева почти все заборы, лавочки, сараюшки. Померзли сотни деревьев, особенно одинары (одинокое стоявшие в трубах, на улицах, где постоянно шла студёная тяга с Томи). Месяцами не отворялись ставни, народ не устраивал гуляний в Городском саду и в Лагерях, не расчищались места на Ушайке для катания на коньках, не

строились снежные городки для ребячьих забав. Много чего стало не так, как до войны. И всё-таки эти перемены — внешние. Внутренние были куда серьезнее.

Глубоко не столичный город, надолго укрепившийся в звании студенческого и научного, Томск неожиданно ощутил себя промышленным центром. Это чувство было совершенно новым и непривычным, оно тревожило, возбуждало и вызывало гордость. На многие годы заводские дела стали самыми главными среди всех важных. За всю свою историю томский рабочий класс впервые осознал себя по-настоящему могучим классом, а не прослойкой, социальным вкраплением. Всё в эти годы было подчинено промышленности — и дела, и мысли, и чувства. Всё лучшее отдано ей, её отраслям — машиностроению, электро-химической, стекольной, оптической; производству боеприпасов... Перестроились и довоенные фабрики. Мирная «карандашка» поставляла для фронта аккумуляторный шпон, «спичка» — зажигательную смесь, которой наполнялись бутылки для битвы с танками, кондитерская готовила концентраты. Колпашевский рыбный завод, породнившись с эвакуированным из Керчи, перешёл на выпуск консервов. Заречный Тимирязевский леспромхоз научился гнуть лыжи, сколачивал волокуши для пулемётов, для вывозки раненых. Артель «Кожмех» ремонтировала полушубки. Окровавленные, изодранные в клочья, посеченные пулями и осколками мин, проколотые штыками, прожжённые огнем и кислотами... Их привозили вагонами.

— Слезами отмываем те полушубочки, горем нашим отшаркиваем, ненавистью к фашистам сострачиваем... — плакали девчата-кожмеховки.

Горели по ночам костры. Люди долбили мёрзлую землю, таскали шпалы, укладывали рельсы. Укрепляли старый мост через Ушайку. Списанные локомотивы стояли на заводских дворах, давая пар для обогрева и на технологические нужды. Город стал походить на громадное чумазое депо. Паровозные сигналы вперемешку с заводскими гудками озвучивали немые сцены томского быта.

Каков он был? Чем была примечательна обыденная жизнь горожан? Что сказать... Она соответствовала времени. Была схожей для тысяч и тысяч сибиряков. Всюду властвовал всесибирский быт. А про тех, кто не попал в эти тысячи тысяч, история и не вспомнит. Сладко есть и мягко спать в лихую годину — значило помогать лютому врагу, покусившемуся на Отечество. Чего скрывать, находились и такие «помощники», да не о них речь — о людях.

Подростки и женщины у заводских станков. Самое почётное звание победителей в соревновании: «фронтонная бригада». Нескончаемый сбор денежных средств, вещей и продовольствия. На моторостроительном заводе «Электросила» (позже «Сибмотор») Вера Апраксина принесла семейную реликвию — алмазные серьги. Мастера те алмазы вынули и зачеканили в резцы. Цех, чуть было не остановленный из-за отсутствия алмазных резцов, продолжил работу. Студенты, преподаватели, учёные собирали средства на постройку боевых самолётов «Советский вузовец», на эскадрилью «За Родину». Колхозники засевали сверхплановый «гектар обороны». По вечерам и ночам женщины и девушки шили ватные брюки и телогрейки, вязали носки и варежки. Летом пионеры получали совсем не детское задание: вырастить по двести корней табака для фронтовиков...

Много примет военного времени. Много. Столовые превратились в сплошь вегетарианские. В них по-особому чистили картошку (вырезали «глазки» на посадку). Перед горожанами поставлена боевая задача: посадить на каждую семью по четыре сотки картофеля и овощей. Море картофельное должно быть создано. Море!

И вот пришла весна...

Все свободные места заняты под огороды. Даже в Городском саду посадили картошку.

Университетская роща тоже не избежала общей участи. Всё, что можно было перекопать, перекопано. Тёмно-зелёные ряды «сибирского фрукта», извиваясь меж деревьями и вдоль дорожек, незабываемо изменили старинный парк.

«Ничего, — думала Лидия Палладиевна, окучивая крепенькие картофельные кусты, — ничего-о... Мы ещё засадим цветами... Мы ещё увидим поляны с ландышами».

Поляны с ландышами появились не скоро. Белладонна, шалфей, наперстянка, валериана... Эти поляны — да, были.

6

До войны здесь была окраина. Зброшенные пустыри, заболоченные низины да несколько деревянных домов, уткнувшихся ставнями прямо в землю. 10 мая 1943 года уединение этого уголка были нарушено. В этот день в Томске началось строительство новой электростанции.

ГРЭС-2 строили всем миром.

Единственная в городе теплоэлектроцентраль, ТЭЦ-1, не справлялась с нуждами энергоёмких оборонных заводов. Эвакуированная в начале войны Гомельская электростанция поправить дело не смогла. Город оставался во тьме.

И вновь — долбили мёрзлую землю, носилками отсыпали грунт, рыли котлован, возводили стены.

И всё-таки поставить стены, залить бетонное основание, прорыть траншейные подступы — это оказалось не самым сложным. Почти невероятным делом было получить оборудование.

Шла невиданная по масштабам и жестокости сражений война. На земле, в воздухе, на море. И вот в таких условиях было закуплено в Англии оборудование для Томской станции: один турбогенератор К-12 «Метро-Виккерс» и два котла «Интернешнл Комбастршен» со слоевым сжиганием топлива. Они двинулись по ленд-лизу через Мурманск, Архангельск, Владивосток. Продвижение длилось мучительно долго, несколько месяцев, сопрягаясь с большой опасностью. И вот наконец весной 1945 года оборудование прибыло в Томск.

Горожане высыпали на улицы встречать грузовые платформы с дорогами «путешественниками».

— А котёл-то, котёл как исчиркан пулями!

— Говорят, троих моряков убило, пока везли...

— Три души за электрический свет...

Рабочая разнарядка для университета выпала на 9 мая. ГРЭС-2 готовилась к пуску первой очереди, и необходимо было помочь в подсобных работах.

Лидия Палладиевна оделась потеплее, проложила старыми газетами издававшие виды резиновые сапоги. Она привыкла к внеплановым выходам на станцию и готовилась, как к знакомому делу.

Вышла из дому. Сыпал мелкий холодный дождик. Туч не было. Сплошная серая пелена, будто намокшая ряднина, обложила город со всех сторон.

«Ну и погода, — подумала Лидия Палладиевна, отворачивая лицо от бокового ветра. — Видать, нет для Сибири иной. Только эта и осталась».

Достичь ГРЭС-2 можно минут за сорок. Городского транспорта почти никакого. Правда, в последнее время начали хождение грузовики с выкидным трапом-подножкой, но ждать их приходилось довольно долго. Придётся идти пешком.

Город ещё спал. Серые, тёмные, с потёками стены. Прогнувшиеся латанные-перелатанные крыши. Давно не беленые деревянные кружева. Дряхлые тротуары, в которых сохранилось по одной, две доски. И только резные коньки, фантастические драконы и рыбо-девы на крышах старинных теремов упрямо выгибали в невзрачное небо свои мокрые спины.

Лидия Палладиевна запрокинула голову, любуясь их упорством. Этот дом на Красноармейской, бывшей Солдатской улице, похожий на крепостцу, заступил на тротуар башней, сложенной из лиственницы. Сходство с крепостцей усиливали окна-бойницы.

— Стоишь? — с непонятным волнением спросила она, лаская взглядом старинный сруб. — Ишь ты, каков... — бросила взгляд повыше, на драконов, и, повеселевшая, пошла дальше.

«Нет, неправда, что для Сибири не будет иной погоды, — думала она, преодолевая заполненные грязью

низинки. — Не такая это земля, чтобы хиреть и киснуть! Она ещё вздохнёт и проснётся. И на её площадях забьют выложенные мрамором фонтаны...».

Но до мраморных фонтанов было ещё далеко.

Зато чувствовалось близкое окончание войны. По газетам, по радиосводкам, по слухам и разговорам. Победа не за горами. Она рядом. Вот-вот прогремит её меднотрубный голос... И всё изменится, станет радостным...

В это утро Сергиевская преодолела свой путь за полчаса. Пришла в числе первых, и ей досталась почётная работа: прибирать в турбинном зале.

Здесь было сухо и тепло. Запах битого кирпича заглушался дыханием свежeweбеленных стен. Несколько мужчин колдовали вокруг турбины. Они походили на тёмных окуней, вынырывающих то там, то здесь вокруг железной махины. Сходство с окунями добавляли красные от бессонницы глаза, тощие фигуры и алые повязки на рукавах спецовок.

Вскоре на подмогу к Сергиевской подросли три девушки, студентки с историко-филологического факультета. Открылся этот сугубо мирный факультет, о котором сибиряки мечтали ещё до революции, в «сороковые-роковые» годы, и это казалось добрым знаком.

За военное время университет подготовил немало нужных для фронта профессий: рентгено- и физико-техники, путевые дефектоскописты, геологи, математики, биологи... Освоил новые предметы. На мехмате — баллистика, теория стрельбы, артиллерийские приборы и управление артиллерийским огнём, на географическом — военная география и аэрофотосъёмка, на биофаке — промысловая ихтиология... Историки и филологи тоже не остались в стороне. Здесь преподавалась методика и организация политико-просветительной работы в Красной Армии, история международных отношений. А главное — на высоком уровне читались лекции по вечным предметам: русский язык, литература, история Отечества...

Юные филологини, напарницы Сергиевской по борьбе с мусором, не обращая внимания на её молчаливую со-

средоточенность, болтали о своём. О лекциях академика (из эвакуированных) Александра Ивановича Белецкого, который «ну просто захватывающе даёт русскую литературу!», читали стихи:

Моё поколение —
это зубы сожми и работай.
Моё поколение —
это пулю прими и рухни...

Эти девочки, эти воробы с прозрачно-синими руками, уже ощущали себя поколением. «Пулю прими и рухни...» — это они и о себе так понимали.

С материнской заботливостью Лидия Палладиевна отбирала у них обрезки тяжёлых труб, старалась быстрее вернуться, чтобы захватить совковую лопату, а им оставить мётлы. Но девчухи сердились, норовили опередить её. Работа неслась вскачь.

Увлечённые жарким трудом, они не заметили, как в цехе произошли изменения. Явились какие-то люди, толпились группами. На лицах напряжённое ожидание, то и дело улыбки... Парнишка в рабочей спецовке тянул откуда-то сверху радиопровод. Фибровая тарелка громкоговорителя, словно чёрная мексиканская шляпа-сомбреро, болталась у него за спиной.

— Тише вы!
— Ти-хо...
— Сейчас будет...
— Внимание!!

Лидия Палладиевна заворожённо уставилась на чёрную тарелку; общее волнение передалось и ей.

— Внимание! Работают все радиостанции Советского Союза. Передаём экстренное сообщение. Вчера, 8 мая, в Берлине подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии...

— Ур-ра! — взорвалось вокруг. — Победа!!!
— Господи, неужели...
— С Победой!!

Люди обнимались, кричали, поздравляли друг друга, смеялись и плакали одновременно. Кто-то шлёпал по пле-

чам Сергиевскую. Она пожимала кому-то руки. Девчонки-филологи запели «Огонёк»...

И в этот момент всеобщего ликования вдруг задышала, задрожала турбина. Случайно, или так было задумано, но именно в это время ожило её рабочее тело — пар. Он ударил в лопатки турбины, и ротор пришёл в движение.

Люди с алыми повязками, похожие на тёмных окуней, размазывая по лицу пот и грязь, смотрели на дело рук своих, как на чудо. По их лицам было видно, что они не верят собственным глазам. Один из них, пожилой, с пепельной, словно зола, головой, уткнулся лицом в замазученные обтирочные концы и плакал.

Таким и запомнился Лидии Палладиевне День Победы — святым и скорбным рабочим праздником, с запахом свежевыбеленных стен и зольным привкусом на губах. Победа не снег, сама на голову не упадёт, — говорили сибиряки и старались изо всех сил.

Остальное — как во сне. В университетской роще полно молодёжи. Гармонь. «С берёз, неслышен, невесом слетает жёлтый лист...»

Обхватив друг друга за плечи, за талии, на хвойной подстилке под кедрами вальсировали девушки. Парней немного. Стоят поодаль, курят, танцевать не рвутся: не успели выучиться.

«Ничего, хлопцы, — мысленно подбодрила их Сергиевская. — Это дело поправимое. Будет мир, будут и песни. Уцелеет музыка, найдутся к ней и танцоры...»

На душе у неё необыкновенно — и сладко, и горько враз.

Шестидесятилетние кедры, ссутулив тяжёлые ветви, сверху вниз глядели на это разыгравшееся не по погоде веселье, на девушек в телогрейках, на парней, на женщин в резиновых сапогах, прислонившуюся плечом к корявому стволу, по лицу которой струились влажные полосы — то ли дождь, то ли слёзы. Казалось, деревья что-то понимали, силились понять...

Многоствольный даурский кустарник, гнавший свои деревянистые стебли прямо от земли, наступавший на

жизненное пространство кедровой семьи, понимать ничего не хотел. Вытягивал вперёд голые прутья, топорщил колючки и норовил придержать за подол развеселившихся девчонок. Озорвал, как всегда, шалопай.

В этот день пробудилась старая черёмуха возле анатомки. Ощувив подобие тепла, она заторопилась, погнала к спящим почкам живительный сок. Скорей, скорей... Не терять ни минуты из тех, что отпущены природой.

Черёмуха знала, что нынешняя весна будет ранней.

* * *

Переселяясь с Гербарием на своё довоенное место, в главный университетский корпус, Лидия Палладиевна наконец узнала «военную тайну» Научной библиотеки ТГУ.

В двух её комнатах, с окнами, забранными решётками и глухими ставнями, с дверями, обретшими противопожарный вид, хранились бесценные сокровища: рукописи и реликвии архивов и музеев Пушкина, Льва Толстого, Горького и Есенина.

В августе 1941-го, в обстановке большой секретности, «во исполнение ответственного правительственного задания», в Томск начали прибывать ящики из Ясной Поляны. К ноябрю первая комната — толстовская — была забита до отказа. Во второй разместили фонды Пушкина и Горького, а также рукописи Есенина.

Вот что находилось за той таинственной дверью, береглось, и сбережено было. Понятны стали и строгая секретность, ночные дежурства, и старые зипуны и шляпы, вывешенные для просушки во внутреннем дворике и тоже охраняемые.

После Победы опустели эти комнаты. Святые для русского человека реликвии вернулись туда, откуда были вывезены из-под огня и бомбёжки. Но противопожарные двери целы до сих пор. Они напоминают о том, что было, что прошло, но не исчезло, ибо история всегда рядом, в живой памяти людей.

Первый

Жил на свете бездарный мальчик. Не было у него ни в чём никакого таланта.

Посмотрите на его друзей.

Митя лучше всех в классе ездит на велосипеде. И без рук, и спиной вперёд, и монетку на ходу с земли поднимает.

Евгеша — первый мастер по дереву. Хоть ложку, хоть скульптуру — было бы из чего.

Надя — самая красивая.

Игнат — точно будет изобретателем. В математике и в шахматах не имеет равных, любое устройство соберёт, разберёт и усовершенствует.

Толя — хоть и в очках, зато круглый отличник.

Оля — дерётся лучше всех и самая добрая.

Антон — самый сильный. Кого угодно подбросит над головой и не уронит.

Гришка — снайпер.

Гошка — художественный чтец. Он так прочёл со сцены поэму «Беглец», что вся школа зовёт его Гаруном.

Алик — боли не боится. Хоть огонь, хоть иголка — ему одинаково нипочём.

Ульянка — никогда не устаёт. Она в походе трое суток не спала, все свидетели.

Мефодий — вышивает гладью такие картины, что не всякий художник нарисует.

И так далее! И тому подобное! Каждый-каждый хоть в чём-нибудь да лучше всех, и его за это уважают. Так у людей испокон века: имеешь какой-то дар, не ленишься, развиваешь — и вот у тебя уже талант...

У Максима способностей не было НИКАКИХ. Ни к чему. Ни в чём. Понятно?

Пока был совсем маленький, это его не удручало. Даже не беспокоило. Но чем старше становился, тем больнее понимал свою неудачу.

С кем дружит самая красивая Надя? С Гошкой, потому что ей нравятся красивые слова.

С кем дружит драчливая и справедливая Оля? С умным Игнатом, потому что его надо защищать, о нём надо заботиться.

С кем дружит самый сильный, Антон? С Евгешей, потому что Евгеша научит мастерству.

И так далее, и так далее.

С Максимом они все тоже дружат, но не так. У них просто общая компания. А внутри любой компании есть ещё особая дружба. Вот такой-то у Максима и нет. Он всем помогает, он у всех на побегушках, за это к нему хорошо относятся, за это его и держат рядом. Такой человек в любой компании нужен. В хорошей его не обижают, в плохой над ним издеваются. А ему всегда — как-то? Настоящего-то уважения нет. У всех между собой какие-то дела, даже тайны, а тобой просто помыкают. И тайнами, конечно, не делятся. И никто не спросит: «Максим, как ты думаешь?..» А всё из-за того, что ты ни в чём не лучший.

Стал Максим тосковать, когда подрос. Но компании своей держался: одному ещё хуже.

Драчливая Оля его жалела и, когда нужно, защищала, потому что к самозащите у Максима способностей не было, а обидеть такого норвят многие.

Оля при этом говорила:

— Ты, Макса, не вешай нос. Твоё от тебя не уйдёт.

«А что моё? — думал Максим. — Может, ничего моего и на свете нет?»

Он говорил об этом Оле. Она успокаивала:

— Зря так думаешь. У всех есть, значит, и у тебя найдётся. Ты только рук не опускай, не сдавайся. Ты ищи и старайся.

А Максим и так старался.

Он вычитал в книге слова знаменитого человека: «Если быть, так быть первым». Этим словам он решил следовать всю жизнь. И начал искать, в чём же ему можно стать первым.

Игнат — умный от природы. Первым среди умных Максиму не стать.

Антон — сильный от природы. Как Максим ни тренируйся — никаких надежд.

Чтобы лучше Мити ездить на велосипеде, надо иметь велосипед, а Максиму не покупают: боятся, не убился бы.

Алик боли не боится — это тоже природное. Максим попробовал терпеть, но понял, что Алика он не перетерпит. Да и ни к чему.

Евгешу в мастерстве тоже не превзойдёшь — у него папа краснодеревщик, а мама — скульптор. Талант от рождения.

Про очкарика Толю говорить не приходится и думать не стоит.

С Мефодием тягаться неохота, потому что не мужское это дело — вышивка гладью.

Ульянка? Максим пробовал никогда не уставать, это было бы замечательно во всех отношениях, но очень скоро заболела голова, и он сам не заметил, как заснул.

Превзойти Гошку в художественном чтении Максим пытался, но опять подвели природные данные: ни голоса, ни солидности.

Осталось либо научиться стрелять лучше Гришки, либо лучше Оли драться. Но состязаться с девчонкой в боксе Максиму было неудобно, и он пошёл в стрелковую секцию.

Когда Максим заканчивал школу, он стрелял почти так же, как его друг Григорий. Но всегда немного ему уступал. Не хватало, наверно, таланта, потому что терпенья и старанья было в избытке.

Оля его подбадривала:

— На следующих соревнованиях стрельнешь лучше Гришки.

Вместо следующих соревнований Максим оказался в окопе.

Соревноваться ему пришлось с пилотом «мессершмитта», и его винтовка оказалась точнее всех пулемётов фашиста — самолёт врезался в землю.

В тот же день Максим остался прикрывать отход своего батальона. Он остановил столько автоматчиков, сколько было при нём патронов. Последнюю из четырёх своих гранат он израсходовал на себя и на тех фашистов, которые пытались взять его в плен.

Бездарный мальчик Максим первым из своего класса пал смертью героя, защищая Отечество.

Почтовый ящик

Раньше ящик висел на столбе у калитки. Старая калитка вела во двор. А во дворе хмуро темнел старый дом. Жили в доме старик со старухой. Ждали внука с войны. А внук всё воевал, всё не ехал. Только письма писал. Вот из-за него ящик и повесили. Кроме внука писать-то старикам было некому. Их сын и жена их сына погибли ещё на прошлой войне.

Письма с войны приходили по-разному. Бывало, неделями почтальон носил одни газеты. А бывало, опускал в ящик сразу два-три письма. Известное дело — с войны доставлять почту не так уж легко. Но старики, наверно, этого не понимали: они заглядывали в ящик по нескольку раз в день.

Газеты они читали внимательно, только там об их внуке ничего не было. Часто называли там взятые города, отличные полки. Попадались имена солдат и офицеров. Но имя своего внука старики и не ожидали увидеть в газетах: работа у него была секретная.

Из-за этой секретности писал им внук не о своей работе, а о разных смешных случаях из солдатской жизни.

«Враги совсем не умеют стрелять, — писал внук. — В меня, например, за два года ни разу не попали. А когда мы идём вперёд, они разбегаются во все стороны».

«Два дня назад, — писал он в другом письме, — один наш совсем неопытный солдат нашёл вражескую мину. Он думал, что это простая болванка, и стал заколачивать миной гвоздь. И мина не взорвалась, потому что была изготовлена в конце месяца».

Старики читали эту чепуху и не смеялись, потому что из газет они знали, как стреляют враги и какие у них мины. Но они радовались тому, что внук пишет, — значит, живой.

Старый почтовый ящик шептался с газетами и письмами и, разумеется, знал все новости. Но он, конечно, никому ничего не рассказывал — ни воробьям, которые садились на калитку, ни кошке, которая охотилась на воробьёв, ни собаке, которая лаяла на кошку и уважала почтальона. Ящик знал, что такое почтовая тайна, и вообще любил порядок. Однажды, например, когда его забыли запереть, он до тех пор хлопал дверцей на ветру, пока хозяева не исправили ошибку.

Настало время сносить старые дома, и старик со старухой получили квартиру в первом этаже большого каменного дома. Ящик был совершенно горд, когда его, наравне с кошкой и собакой, перевезли в новое жилище. И совсем не огорчился, когда собаку и кошку пустили внутрь, а его повесили на дверь снаружи. Такая служба, ничего не делаешь.

Если подняться на несколько ступенек, то можно было увидеть множество новеньких, весело выкрашенных почтовых ящиков, на которых были написаны номера квартир. Но старики упростили нового почтальона опускать газеты и письма в их старый ящик. Им казалось, что этот ящик должен приносить удачу их внуку: раз уж два года ничего не случилось, то не случится и теперь — враги промахнутся, мины не взорвутся.

Жизнь почтового ящика стала не такой интересной, как раньше. Правда, новости с войны улучшались, дело

там шло к концу, однако не было весёлых воробьёв, не было ни солнца, ни дождя, не было ветра, чтобы похлопать дверцей, а кошка и собака больше не ссорились и, когда их выпускали погулять, у двери задерживаться не любили — сразу мчались на улицу. К тому же повадился хулиганить мальчишка с восьмого этажа. Он почему-то злился, что всем носят письма на лестничную площадку, а старикам — отдельно, в собственный ящик. И он придумал подлость: раздобыв спичку, чиркал ею о стену и бросал огонь в почтовый ящик. Это было крайне опасно: два раза газеты начинали тлеть, а однажды обуглился край конверта. Ящик сердился и всё время обдумывал план: как бы покрепче прищемить злодею пальцы.

И такой день наступил, хотя он и стал самым несчастным днём в жизни почтового ящика.

Хлопнула дверь подъезда, мелькнула в ярком свете фигура почтальона, опять наступил полумрак, но когда почтальон доставал из сумки тонкий казённый конверт без марки, ящик легко разглядел суровость его лица.

Тонкий конверт упал на дно ящика, а почтальон, который при каждом письме радостно звонил старикам в квартиру, на этот раз молча и быстро ушёл. Впрочем, в тот момент стариков не было дома

— Что случилось? — проскрипел ящик. — Дурная весть?

— Хуже не бывает, — ответил со вздохом конверт.

Внутри конверта было тихо. Дурные вести всегда молчаливы.

— Да-а-а, — проскрежетал ящик, — зря они понадеялись на мою удачу.

— Лучше бы мне потеряться, — конверт снова вздохнул. Ящику эти слова не понравились.

— Как же это, голубчик, понимать? — сказал он сурово. — Как вы могли даже подумать?.. Что бы там ни случилось, а попрошу не забывать: мы с вами на службе, и служба — превыше всего!

— Служба для вас выше сострадания? — простонал конверт.

— Увы, это так, — сухо сказал ящик. — И дело вовсе не в том, что я железный, а вы сделаны из живой древесины. Дело в дисциплине. Почтовое отправление должно быть отправлено и доставлено по назначению и в срок, а если возможно, то и раньше срока. И никаких потерь, никаких утрат! Потери и утраты — дело тех, кого мы называем отправителями и получателями. А наша служба, повторяю, — сохранность и доставка любой корреспонденции, какие бы сведения она ни содержала. Вы согласны, Дурная Весть?

Ответа не последовало. Внутри конверта сохранялась гробовая тишина.

— Что ж, — проскрипел ящик. — Молчание — знак согласия.

В эту минуту снова хлопнула дверь, и в подъезд влетел мальчишка с восьмого этажа. В руках он держал спички и тетрадный листок, свёрнутый жгутом. Быстро оглядевшись, хулиган чиркнул спичкой, поджёг свою бумажку и, оттянув пальцем дверцу ящика, сунул туда огонь.

— Н-н-ну! — лязгнул ящик. — Дер-р-ржись!

Он напрягся и прищемил мальчишке палец. Хулиган взвизгнул от боли и рванулся. Но ящик не отпускал. Вставленная в щель бумага хорошо разгорелась и прижгла палец.

— Пусти! — завопил мальчишка.

— Хе-хе, — ответил ящик.

Мальчишка взвыл, отчаянно рванулся, ободрал палец до крови, но всё же освободился. В три прыжка он достиг лифта и, поскуливая, уехал к себе на восьмой этаж.

В ящике между тем бушевал огонь. Пока щель, благодаря пальцу, была широка, успел на сквозняке разгореться конверт, и спасенья Дурной Вести уже не было. Вот тут-то ящик и услышал её голос:

— Какое счастье! — вопила Дурная Весть. — Никому и никогда не выпадало такой радости! Славный, замечательный, великодушный мальчишка! Превосходный, чудесный, спасительный огонь! О, скорее, сильнее, смелее, дотла!..

— Что за глупости? — забормотал ящик. Ему было больно, на нём коробилась краска. — Что за нежности к этому паршивцу? А как же хозяева?

Дурная Весть вопила, радовалась и не желала отвечать. Она была целиком занята собой. За неё ответил конверт.

— Глупое ты железо! — Конверт задыхался и уже не заботился о вежливости. — Тебе нас, живых, не понять... У людей горе...

— А служба? — возмутился ящик. — А долг? А дисциплина?

— Подождут, — прошептал конверт, догорая. — Им теперь не к спеху...

Отец

«Спокойной ночи».

Поздний вечер.

В окне — твой заострённый профиль.

Опять не спишь. Меняешь свечи.

И на бумаге сохнут строфы.

Ты электричество не включишь.

Тебе сподручнее при свечке.

Или у раскалённой печки.

Так вроде думается лучше.

«Что пишешь?». «Строго между нами, — сказал ты раз вполне серьёзно. —

Приходится писать стихами, поскольку не даётся проза».

Но и стихи тебе, смотрю я, не очень-то, старик, даются.

Вон, по утрам сидишь, горя, и пепел стряхиваешь в блюде.

«Что пишешь?» Раз, когда все спали, ты мне сказал: «Хочу о лете...

Как в сорок первом наступали...

Как отступали в сорок третьем...»

«А в сорок первом... было разве?»

«Чтоб наступали?» «Да. Ведь летом...»
«Немного — да. Не бой, а праздник!
Да трудно рассказать об этом...
Как реактивные снаряды
над головой летят, ты видел?
Вот так и было. Дали гаду...
И гнали — в самом лучшем виде!»
«А что потом?» «Да не хватило
тогда «катюш», вот и бежали.
Да землю рыли, да лежали
в земле... Теперь — закоротило.
Вот дай винтовку, дай лопату —
и окопаюсь в лучшем виде...
Но чтоб стихи писать солдату...»
«Зачем же ты?...» «Да я в обиде:
всё о других рассказы слышу —
Бакланов, Бондарев, Нагибин...
А кто товарищей опишет —
моих, которые погибли?
Пишу. И — жгу! Глотаю слёзы.
И засыпаю с петухами...
Я снова перейду на прозу:
не получается стихами...»

Парад Победы

В колонну по три становись
и — шагом марш!
Кто в 21-м начал жизнь,
тот, значит, наш.
В колонну по три, на парад,
на братский пир!
И не являться без наград —
пусть видит мир!
В колонну по три — не впервой.
Равняй носки,
кто в 41-м под Москвой
ходил в штыки.

Смотрите, праздник на дворе!
Сомкнуть ряды,
кто сталинградской в ноябре
хлебнул воды.
Кто помнит Киевский котёл
и крымский ад,
кто видел, как горел Орёл, —
заполнить ряд!
Но тем не место среди нас —
покиньте строй, —
кто малодушно хоть бы раз
оставил бой,
кто, три секунды потеряв,
позднее встал,
когда уже передний ряд
косил металл...
И вот — парад. Идут войска,
примкнув штыки.
Но что так тихо? К ряду ряд
молчат полки.
Не слышно топота сапог.
Сердца молчат.
Из каждой сотни лишь у трёх
они стучат.
Парад героев и теней...
Как смерть, страшна,
Девятым Мая по стране
идёт война.
Колонна по три — от Курил
и до Балкан.
В ней все свои — по взводам, ротам
и полкам.
Мы не стареем и не мрём.
Наш строй — навек.
Нам всем по двадцать.
Не окончен наш разбег...
В колонну по три становись!.....

Посвящение ВВС (Сон)

Когда ты спал в машине после боя,
его навёл какой-то сукин друг.
И, очутившись где-то над тобою,
он распахнул широкий бомболюк.
Пять тонн тротила, обрета свободу,
взорвали сон и разметали тьму...
А он ушёл в густую ночь, как в воду.
Зенитки мимо били по нему.
Ты умирал без стога, как мужчина.
И лишь когда почувствовал конец,
то попросил: «Спасите ради сына.
Без рук, без ног — я всё-таки отец».
Хоть ты меня на ноги не поставил,
я сам пошёл. А после — полетел.
Но некого спросить и не представить,
таков ли я, какого ты хотел.
Я не герой, не полиглот, не гений,
я с неба звёзд ни разу не хватал,
но никогда в сплетеньях параллелей,
в сетях меридианов не плутал.
Я знаю ночь. Я в ней — как рыба в море
плыву, кому — я знаю — на беду.
Клянусь, я встречу этот «юнкерс» вскоре
и вышибу из экипажа дух.
Он где-то здесь. По звёздам чёрной тенью
плывёт, как крест, с крестами на боках.
Сейчас придёт конец его везенью.
Ещё чуть-чуть, и он в моих руках.
Ну, вот и всё! Стрелок у них не меткий.
Я уклоняюсь от свинцовых трасс
и бью в упор, давлю на все гашетки...
Их стало меньше. Значит, больше — нас.

Четырежды воробей

рассказ

Первым, кого Степан Матвеевич увидел в день своего рождения, был бесхвостый воробей. Он сидел на форточке, осматриваясь, потом спорхнул на пол и принялся выискивать там съедобный сор.

«Интересно, сколько лет живут воробьи?» — подумал Степан Матвеевич, затем вновь сомкнул веки и долго лежал так, без движения, пробуждаясь.

Пятьдесят три года — много это или мало?

В сорок четвёртом он сказал бы, не задумываясь, — много. Тогда его ранило у небольшого латвийского местечка Эргли. В первый и последний раз. Он упал вниз лицом на холодную болотистую землю и не почувствовал боли, только толчок под правую лопатку и непривычную пустоту в ушах. Боль пришла позже, когда он открыл глаза и увидел на обрызганной кровью траве лягушонка. В горле лягушонка что-то беззвучно двигалось, пузырилось. Наверное, страх. И тогда Степан Матвеевич понял, что тоже боится — боится умереть в двадцать лет.

Это чувство не было для него новым, просто к концу второго года фронтовой жизни оно потеряло болезненную поначалу остроту. Многие из тех, с кем вместе участвовал он в первых своих, самых трудных и памятных боях, остались в чёрных октябрьских снегах на Ржевском выступе. А он чудом уцелел — сначала повезло, а потом стал приходить опыт.

Провожая его на фронт, крепко состарившийся уже отец, выше других наград почитавший трудовой знак «Шахтёрская слава», наказывал: «Добросовестно воюй, Стёпа, умело. Без надобности вперёд не при. Старайся умом взять, где силой не можешь. Война долгая, на азарте её не проскочишь. Не посрами фамилии, сынок. У нас в роду так было — или всё, или ничего. Или грудь в орден-нах, или голова в кустах. Главное, с кустами не торопись, это всегда успеется».

Степан старался не торопиться.

— Ну и везучий ты, — удивлялись товарищи. — Сколько прошёл, и хоть бы одна царапина!

— До первого звонка всегда так, — согласно кивал Степан. — А там пойдёт-покатится, успевай только лови.

Говорил, а сам надеялся, что самое трудное позади, что теперь, когда так явственно замаячила Победа, с ним ничего плохого не случится.

Но первый звонок для него едва не прозвенел в Рудне, где Степан неожиданно встретил одноклассницу свою Валью Храмцову. И эта необычная встреча, и то, что случилось позже, слилось для него в одно целое, навсегда врезалось в память опьяняющей радостью и нестерпимой болью.

* * *

Степан не сразу признал в чумазой санинструкторше Храмцову, а признав, поразился. В школе её дразнили Жвакой — за то, что вечно что-нибудь жевала. Правда, на пользу ей это не шло, при любых обстоятельствах она оставалась тощей, жилистой, угловатой.

Было у Храмцовой и другое прозвище, ничуть не лучше первого, — Гологлазая. Это потому, что светленькие ресницы-невидимки совсем не затеняли огромные серые Валины глаза, поставленные чуть боком один к другому. На тонком веснушчатом лице со вздёрнутым носиком и неприметными губами они существовали словно бы сами по себе: то удивлялись, то спрашивали, то неизвестно отчего печалились. Их терпеливую внимательность трудно было выдержать, а забыть ещё трудней.

Никто в классе с Храмцовой не водился. Держалась она особняком, даже за партой сидела одна. Девчонки и те толком не знали, где живет Гологлазая, кто у неё родители, отчего она такая неразговорчивая.

Степану тоже не очень ладно жилось в классе. Переросток, в школу пошёл поздно, год пропустил из-за семейных неурядиц.

Порой он ловил на себе Валин взгляд. Храмцова смотрела на него так, будто знала о нём такое, чего не знали другие. Но и тогда она умудрялась жевать.

Степану хотелось накричать на неё и тут же повиниться неизвестно за что, предложить дружбу. Только как с ней дружить, если в ней совсем нет того, что уже в седьмом классе стало заметно появляться в других девчонках.

Раньше других одноклассников Степан заметил эти перемены. Особенно в Тосе Зубенко.

Тося побаивалась его, и в то же время не упускала случая понасмешничать, проверить свою власть над ним. Степан молча сносил колкости, бродил по ночам под окнами зубенковского дома, иногда неумело навязывался в провожатые. Несколько раз он жестоко, по-взрослому, дрался из-за неё, но Зубенко об этом и знать не хотела: мало ли кто из-за неё дерётся и ещё драться будет.

Девятый класс Степан не закончил, пошёл работать. На шахту его по молодости лет не взяли, пришлось оформляться на завод. Много мест сменил Степан, прежде чем почувствовал в руках живое интересное дело. Отец одобрил: ну что ж, слесарь-инструментальщик, понятное дело, не шахтёр, но профессия тоже вполне уважаемая. Главное, чтобы работа была по душе и по настроению, а школу и вечерами закончить можно.

О Зубенко Степан постепенно стал забывать, она осталась где-то далеко, в беспокойных мальчишеских снах, к которым уже не было возврата.

В августе сорок первого года случайно узнал он, что его школьная симпатия окончила школу с отличием и уехала поступать в Томский университет. Это известие неприятно поразило его: как так можно? война началась, а

она заявление не в военкомат несёт, как все, а в приёмную комиссию?!

И почему-то вспомнил о Вале Храмцовой. Интересно, а как она? Но о Жваке Гологлазой ему никто толком сказать не смог: то ли уехала куда-то с родителями из Кемерова, то ли где-то работает. Да и какая разница, в самом-то деле? Было бы о ком вспоминать!

— Было, — ответил тогда своим приятелям Степан. — Если уж и вспоминать кого, так сначала Вальку!

Он и сам не понимал, почему взвился. Может, почувствовал свою вину перед худой большеглазой девочкой, которая вдруг изучающе глянула на него из прошлых лет. Только теперь Степан уловил в этом взгляде терпеливую преданность и готовность ждать, не мешая, ничего не требуя, не торопя.

Первым желанием его было побежать, найти Храмцову, посмотреть, какая она стала, проверить свою догадку. Но он не побежал, не проверил. Как будто знал, что в сорок третьем они встретятся в Рудне.

* * *

Он сидел у дороги на холодном белом камне и ждал, пока старшина закончит свои дела в банно-прачечном хозяйстве. Старшина велел ждать, и Степан ждал.

День выдался пасмурный, с тягучим холодным ветром. Того и гляди припустит дождь: пыль из-под колёс не клубится, стелется.

Из-за поворота выкатилась повозка с ранеными. Лошадь тащила её медленно, заметно прихрамывая, вся в репьях и нашлапинах из грязи. Рядом с повозкой шла высокая женщина в телогрейке. Степан равнодушно скользнул по ней взглядом. Подошва правого сапога у неё загибалась с носка, шваркала по земле, вот-вот отвалится.

Подошва шваркала всё ближе и ближе, стучали по камням деревянные, без ободов колёса, хромала лошадь.

Степан достал кисет и начал экономно сворачивать самокрутку.

Неожиданно стук прекратился, устало всхрипнула лошадь, застонал раненый. Степан повернулся к дороге и увидел прямо перед собой разбитые сапоги, потом худые синие руки, золотистую пуговку гимнастёрки под остреньким подбородком и, наконец, большие внимательные глаза, поставленные чуть боком один к другому.

Он поднимался навстречу этим глазам медленно, неуверенно. Потом вдруг понял, что ошибки быть не может, и рванулся вперёд:

— Жвака!

Она облегчённо улыбнулась, протянула ему руку — не то для пожатия, не то от волнения. Но Степан уже обнял её, притиснул к себе, словно обороняя от кого-то.

Валя прижалась к его шее холодными губами, спина её дрогнула, напряжинилась, потом вдруг обмякла.

Они стояли молча, не в силах оторваться и посмотреть в лицо друг другу.

— Где мы? — забеспокоился на подводе кто-то из раненых.

— В Рудне, — ответил ему другой и, встретившись взглядом со Степаном, сочувственно любопытствовал: — Сеструху, что ли, встретил? Или невесту? Бывает...

Валя отстранилась от Степана, стряхнула набежавшие от волнения слёзы, размазала по лицу ссохшийся кусочек грязи.

— Если можешь, проводи в медсанбат, — попросила она. — По дороге и поговорим.

— Да здесь уже рядом. Вон за той будкой... Айда, конечно.

Они зашагали молча, не разнимая рук. Степан всё принаравливался к хромящему шагу лошади, к глубоким выбоинам, к радости, внезапно охватившей его.

Валя изменилась мало — вот только ростом повыше стала да лицом помягче, повзрослей. На щеке тонкий, как шнурок, шрам. Губы широкие, красиво очерченные. Почему это раньше они казались Степану тонкими, неприметными? Очень даже приметные. И нос заострился, и шея вроде как вытянулась, и ресницы появились.

— А я знал, что мы встретимся, — наконец сказал Степан и вдруг облегчённо засмеялся: — Так оно и вышло!

— И я знала.

Пока Валя сдавала раненых, Степан разыскал старшину. Тот, не дослушав до конца его сбивчивых объяснений, отрезал: «В 18-00 доложишься!».

Степан взглянул на часы: 13-42. Значит, впереди четыре часа... Вернее, всего четыре... Ну не обидно ли: когда не надо, время девать некуда, а тут оглянуться не успеешь... И побежал к медсанбату.

Валя ждала его. Сапог она подвязала бинтом, чтобы не хлябал, грязь с лица стёрла.

— Ну как? — спросила она с волнением.

— Всё в порядке. Идём, — переводя дух, кивнул Степан.

Рудню Степан не знал, а раз так, какая разница, куда двигаться. Главное, уйти от медсанбата, от людей, остаться вдвоём хоть на короткое время.

По узкой грязной улочке они вышли к небольшому озерку. Возле него стоял полуразрушенный дом из жёлтого кирпича. У дома сгорбленный старик укачивал в самодельной коляске малыша. Малыш, по всей видимости, укачиваться не хотел, топорщил вверх пальчики, стараясь схватить склонявшийся над ним клинышек бороды. Старик терпеливо улыбался, укладывал ручонки на место и опять заводил колыбельную.

Эта неожиданно мирная картина так поразила Степана и Валу, что они замерли. Всего три дня назад здесь шли тяжёлые бои, рвались снаряды, проламывали себе дорогу танки, а сегодня — покой и тишина, и этот старик с младенцем у спокойно-чистого озера.

Валя спустилась к воде, сбросила телогрейку, достала из сумки с красным крестом крошечный обмылок. Умывалась она неторопливо, с видимым удовольствием, словно позабыв о Степане.

А он жадно следил за её ловкими, чуть резкими движениями, подмечал, как длинны и красивы теперь её руки, как, приседая, она сводит колени, какой у неё детски трогательный затылок.

Наконец Валя привела себя в порядок и знобко поёжилась:

— Ой, замёрзла, сил нет. Так бы ещё ничего, да ветер сильный.

Степан подал ей телогрейку и невольно обнял её. Она доверчиво прижалась к нему, стараясь унять дрожь.

Начал накрапывать давно собиравшийся дождь.

Старик торопливо покатил коляску к разрушенному дому. Степан и Валя последовали за ним.

Дом оказался разбитым гораздо сильнее, чем казалось снаружи. В нём уцелело лишь два подвальных помещения. В одно из них спустился старик. Другое зияло выбитым оконцем.

— Это для нас, — сказал Степан. — Костерок для уюта собрать, вот было бы дело... А что? — он вдруг вспомнил, что у крыльца валяются ящики из-под артиллерийских снарядов. — Погоди, я сейчас!

Он быстро перетащил ящики в комнату, раздёргал два из них на дощечки, сложил срубом, чтобы занялось лучше, и поджёг.

Валя радостно протянула руки к огню. Потом достала из сумки кусок сахара и четвертинку хлеба.

— А у меня ничего с собой нет, — виновато сказал Степан. — Разве кипятку согреть? — и выскочил под дождь, на этот раз за измятой кастрюлей, о которую споткнулся, таская ящики.

Потом они сидели друг против друга, держась за руки, колени в колени. Огонь освещал их лица, наполняя ровным спокойным теплом.

— Я как увидела тебя там, на дороге, даже испугалась, — тихо говорила Валя. — Думаю, а может, привиделось... Четыре дня в Рудню выбирались. Троих в пути схоронила, натерпелась... Слава Богу, не привиделось.

— Ну что ты, что ты, — утешал её Степан. — Хорошо ведь всё...

— Подумала, спросишь, как воюю, из вежливости... И дальше, — не слушая его, продолжала Валя. — А ты обрадовался. Я сразу почувствовала, что обрадовался.

В классе-то мы чужие были. И учились вместе недолго. Такое быстро забывается. Но ты, смотри-ка, не забыл... Стёпушка... — Она впервые назвала его по имени, не обращаясь, а утверждая, с нежностью и волнением, словно привыкая к чему-то новому, заветному.

— Не забыл.

— Когда ты на фронт с добровольцами уходил, я на станцию бегала. Тебя провожать. Только ты не видел... Очень много народу было. Я ведь о тебе всё знала... А тебе Тося Зубенко нравилась.

— И не нравилась вовсе.

— Нравилась. Да ничего. Она многим ребятам нравилась. Я ей завидовала за это. Обидно, когда на тебя, как на пустое место, смотрят. Я ведь не виноватая, что родилась некрасивой.

— Ты красивая, — убеждённо сказал Степан, чувствуя, как передаётся ему её волнение.

— Правда? — внимательно посмотрела на него Валя. — Почему ты тогда не поцелуешь меня?

Степан задохнулся от неожиданности, замер.

Валя пересела к нему, прижалась к стене спиной. Он наклонился к ждущим губам. На миг его испугало, что Храмова настолько открыта и податлива.

Она ощутила это его замешательство и отстранилась. Большие серые глаза её смотрели строго, изучающе. Степан испугался, что они могут разгадать сомнения, неожиданно выплеснувшиеся из тёмной неизведанной глубины его души, и торопливо припал к ним губами.

Он почувствовал, как содрогается под его руками тело девушки, не то от озноба, не то от беззвучных рыданий, как она пытается привстать, как отталкивает его остерёнными пальцами.

Да что же это такое? Ведь всего мгновение назад им обоим было так хорошо, так радостно, так необычно друг с другом.

— Ну, Валя... — горячечно зашептал Степан ей в волосы, сбившиеся на ухо, — Ну чо ты... Ну дурак я, ну ладно... Сам не знаю, что со мной...

Затихнув, она слушала его шёпот, оттенки этого шёпота, его перебивчивый пульс, сокровенный смысл. Потом счастливо засмеялась и зашептала:

— А ты ласковый. Это хорошо...

Степан гладил её шею, тонкие руки, целовал бережно, жалеючи. Она тянулась к нему, нежно задерживала возле себя, как могла, отвечала на каждое прикосновение, на каждое движение.

Пол прогрелся от затухающего огня. Степан медленно, боясь спугнуть объединяющую их с Валею затаённость, придвинул ногой к огню артиллерийский ящик.

За стеной шуршал дождь. Иногда он забрызгивал через серый провал окна в комнату, и тогда угли недовольно шипели, постреливая.

Валя неотрывно смотрела на Степана, словно старалась понять, хорошо ли ему с ней. И он смотрел на неё, и это не отталкивало, напротив, ещё больше сближало их...

Потом они по очереди грызли сахар, обжигаясь, отхлёбывали кипяток из ржавой кастрюли и тихо смеялись от переполнявшей их радости и освобождения.

— Жвака, — пришло на память Степану давнее, — помнишь, ты всё жевала?

— Это я потолстеть хотела, чтобы тебе понравиться.

— Придумала, да?

— И ничего не придумала. Говорю, как было. Сам-то всё пыжился... Локти в стороны, ноги по земле тянешь, и обязательно рубашку до пупа, чтобы все видели твою тельняшку... Помнишь, как волосы отпустил, а папаня тебя наголо остриг? Пришёл в класс лысенький, ну сиротинка сиротинкой! Девчонки над тобой подшучивают. Я тогда ещё с ними поссорилась.

— Да они на тебя внимания не обращали!

— А я всё равно поссорилась. Думаешь, самолюбия нет?

Степан внимательно посмотрел на Валу, и только теперь осознал, что самолюбие у неё действительно большое. И всегда таким было.

— Расскажи о себе, — попросил он.

— Какое это имеет значение, Стёпушка? — задумчиво выговорила она. — Важно, что мы вместе, что встретились. Может, если бы не война, так всё и осталось бы... Как прежде...

— Перестань, ну... Чего это ты за упокой?

— И не за упокой вовсе... Я теперь самая счастливая. Ничего мне больше не надо, Стёпушка. Не хочется никуда от тебя уходить. Да ведь придётся. Доживём ли, встретимся ли — вот о чём я думаю... А ты тихий, хороший, просто удивительно. Как ребёнок. Только очень уж колючий. Небось, дней пять не брился?

Она мягко высвободила плечо из-под его щеки, переложила по-матерински голову Степана на согнутую руку, запоминаясь склонилась над ним. В уголках губ её замерли просветлённость и скорбь, глаза сделались тёмными, глубокими, на лоб упала короткая прядка выгоревших волос.

Такой и запомнил её Степан.

Вечером следующего дня он вновь пришёл к дому у озера, долго сидел возле чёрного выгоревшего в полу отверстия. Потом наведалься в подвал к старику, чтобы поговорить о чём-нибудь, — безразлично о чём. У старика были усталые, словно неживые, глаза. Ребёнок спал в углу на каких-то лохмотьях. Девочка. У неё не было никакого имени.

Когда-то старик преподавал французский язык в женской гимназии, позже работал в советской школе. Жена его погибла в первые дни оккупации. Вот здесь, у этого дома, молодой немец просто так, балуясь, выстрелил в женщину с ребёнком. Выстрелил и ушёл. Девочка плакала, и старик подобрал её, унёс в подвал.

Степан рассказал старику про Валу, про их неожиданную встречу. Старик слушал безучастно, только иногда кивал седой головой и утирал слезящиеся глаза.

Неожиданно над ними что-то лопнуло, разорвалось. Подвал наполнился грохотом, пылью, стены задрожали, начали рушиться. Рядом со Степаном обвалилась балка. Он отпрянул, прижался к стене. Пыль запорошила глаза, забила рот, нос. Стало трудно дышать. Уши заложило

лязгом и уханьем. Сверху на Степана сыпалась земля. Он закрыл голову руками. Немного придя в себя, забеспокоился:

— Отец, ты живой?

Никто ему не ответил. Степан чиркнул спичкой. Старик стоял на коленях, прикрывая немошным телом ребёнка. Девочка несильно плакала.

— Ничего, отец, что-нибудь придумаем, — сказал Степан. — Наверное, бомбу кинули. А ещё говорят, в одно место два раза снаряд не падает.

Он то и дело чиркал спичками, ощупывая завал, и никак не мог найти отдушину, которую бы удалось расширить.

— Как девочка? — изредка спрашивал он. — Главное, выдержка. Ты, отец, многое пережил, потерпи ещё маленько.

Вместо ответа старик хрипло затащил колыбельную.

— Молодец, — похвалил Степан. — Так-то лучше...

Он нашёл железный прут и теперь орудовал им вместо лопаты.

Вскоре в ловушке не стало хватать воздуха, и Степан заработал лихорадочней. Он не думал о себе, он хотел только одного — облегчить страдания этих двух беспомощных существ.

Неожиданно в спёртое удушливое пространство начал просачиваться воздух.

— Ну вот! — обрадовался Степан и облизнул солёные губы. — Я ведь говорил... Полный порядок.

Он чиркнул последней спичкой.

Девочка лежала тихо, словно задремала. На лице её застыло недетское страдание. Рот замер в последнем крике. А старик всё шептал и шептал ей ласковые убаюкивающие слова...

И опять товарищи поразились:

— Ну, Степан, из такой передрыги выкарабкался! И зачем ты в тот подвал полез?

Степан ничего не ответил, замкнулся в себе. Видать, потерял улыбку в Рудне. Только у Лубаны, уже в Латвии,

очнулся в тот момент, когда командир полка, прикрепляя к его гимнастёрке четвёртую награду за недавние бои — орден Отечественной войны третьей степени, пошутил:

— Да у тебя, сибиряк, и места живого нет!

— Ничего, — задиристо улыбнулся Степан. — Живое место найдём, было бы что вешать!

— Правильно понимаешь задачу. Сто лет проживёшь.

«Мне и половины хватило бы...», — хотел было ответить Степан.

От Лубаны до Эргли два дня ходу. Полк одолел это расстояние за шесть суток. На седьмые Степана подстерёг в перелеске вражеский выстрел. И тогда он вспомнил предсказание про «первый звонок», Рудню и то, как воинственно держался, получая последнюю награду. Лучше бы смолчать, не дразнить судьбу, или договорить те слова, которые не успел досказать командиру.

* * *

Тугая горячая боль сковала тело, вдавила его в обманчиво тёплую землю. Степан ощутил ужас перед надвигающейся бездной.

Словно по команде, лягушонок сорвался с места и исчез, унося с собой безжизненную тишину. Лес наполнился приглушёнными свистами, шорохами, движением.

Ошибся немного отец, не учёл такой возможности: и грудь в орденах, и голова в кустах.

Бесконечно долго и мучительно Степан выползал из болотистой низинки, потом отдыхал, привалившись плечом к стволу расщеплённой снарядом берёзы. У ног тонко тенькнула пуля, потом другая, и он понял, что тот, кто в него стрелял, не ушёл, а затаился где-то поблизости.

Степан почувствовал, как в нём поднимается гнев, смытая недавнюю беспомощность. Ну это ещё посмотреть надо — кто кого! Это ещё проверить надо! Ишь, поденок, нет чтобы сойтись в открытом бою, исподтишка целится. Наверное, даже и не немец, а кто-нибудь из «лесных братьев». Немцев отсюда накануне выбили.

Он с трудом повернулся и выглянул из-за берёзы. Долго приглядывался к каждому кусту, к каждой ветке за поляной, аж глаза заслезились. Потом не увидел, а скорее почувствовал мгновенный отсвет сбоку. Такой отсвет могут дать очки, ствол ружья, оптический прицел, пуговица... Он повернулся, и только теперь заметил невдалеке прикрытый взгорком старый заброшенный сенник. Ну, конечно, пули прилетели оттуда.

От напряжения Степана стошнило. Переждав, пока боль в теле немного уляжется, он подтянул к себе карабин и долго устраивал его в расщелине. Страх отпустил его, уступив место единственному желанию — отомстить. Несправедливо это — отбирая у человека жизнь, не отдавать при этом взамен свою.

Долго Степан не мог разглядеть на сеннике ничего, потом заметил шевеление, но удержал себя: нет... ещё нет... Временами он впадал в забытие. Очнувшись, сосал холодный ребристый камешек и снова ждал.

Он не поверил своим глазам, когда увидел своего врага возле сенника. Видимо, тот решил, что дуэли не будет, и теперь покидал своё убежище.

Как бы не так.

Степан затаил дыхание и плавно спустил курок. Заметил, как вдалеке сломалась серая фигурка, и с облегчением выругался.

В полевом госпитале, после операции, он услышал о себе: «Если и выживет, то исключительно на нервах». Усмехнулся. Какие там нервы? Страх, любовь, ненависть... Трава кажется выше, если её топтали, а после этого она поднялась как ни в чём не бывало.

С тех пор Степану ещё не раз пришлось подниматься, как смятой траве.

В сорок пятом, когда узнал, что Валя Храмцова погибла в Польше. В сорок седьмом, когда в один день не стало ни отца, ни матери. В сорок девятом, когда от воспаления лёгких умер первый сын Степана. В шестьдесят первом, когда не вернулась со смены его Настя, чем-то похожая на Валю Храмцову. Как потом выяснилось на следствии,

строители небрежно уложили рельсовую дорогу, и башенный кран, на котором она работала, разорвав непрочную опору, рухнул на заготовленные впрок бетонные перекрытия. В ту пору Глаше минуло семь лет, а Мише три года.

* * *

Пятьдесят три года — много это или мало?

Не мало, пожалуй, но и не много. Смотря как считать. Глафира, по примеру матери, пошла работать на башенный кран. Говорит, мамка так хотела. Врёт, конечно. Пересилить себя решила, характер показать. Михаил десятилетку кончает. У обоих судьба ещё только завязывается, ничего определённого. Чтобы крепко на ноги стать, ох сколько всего перепробовать нужно.

Степан Матвеевич открыл глаза и удивился: бесхвостый воробей всё ещё сидел на полу.

Неожиданно Мишкиным голосом заорал усилитель:

— Внимание, внимание! Говорит радиоузел квартиры номер восемь. Сегодня у нас праздник: знатный слесарь человеческих душ Степан Матвеевич Кузнецов отмечает в кругу семьи своё пятидесятирёхлетие. Он полон сил и желания переустроить мир. Первой половины жизни ему на это не хватило. Но в запасе у него вторая — лучшая.

Следом без паузы грянул гимн.

Степан Матвеевич давно привык, что вся квартира опутана радиопроводами, повсюду стоят переговорные устройства, промежуточные динамики, усилители. Всё это Миша сам собрал и смонтировал буквально из ничего: старый радиохлам, детали детских игрушек и хозяйственных приборов. Лишь лампы купил в магазине да проводку. Теперь можно разговаривать с любым членом семьи из любого уголка квартиры.

В комнату влетела Глафира. Тело у неё узкое, по-мальчишески гибкое, сбитое. Руки крепкие, мозолистые; даже духи не в силах отбить запах машинного масла.

— Это тебе, — она вложила ему в руки электробритву «Эра». — Праздник — на вечер. А сейчас побалуемся чаем. Ну-ка вставай, лежебока!

Миша принёс свой подарок: миниатюрный, со спичечную коробку, радиоприёмник, который собрал сам.

Степан Матвеевич щёлкнул включателем. Из радиоприёмника хлынула тихая утренняя мелодия.

— Желаем тебе, папка, ещё пятьдесят лет прожить!

— Мне бы и половины хватило, — вспомнил вдруг свои далёкие слова Степан Матвеевич. — Только с одним условием... — он запнулся, помолчал и быстро докончил: — Чтобы вы у меня крепко на ноги встали. Чтобы всё у вас шло правильно, по-человечески. Иначе никак не соглашусь.

— Идёт! — кивнул Миша.

— Михаил, а ты случаем не знаешь, сколько живут эти... воробьи?

— Нет. А что — надо? Так я сейчас, мигом к соседям сбегая. У них «Жизнь животных» имеется. Там всё от и до.

Через несколько минут он вернулся.

— Хотите верьте, хотите нет, а только больше половины всех птиц на Земле — это воробьиные, — возбуждённо доложил он. — У каждой своя биография. Ворон — тот шестьдесят и семьдесят лет живёт. Дрозд или жаворонок — двадцать. Ласточка — девять. Ну а домовый воробей — лет тринадцать, не больше. Конечно, если ему не мешать, мог бы и больше, но ведь это редко бывает.

— Значит, я уже четырежды воробей. Эх... — задумчиво сказал Степан Матвеевич. — Всех бы четырёх отдал, чтобы ласточки дольше жили... И воробьята.

Душа сражения

Очерк

«Любите подвиг»

Первый в Томске школьный музей боевой славы родился в декабре 1966 года. Это было непростое время. Приближалась двадцать пятая годовщина героической Сталинградской битвы, но имя Сталина уже исчезло из названий городов, посёлков, предприятий, улиц, парков, организаций, которые его прежде носили. Сталинград ещё в 1961 году стал Волгоградом. Если придерживаться формальной логики, то и название Сталинградской битвы следовало привести в соответствие с этим переименованием. Но историю не переименуешь.

Вот и решила учительница немецкого языка 34-й томской школы Людмила Демьяновна Дорохова отметить памятную дату, не обходя при этом имя и выдающиеся заслуги Верховного Главнокомандующего. Заручившись поддержкой директора школы Анны Алексеевны Петровой, ведущей историю в старших классах, она пригласила на урок мужества участников Сталинградской битвы — фронтового разведчика Владимира Николаевича Зоркальцева, военврача Веру Ивановну Малахову и связиста Николая Васильевича Зверева. Свой боевой путь они начинали в 284-й стрелковой дивизии, сформированной в Томске, — той самой, что вскоре после беспримерного сражения за Сталинград была преобразована в 79-ю Гвардейскую и дошла до Берлина в «звании» четырежды орденоносной Запорожской...

Гости и впрямь выглядели гвардейцами. Старшему — лет сорок пять, не больше. Лица ясные, выразительные, речь меткая, образная. Движения несколько скованные, не всегда ловкие, — вероятно, от фронтовых ран и контузий, но это в глаза не бросалось. Глядя на них, трудно

было представить, что 137 дней и ночей вместе с другими защитниками Сталинграда эти люди провели в непрерывных боях за ключевую позицию города-героя — Мамаев курган, что курган этот в те дни напоминал окутанный клубами дыма и пепла огнедышащий вулкан, но именно с его вершины уже зимой 1942 года они, а вместе с ними вся страна, явственно увидели поверженный Берлин и великую Победу.

Радуюсь контакту, возникшему между учениками и фронтовиками-сталинградцами, Людмила Демьяновна вспомнила наказ Максима Горького молодёжи:

— Любите подвиг, и вы совершите его! — затем пояснила: — Сегодня, ребята, вы узнали о подвиге Сталинграда от его непосредственных участников. Но это только начало. Давайте подумаем, как расширить и углубить наши знания.

— А тут и думать нечего, — подал голос Зоркальцев, — Мы... то есть томский совет ветеранов дивизии... не первый год собираем архивные документы, воспоминания, фотографии и другие материалы о боевом пути нашей дивизии. Подключайтесь, не пожалеете. Будет где вашу горячую энергию приложить.

— Как подключаться-то? — запереглядывались старшеклассники.

— Для начала — путём переписки. Через школы, через военкоматы, через родных и знакомых. Куда только война сибиряков не разбросала! По их нынешним адресам географию страны изучать можно. В том списке, что мы составили, уже около ста человек иногородних, да томичей больше двадцати, да десять однополчан из районов области. Я вам так скажу, комсомолята: ничто человеческую душу так не открывает, как письма. Тем более фронтовые.

— А дальше?

— Дальше видно будет. Вы, конечно, слышали, что в других городах создают школьные музеи боевой славы? А Томск чем хуже? Главное — захотеть. Это и будет «любите подвиг»...

В классе воцарилась возбуждённая тишина. Оно и понятно: в пятнадцать-шестнадцать лет дух соревновательности особенно обострён.

— Спасибо за подсказку, — поблагодарила гостей Анна Алексеевна. — За приглашение к совместной поисковой работе — тоже. Мы подумаем. Правильно я говорю, ребята?

— Правильно! — раздалось в ответ нестройные голоса.

— Ну тогда я вам стихи напоследок прочитаю, — Зоркальцев извлёк из нагрудного кармана вчетверо сложенный листок и, развернув его, пояснил: — Стихи не мои. Их фронтовой поэт Михаил Львов сложил. Правда, воевал он на другом фронте. Но словно про нас, — и, волнуясь, далеко не артистическим голосом прочитал:

Чтоб стать мужчиной — мало им родиться.
Чтоб стать железом — мало быть рудой.
Ты должен переплавиться. Разбиться.
И, как руда, пожертвовать собой...

Готовность к смерти — тоже ведь оружие.
И ты его однажды примени.
Мужчины умирают, если нужно,
И потому в веках живут они...

С того урока и началась дружба учеников 34-й школы с ветеранами 79-й Гвардейской дивизии. Шло время. Связи учеников и ветеранов крепили. Музей рос, обустроивался.

В 1969 году Анна Алексеевна Петрова сформировала поисковый отряд из старшеклассников, преподавателей и ветеранов дивизии. Состав: двадцать человек. Среди них — знакомый уже нам Николай Васильевич Зверев и фронтовой почтальон Антонина Дмитриевна Дарьенко. Маршрут: Томск — станция Касторное Курской области (здесь, в одном из самых кровопролитных сражений, дивизия получила боевое крещение) — Сталинград — Славяногорск на Северском Донце — Одесса — Москва.

Немало реликвий привезли следопыты из того похода: снайперскую винтовку, пулемётный диск и треногу, гильзы и осколки от снарядов, обугленные патроны, фляжку, пилотку, солдатскую гимнастёрку, несколько номеров многотиражной газеты «За Победу», которую выпускала 284-я стрелковая дивизия, памятные снимки, и даже не очень складные, зато искренние стихи командарма Чуйкова на смерть комдива Батюка: «Он был героем среди нас...».

В номере от 1 января 1943 года газета «За Победу» поместила письмо школьников одного из прифронтовых сёл защитникам Мамаева кургана. В нём говорилось:

«...С Новым годом, дорогие бойцы, командиры, лётчики, политработники! Мы очень волнуемся и с большой-пребольшой радостью следим за вашими успехами на фронте. Бейте фашистов и скорей освобождайте города и сёла от немецкого ига. Потому что в городах и сёлах дети ждут вас очень. Они хотят жить и свободно учиться, как прежде. Поэтому наши ученики собрали деньги, 3 749 рублей, на постройку самолёта. А ещё собрали новогодние подарки: платочки носовые, варежки, табак и другие разные вещи. Это для вас, дорогие защитники Сталинграда. Ещё мы желаем вам здоровья и успехов в борьбе с немецкими солдатами и офицерами противника. А если вы ответите на это письмо, мы очень будем рады и спасибо вам большое пионерское. Ещё воюйте лучше, а мы учиться будем на «хорошо» и «отлично» и помогать вам будем. А на следующий Новый год, когда закончится война, мы пригласим вас к нам на ёлку, и будет светло, а окна закрывать уже не будем.

От имени учеников 3-го класса подписали отличники: Валя Трубачева, Женя Олейников, Галя и Юра Лапидус, Коля Никитин и Тося Гришина. Село Заплавное Средне-Ахтубинского района Сталинградской области».

Итогом той поездки стали многочисленные встречи её участников в школах, на предприятиях, в молодёжных коллективах Томска и области, публикации в газетах, выступления по радио и на телевидении, «музейные часы».

Всё это побудило томский горисполком назвать одну из новых улиц жилого микрорайона Каштак именем 79-й Гвардейской дивизии.

Это был первый шаг по увековечиванию её подвига на томской земле. Предстояло сделать второй — на основе собранных материалов создать книгу о дивизии и её боях. Тут-то и проявил инициативу Зверев:

— Писатель из меня никудышный, — честно признался он, — но тут дело особое. Книга должна быть точной и достоверной. А я всё изнутри знаю. И с документами работать привык. Изложу события, как сумею, а слог и отредактировать можно...

В ту пору Николай Васильевич возглавлял планово-экономический отдел Томского треста пригородных совхозов. Свободного времени у него, конечно же, не было, зато был твёрдый целеустремлённый характер, а ещё чувство долга перед памятью погибших товарищей и солдатское упорство.

Так вот и появилась в 1974 году книга Н. В. Зверева «В пламени и славе». Отредактировал её сотрудник томской областной газеты «Красное знамя», писатель Вадим Макшеев, а издать помог политический отдел Томского военкомата.

В 1978 году активисты музея побывали в Москве на Выставке достижений народного хозяйства СССР (ВДНХ), представили собранные ими документы и экспонаты в павильоне «Народное образование», приняли участие в конференции по военно-патриотической работе среди школьников и — самое незабываемое! — встретились с командующим 62-й армии, защищавшей Сталинград, маршалом Советского Союза Василием Ивановичем Чуйковым. Навсегда врезались в память томских следопытов его слова о том, что 284-я стрелковая дивизия и её командир Николай Филиппович Батюк стали душой сражения за Мамаев курган.

Домой томская делегация вернулась окрылённая. И было отчего. Школьная экспозиция получила диплом первой степени ВДНХ, а ученики и учителя — почётные

грамоты и медали — золотую, серебряную и бронзовую. Столь высокая оценка их деятельности не только радовала, но и обязывала...

Восемь лет собирал материалы о боевом пути 79-й Гвардейской дивизии другой её ветеран — подполковник в отставке Владимир Станиславович Яцкевич. Не раз побывал он в Сталинграде. Тамашние следопыты передали ему полуистлевшую тетрадь, найденную в развалинах Мамаева кургана. Многие её страницы, исписанные то чернилами, то химическим карандашом, размылись. По оставшимся записям Яцкевич установил, что это дневник его однополчанина, помощника начштаба 1047-го полка 284-й стрелковой дивизии майора Николая Никитовича Аксёнова. Выпускник исторического факультета Томского педагогического института, а затем Новосибирского пехотного училища, войну Аксёнов начал командиром пулемётной роты. В боях под Касторной проявил оперативную сметку и находчивость. В Сталинграде стал офицером оперативной части полкового штаба, а заодно летописцем своего подразделения. Такую обязанность возложил на него комполка Иван Иванович Метелев.

— По образованию ты историк, — напомнил он молодому штабисту, — Вот и действуй. Чтоб дети и внуки знали, какое у нас тут боевое соревнование было...

Последние записи в тетради Аксёнова датированы ноябрём 1942 года. Вчитаемся в них:

— 7 ноября. Сегодня в полку была дивизионная партийная комиссия. Вручали партийные билеты вновь принятым в партию. Принимая билет из рук начальника политотдела батальонного комиссара Ткаченко, сержант Медведев взволнованно заявил: «Я с честью оправдаю высокое и почётное звание коммуниста... ещё сильнее буду громить и уничтожать немецких захватчиков...».

Утром посетил артиллеристов и миномётчиков и от имени командования поздравил их с наступившей 25-й годовщиной Великого Октября.

Во взводе младшего лейтенанта Арбатского ознакомился с Боевым листком. Он мне очень понравился, и я

выпросил его на память. Текст привожу: «Включившись в предоктябрьское соревнование, наш взвод неплохо поработал. Сравнительно за короткий промежуток времени, с 25 сентября по 7 ноября 1942 года, огнём наших миномётов уничтожено три автомашины, десятки подвод с грузом, два миномётных расчёта, три блиндажа и до двухсот немецких солдат и офицеров. Особенно хорошо поработали командир орудия Архипов, связист Егоров, наводчик Жуков, заряжающие Стародубцев и Осипов и подносчик снарядов Молчанов. Берите с них пример!».

9 ноября 1942 года. Вчера вечером было проведено делегатское партийно-комсомольское собрание, на котором подвели итоги предоктябрьского соревнования. Первое место занял 2-й стрелковый батальон, уничтоживший с 1 октября по 6 ноября семьсот тридцать три гитлеровца.

Сегодня прошёл слёт лучших снайперов полка. Они взяли обязательства к 25-й годовщине РККА довести счёт уничтоженных офицеров от ста до трёхсот на каждого...

11 ноября. На участке метизного завода произошёл бой. Противник неожиданно бросился вперёд и ворвался на территорию завода. Командир пулемётной роты старший лейтенант Большаков начал из окна бросать гранаты в немцев. Пулемётчики открыли огонь. Враг повернул обратно. В это время подоспела разведка полка под командой Зоркальцева. В завязавшейся схватке немцы были перебиты. Двое взяты в плен. Один из них держался очень нагло и вызывающе, прямо заявил, что является членом фашистской партии. Чувствовал себя победителем, никаких знаков подавленности. Его отправили в штаб дивизии...».

На этом записи Аксёнова обрывались. Было похоже, что вместе с ними оборвалась и его жизнь...

Как же обрадовались Яцкевич и его боевые друзья-томищи, когда от членов «московского землячества» пришло сообщение, что Николай Никитович жив, хотя и не очень здоров. После тяжёлой контузии в ноябре 1942 года он попал в госпиталь. Подлечившись, вернулся на фронт, но уже помощником начальника оперативного отдела

штаба 3-го Украинского фронта. День Победы встретил в Вене. После войны преподавал педагогику в Московском кооперативном институте. Живёт в Мытищах. Как был, так и остался фронтовым летописцем: его статьи и заметки о военных испытаниях часто появляются в столичной печати.

А вскоре Аксёнов и сам побывал в Томске. Приближалось сорокалетие со дня создания 79-й Гвардейской дивизии. Вместе с другими ветеранами получил приглашение на юбилей и он.

До слёз взволновала его встреча с городом студенческой юности, с однополчанами, жившими после войны не только в Сибири, но и в Казахстане, Прибалтике, Белоруссии, центральной России, с активистами музея боевой славы 34-й школы и, конечно, с Владимиром Станиславовичем Яцкевичем. Ни слова не говоря, тот выложил перед ним его «сталинградскую тетрадь», а рядом текст восстановленных страниц.

Не сразу понял Аксёнов, что это за тетрадь, а когда понял, взял ручку и стал дописывать размытые слова, фразы, абзацы. Надолго задумывался, вспоминая былое, то хмурился, то улыбался, сосредоточенно шевелил губами. Наконец устало закрыл дневник:

— На первый раз хватит. Тут ещё много расшифровывать осталось, — и признался: — Я, а будто и не я писал... Время-то какое было? Иной день так спрессован, что годом казался. Столько событий вокруг, что голова не вмещает... Да и память уже не та. Износилась память.

— Ничего, — успокоил его Яцкевич. — Вместе мы её расшевелим — станет как новенькая. Я ведь документальное повествование о нашей дивизии пишу. Одна из её глав будет называться «Сталинградские записки майора Аксёнова». Не возражаешь?

— Не возражаю, — подтвердил Аксёнов. — Это наш долг.

В 1984 году он получил долгожданную бандероль с книгой Яцкевича «Сибирская гвардейская», вышедшей в Западно-Сибирском книжном издательстве. А в 1995 году

отдарился своей документальной повестью «Малахов курган», изданной в Москве уже в перестроечное время.

Увидели свет книги и других ветеранов 79-й Гвардейской дивизии. Прославленный снайпер 1047-го полка, Герой Советского Союза старшина В. Г. Зайцев опубликовал воспоминания «За Волгой для нас земли не было», начальник дивизионной разведки В. В. Графчиков — записки войскового разведчика «В боях за Мамаев курган», а командир батальона морской пехоты М. А. Ильгачкин — документальную повесть «Тихоокеанцы в боях за Сталинград». Сюда же можно отнести документально-художественную книгу известного советского писателя Ивана Падерина «На главном направлении». В 1942 году он был старшим инструктором политотдела 62-й армии, хорошо знал командиров и солдат 284-й дивизии, и многих из них зримо описал на страницах своего произведения.

Так сложилась небольшая, но весьма содержательная библиотечка, посвящённая ратному труду и подвигу 79-й Гвардейской дивизии. Вместе с ней сложились традиции музея боевой славы томской школы № 34. Главная из них — помнить, хранить, равняться. Равняться, несмотря на то, что нет больше Союза Советских Социалистических Республик и той страны, которую вместе со всем народом на полях многочисленных сражений Великой Отечественной войны защищали сибиряки.

Батя

С командиром дивизии повезло. Сформировать её было поручено подполковнику Батюку, уже побывавшему в боевых сражениях на Северо-Западном фронте. Там он — в звании майора — командовал стрелковым полком, со знаменем в руках сам водил его в атаку, дважды вырывался с ним из окружения. В характеристике, которую дал ему командующий 27-й армии Н. А. Берзарин, об этом сказано так:

«В ряде боёв лично выдвигался вперёд, увлекая за собой бойцов, одновременно не теряя управление полком. В критические минуты боя спокоен, не теряется и не теряет управление частью. Тактически подготовлен хорошо. За отличие в боях и за успешное выполнение боевой задачи в районе Каменки в первых числах августа 1941 года представлен к правительственной награде. Достоин выдвижения на высшую должность».

И вот Батюк в Томске. Собрав командный состав, представился:

— Родом я с Украины. В Сибири никогда прежде не был. Приказ наркома обороны товарища Сталина о назначении меня командиром сибирской дивизии считаю для себя большой честью и огромной ответственностью. Верю, что дивизия покажет себя такой же высоко боеспособной, как те сибирские дивизии, которые отличились в боях за Москву. Но для этого нужно как следует потрудиться. Вижу своё и ваше место не в штабных кабинетах, а в поле, на тактических учениях, максимально приближенных к боевой обстановке. По опыту знаю, что немецкие солдаты и офицеры хорошо обучены, имеют опыт современного боя, быстро ориентируются на местности, и так же быстро умеют создавать мощную огневую систему. Самое сильное оружие у них — танки. Отсюда наша первая задача — научиться бороться с танками. Вторая — учесть всех, кто уже воевал, присвоить им досрочно воинские звания и повысить в должности. Это наш костяк, наша опора. Третья задача — крепить связь с жителями Томска. Ведь именно он объединил нас, а это ко многому обязывает...

Слушая комдива, его подчинённые начали понимать, почему этот молодой (всего 36 лет!), невысокий, худощавый, с простым усталым лицом подполковник назначен на генеральскую должность. Да потому, что это военачальник суворовского типа — прямодушный, бывалый, знающий, что необходимо солдату. И фамилия у него подходящая. Так и хочется сказать — Батя...

Полгода напряжённых учений по программе Батюка и личное мужество солдат помогли дивизии летом 1942

года, не имея ни танков, ни авиации, остановить танковую армию противника в районе узловой станции Касторное. Пять суток дивизия сдерживала натиск немецких танков и пехоты, рвущихся к Воронежу, до которого оставалось всего 80 километров. Затем, оказавшись в окружении, Батюк выдвинул на открытые позиции значительную часть дивизионной артиллерии — и прямой наводкой буквально проломил выход из кольца. Это был рискованный шаг, никакой военной теорией не предусмотренный.

Не предусмотрены ею и такие действия солдат — цитирую комиссара батальона А. Соловьёва: «Рядовой 6-й роты Е. Попов подбил танк связкой гранат, а когда у него кончились гранаты, схватил попавший под руку топор, залез на движущийся танк, и ударом топора согнул ствол пулемёта. Танк повернул назад. В этом жарком бою героически действовал и ездовой Некрасов. Обеспечив подразделение боевыми припасами, он решил помогать своим товарищам на поле боя. Некрасов подобрал у раненого бойца броневой бойку, зарядил её, и двумя выстрелами поджёг бронетранспортёр. «А теперь, — сказал он своим товарищам, — я привезу термосы и накормлю вас горячим обедом».

152 танка, 15 самолётов, около четырёх тысяч солдат и офицеров вермахта уничтожила дивизия Батюка у станции Касторное. Чуть меньше — 124 танка, 12 автомашин, полторы тысячи пехотинцев — у деревень Озерки и Перекоповка.

Именно там, под Перекоповкой, расчёт чудом уцелевшей 76-миллиметровой пушки (командир орудия сержант Акиншин, красноармейцы Вяткин, Копонов, Осадчий, Ромашов, Панин, Пиров и Пончиков) уничтожил четыре автомашины, около 100 автоматчиков и 14 танков. Командовал ими выпускник Томского артиллерийского училища комбат Илья Шуклин. Заменяв раненого Акиншина, четыре танка подбил лично он. Затем и сам был ранен. Батюк представил Шуклина к званию Героя Советского Союза, а его товарищей к боевым наградам.

Поставленную задачу дивизия с честью выполнила, но и сама была обескровлена. Для отдыха и доукомплек-

тования её перевели в резерв Ставки Верховного Главнокомандующего и направили в уральский город Красноуфимск.

Здесь в клубе железнодорожников комдив собрал оставшихся в строю командиров и политработников и предложил сделать разбор боевых действий дивизии на Брянском фронте. Особо попросил остановиться на недостатках, упущениях, неиспользованных возможностях и — желательно! — предложить свои схемы и советы по более разумному распределению сил, ликвидации «узких мест».

Обсуждение получилось бурным и откровенным. Всё ценное тут же было обобщено. Стало ясно, на что при переподготовке следует обратить первостепенное внимание.

6 сентября 1942 года Батюка вызвали в штаб Уральского военного округа. Уже в Свердловске он узнал, что с ним по прямому проводу будет говорить нарком обороны.

Долго ждать не пришлось. Деловито поздоровавшись, Сталин спросил:

— Готовы ли вы и ваша дивизия, товарищ Батюк, выполнить новую боевую задачу?

— Готовы, товарищ Сталин! — эхом откликнулся тот. — С учётом трёх тысяч курсантов военных училищ и двух с половиной тысяч моряков Тихоокеанского флота, которые к нам уже направлены, дивизия укомплектована полностью. Подавляющая часть личного состава, сосредоточенного в Красноуфимске, имеет опыт фронтовых действий. Точнее: каждые четыре красноармейца из пяти. С ними я готов в огонь и в воду. Морально-политическое состояние дивизии считаю высоким. Жду ваших распоряжений, товарищ нарком.

— Это хорошо, что в своих подчинённых вы уверены, — в голосе Сталина появились одобрительные нотки. — Так и должно быть. Каков личный состав, такова и личность командира. Обещаю, товарищ Батюк, будет вам и огонь, и вода, и медные трубы. — Затем прежним деловым тоном

сообщил: — Мы решили направить вас на Сталинградский фронт. Срочно грузите дивизию в эшелоны и отправляйтесь к месту назначения. Я думаю, что вы оправдаете доверие Ставки. Желаю успеха...

Уже 8 сентября дивизия была в пути. Колёса торопливо отстукивали:

— В Сталинград! В Сталинград! В Сталинград...

«Стоять насмерть!»

Язык журнала боевых действий 284-й дивизии сух и лаконичен. О прибытии сибиряков в Сталинград в нём сказано так:

«В ночь на 21 сентября 1942 года дивизия начала форсировать р. Волгу. Первым форсировал Волгу 1043-й полк. В ночь с 21 на 22 сентября форсировали Волгу 1045-й и 1047-й полки. 22 сентября начали наступление согласно приказу».

За этими скупыми строками стоят события поистине драматические. Прорвав оборону защитников Сталинграда, ударные части шестой армии генерал-фельдмаршала Паулюса захватили почти весь Мамаев курган, центральную пристань и районы, прилежащие к ней. Ещё немного, и они овладеют переправой через Волгу, за которой открывались тылы 62-й армии генерал-лейтенанта В. И. Чуйкова. Сам Чуйков и его штаб находились на правом берегу, в огненном пекле.

Туда под покровом сумерек и устремился на быстроходном катере комдив Батюк. Над Волгой, подвесив в воздухе «фонари», всё ещё кружили немецкие самолёты. Опасаясь пулемётно-миномётного обстрела с берега и усеявших реку «плавсредств», они вываливали на них бомбы с большой высоты и спешили прочь. Вода вокруг буквально кипела. А впереди, объятый огненным заревом, высился обугленный Сталинград. Казалось, там не осталось, да и не могло остаться ничего живого. Но город продолжал сражаться...

Командный пункт 62-й армии находился в хорошо укреплённой «трубе» одного из приречных оврагов. Сюда и привёл Батюка связной.

— Ну, как первое впечатление, комдив? — испытующей улыбкой встретил его Чуйков. — Не страшно?

— Да вроде нет, — последовал ответ. — Сибиряки народ не пугливый, товарищ генерал-лейтенант. Под Касторной обстрелялись, — и доложил о готовности дивизии к боевым действиям.

— Добро, — внимательно выслушав комдива, кивнул Чуйков и переключил его внимание на карту: — Тогда слушай. Положение на текущий час такое. 13-я дивизия генерала Родимцева сбита с позиций здесь и здесь. Но Мамаев курган он частично вернул, а пристань и участки в полосе от устья Царицы до площади 9 Января по-прежнему в руках противника. Отрезаны от армии 42-я и 92-я стрелковые бригады. 112-я дивизия Ермолкина отступила сюда, а 95-я Горишного закрепились здесь. Твоя задача: во что бы то ни стало помочь им сомкнуть линию обороны, восстановить положение в районе пристани и намертво закрепитесь в береговой полосе и на Мамаевом кургане...

Разобравшись в сложившейся обстановке, Батюк связался по рации с командиром 1043-го полка майором Ульяновым и велел ему начать переправу.

Прямо с огромных барж, каждую из которых буксировал обычный речной катер, полк вступил в бой. На шквальный огонь с высокого берегового уступа он ответил огнём из станковых пулемётов и 82-мм миномётов. Под их прикрытием автоматчики попрыгали в воду, а затем, стреляя, во главе с комбатом Сизовым прорвались на откос. Зацепившись за берег, они развили наступление. Впереди шли моряки-тихоокеанцы, навязывая противнику рукопашные схватки. О том, что это были именно моряки, говорили выглядывающие из-под гимнастёрок тельняшки, лихие бескозырки и ленты, зажатые зубами.

Неожиданно небо испятнали зловещие «сигары» немецких бомбардировщиков. Звено за звеном проносились

они над головами, сбрасывая свой смертоносный груз. Земля содрогалась от бесконечных взрывов. Но едва налёт прекратился, из руин и воронок, будто заговорённые, поднялись уцелевшие бойцы и ринулись в атаку. Оказавшиеся в одной с ними полосе поражения немцы дрогнули и панически отступили. К вечеру полк занял территорию мясокомбината.

Столь же успешно переправился через Волгу и занял рубеж между Мамаевым курганом и улицей Батальонной полк 1047. А 1045-му пришлось одолевать тридцатиметровую полосу полыхавшей у берега нефти. Многие бойцы получили сильные ожоги, но все без исключения оставались в строю.

Всего за несколько дней, выполняя приказ командарма Чуйкова, дивизия Батюка где на два, а где и на три километра отбросила от переправы пехоту и танки противника, овладела корпусами метиза (завод металлических изделий), сразу на нескольких направлениях вывела из окружения части 13-й стрелковой дивизии генерала Родимцева и помогла им соединиться с 112-й, а сама на высоте 102,0 Мамаева кургана встретила с бойцами 95-й стрелковой дивизии Горишного...

Журнал боевых действий 284-й стрелковой дивизии рисует эти события по-военному пунктуально:

«23.09.42 получен приказ штабарма (то есть штаба армии — С.З.) наступать в направлении улиц Бакинская и Солнечная и к утру 24 сентября выбить противника из северной части города и овладеть районом: угол Хопёрской улицы, Свирской, Железнодорожной, угол Солнечной улицы, Коммунистической и площадь 9 Января.

По приказу командира дивизии полки перешли в наступление. 1045-й полк — на левом фланге вдоль железной дороги по улицам 3-я и 2-я Набережные, 1047-й — по Коммунистической, с общей задачей охвата противника и овладения районом площади 9 Января.

Бой принял ожесточённый характер, неоднократно дело доходило до рукопашных схваток. Противник яростно контратаковал, но все попытки его возвратить

утерянное потерпели неудачу. Дивизия прочно закрепи-
лась на достигнутых рубежах.

За это время уничтожено до тысячи солдат и офицеров
противника, четыре миномётных батареи и три станко-
вых пулемёта».

Но и дивизия Батюка уже за три первых дня в Сталин-
граде потеряла 1587 человек. Настолько ожесточёнными
были эти бои.

— Сибиряки дрались выше всяких похвал, — сказал
ему при встрече Чуйков. — Так держать, Николай Филип-
пович! Ставлю тебе новую задачу. Завоёванные позиции
сдать генералу Родимцеву. Его дивизия более четырёх
тысяч пополнения получила. А сам перейдёшь на пози-
ции 112-й и 95-й. Сейчас для нас главное — организовать
жёсткую оборону Мамаева кургана. Справишься?

— Так точно, товарищ генерал-лейтенант. Справлюсь!

— Тогда вот, — Чуйков открыл коробочку с нагрудным
знаком 62-й армии. — Раньше вручить не удалось. Носи,
да так, чтоб все видели!

Лицевую сторону знака украшало скульптурное изо-
бражение воина и надпись: «Стоять насмерть!».

Батюк понял: это посвящение в армейское братство и
одновременно наказ. А наказания, как и приказы, не обсуж-
дают — их исполняют...

Передислокацию дивизии пришлось проводить, не вы-
ходя из боёв.

27 сентября, после артобстрела и ковровой бомбёжки,
крупным силам немецкой пехоты удалось сломить обо-
рону защитников Мамаева кургана на позициях 95-й
стрелковой дивизии. От неё осталось не более ста чело-
век. Но удержали свою линию обороны бойцы 284-й ди-
визии. А 28 сентября три её штурмовых батальона, рота
курсантов, триста пятьдесят «ранбольных» доброволь-
цев из эвакуационного пункта и сводный полк комдива
Горишного вновь овладели юго-восточными склонами
Мамаева кургана. Восемь часов длился этот ожесточён-
ный штурм — и каждый из этих восьми стал часом массо-
вого героизма.

Тогда и перенёс Батюк свой наблюдательный пункт на вершину ставшего легендарным Мамаева кургана. Сапёры надёжно укрепили и замаскировали его. Отсюда хорошо просматривались рабочие районы города, лощины и овраги, широко разлившаяся матушка-Волга и по-осеннему жёлтое, уходящее вдаль заречье. Как на обожжённой карте, опытный взгляд Батюка читал расположение противоборствующих сторон, передвижение войск, скрытые манёвры военачальников разных рангов и степеней. Каждый день, преодолевая сильные ревматические боли в ногах, он поднимался сюда. Это был его солдатский окоп — один из тысяч окопов воюющего Сталинграда.

«Обороняясь, наступать!»

Так сформулировал тактику боя на отведённых ему позициях комдив Батюк. Она разительно отличалась от той, что помогла выстоять его дивизии у станции Касторное, у Озерков и Перекоповки. Опыт первых боёв в полуразрушенном Сталинграде показал, что на городских улицах лучше действовать небольшими штурмовыми группами, изматывая противника ночными вылазками, навязывая ему рукопашную, которой он больше всего боится, делать каждый дом крепостью, каждую улицу — неприступным бастионом.

Наиболее яркие приёмы этой тактики запечатлела дивизионная газета «За Победу». Вот небольшая цитата из устава штурмовых групп 284-й стрелковой дивизии:

«Вооружение бойца — автомат, ручная граната и нож. Поведение в бою — смелость, смекалка, дерзость. Действие — врываюсь в дом вдвоём — ты да граната. Граната впереди, ты за ней. Фашист засел в подвале — бутылку с горючей смесью туда или струю огнемёта — выскочит».

Чувствуется, что этот боевитый текст сочинили лихие бойцы из штурмовых групп лейтенанта В. Максимова, или из батальона старшего лейтенанта Н. Сизова, а мо-

жет быть, из взвода, командование которым в одном из штыковых боёв принял на себя матрос-комсомолец Н. Пономарчук... Они, а вслед за ними другие, захватив одно из зданий на своём участке боевых действий, тут же превращали его в неприступный опорный пункт. Первый этаж занимали артиллеристы и бронебойщики, второй — пулемётчики, третий, а если был четвёртый, то и его — автоматчики, снайперы, гранатомётчики, наблюдатели. Попробуй прорваться сквозь многоярусный огонь такого дома-крепости.

Проникнув в тыл противника, мобильные группы ухитрялись устроить на заводских трубах наблюдательные пункты для корректировки прицельного огня дивизионной артиллерии. Один из таких НП они оборудовали на сорокаметровой трубе завода «Красный Октябрь». С него были видны немецкие позиции не только перед Мамаевым курганом, но и за ним, на северо-западе Сталинграда.

По примеру того же комбата Сизова многие подразделения дивизии «лезли на рожон» — иными словами, не соблюдая нейтральную зону, вплотную подступали к позициям противника. Это приводило в замешательство асов немецкой авиации. Опасаясь разбомбить вместе с защитниками Мамаева кургана свои части, они почти полностью прекратили налёты на улицы у его подножья.

А командир миномётной роты В. Шумов разработал весьма простую и удобную таблицу сигнальных ракет. В разгар боёв она с успехом заменяла часто рвущиеся телефонные линии, без которых невозможно вести прицельный огонь и поддерживать постоянную связь частей и подразделений.

Не ударили в грязь лицом и сами телефонисты. Каждому из линейных надсмотрщиков (это военный термин, а не метафора) приходилось устранять в день до пятнадцати порывов, чаще всего под непрерывным огнём противника. В один из таких дней томич Прогресс Смирнов восстанавливал связь неподалёку от нефтяных баков на берегу Волги. И вдруг один из них взорвался. Огненная

лава хлынула вниз, сжигая всё на своём пути. Но боец не растерялся. Вместе с горящим проводом он успел прыгнуть в реку и там, в ледяной воде, соединить его концы. Связь была восстановлена.

Этот случай подсказал специалистам ценную мысль: даже небольшой слой воды надёжно укроет телефонный кабель от огня и снарядов. Значит, надо использовать реки как защитный материал — протягивать провод по дну Волги, Царицы и других её притоков.

Чудеса точности и скорострельности показывали артиллеристы и миномётчики. 30-40 снарядов в минуту обрушивали на врага боевые расчёты лейтенантов Ю. Григорьева и А. Борисова. Это намного превосходило существовавшие тогда нормативы стрельбы. Наткнувшись на столь мощный залповый огонь, атаки врага захлёбывались.

Однако уже к середине октября немецкая авиация разбомбила значительную часть зенитных установок и пушек ЗИС-3 на Мамаевом кургане. Воевать против «хейнкелей» и «юнкерсов» противотанковыми ружьями дело, казалось бы, неподъёмное — длинный ствол и немалый вес мешают выцеливать самолёт противника, идущий буквально над головой. Но сержант Плешаков и тут нашёл выход. Раздобыв колесо от телеги, он надел его на вбитую в землю ось, а на колесо установил бронебойку. Ну чем не зенитная установка? Ложись под колесо и крути его, куда надо, следуя за вражеским бомбардировщиком.

Столь же успешно действовали красноармейцы Кузнецов, Моторин, Сайфуллин, сержанты Иванин и Репа, лейтенант Шевченко и другие «мастера меткого огня по самолётам» (так они названы в одном из политдонесений дивизии).

Само собой родилось в дивизии снайперское движение. Сибиряки — народ зоркий, хладнокровный, расчётливый. То один, то другой, выбрав укромное место, начинает выслеживать немца чином повыше. Из таких вот «любителей» вскоре и создалась учебная команда. К концу октября она насчитывала 48 человек. Возглавили её Василий

Зайцев и Виктор Медведев. Один уралец, моряк тихоокеанского флота, другой сибиряк-пехотинец. Учебный класс они устроили в кузнице завода металлических изделий, а стрельбище — в его вентиляционной трубе. Поупражнявшись там, отправлялись в «свободный поиск» по городу. Так вот силами «зайчат» и «медвежат» были уничтожены 3166 немецких солдат и офицеров, в том числе специально присланный в Сталинград начальник берлинской школы снайперов Кенингс. На счету старшины Зайцева это был одиннадцатый немецкий снайпер столь высокого класса.

Забегая вперёд, следует сказать, что В. Зайцев и В. Медведев дошли до Берлина, удостоены звания Героев Советского Союза, а их товарищи: Н. Куликов, Г. Авзалов, А. Подхапов, А. Чехов, П. Шейкин и другие снайперы — отмечены высокими боевыми наградами.

О том, насколько крепка была оборона Мамаева кургана, свидетельствуют воспоминания немецкого офицера г. Вельца. В его книге «Солдаты, которых предали» есть такие строки:

«...На русские оборонительные позиции обрушивается залп за залпом. Взлетают слепящие гирлянды снарядов. Там уже не должно быть ничего живого... И вдруг в воронках и на огневых точках появляется русская пехота, которую мы уже считали уничтоженной. Глазам своим не верю. Как, неужели после ураганного огня там ещё жива оборона? Каждое мгновение мы видим, как валятся наземь наши наступающие солдаты, остальные несутся назад. Что за наваждение, уж не приснился ли мне этот бой?... Заколдованное место! Как ни пытайся взять его, натыкаешься на гранит».

А вот ещё одно свидетельство, на этот раз из книги адъютанта Паулюса полковника В. Адама «Трудное решение». Беседуя в полевом госпитале с раненым в Сталинграде унтер-офицером, он услышал от него такое признание:

«В сущности, здесь нет настоящих позиций. Русские дерутся за каждую развалину, за каждый камень. Нас всюду подстерегает смерть. Здесь ничего нельзя добиться бешеной атакой, напролом, скорее сложишь голову. Мы

должны научиться вести штыковой бой... До сих пор мы посмеивались над русскими, но теперь это в прошлом. В Сталинграде многие из нас разучились смеяться».

Красноречивое признание: разучились смеяться. Зато, несмотря на сверхнапряжённую обстановку, когда каждый день приходилось выдерживать до пяти вражеских атак, лица защитников Мамаева кургана не закаменели, не потеряли своего природного добродушия. Напротив, в их глазах и словах появилась какая-то задорная жизнерадостность. Значит, почувствовали, что комдив Батюк, их Батя, всё видит, всё знает, всё умеет. С ним не пропадёшь.

Стоит ли удивляться, что раненые бойцы и командиры всеми правдами и неправдами старались остаться в своих медсанбатах? А если попадали в госпиталь за Волгу, ухитрялись вернуться в дивизию — без направлений, минуя сборный пункт штаба армии. Так они были преданы сибирскому братству, ещё больше окрепшему на сталинградской земле, так верили Батюку и своим непосредственным командирам.

Особым подразделением дивизии стала её концертная бригада. Казалось бы, в разгар кровопролитных боёв за Мамаев курган не время для художественной самодеятельности. Но именно она стала тем «эмоциональным оружием», которое тоже воевало, помогало дивизии выстоять.

Наиболее способных певцов, музыкантов, чтецов, стихотворцев прямо из окопов, штурмовых групп, опорных пунктов, боевых расчётов политотдел отправлял на левый берег Волги. Там, в хуторе Бурковском, обосновался клуб дивизии. После недолгих репетиций из вчерашних школьников и курсантов был создан музыкальный ансамбль. Всего за два с половиной месяца он дал 86 концертов на передовой.

В ту пору Ирине Лещенко было 18 лет. Фронтовая жизнь её началась в Сталинграде. Санитарка, затем почтальон, она обладала сильным красивым голосом. Кому как не ей петь в ансамбле?

Очень обрадовалась Ирина, когда попала в боевой молодёжный коллектив, и ни разу не пожалела об этом, хотя

служба в нём стала не только радостью, но и тяжёлым испытанием.

«Мы шли на передовую в любую погоду, и когда здоров, и когда болен, когда, кажется, нет сил, но выступать перед бойцами надо, — пишет она в своих воспоминаниях. — Чтобы донести музыку, песни до каждой части и подразделения, концертная бригада разбивалась на небольшие группы и могла одновременно дать концерты в нескольких местах. Мы испытывали чувство гордости, когда кому-то из нас доводилось выступать в окопах или блиндажах изрытого снарядами и бомбами Мамаева кургана. По три-четыре раза за вечер, часто под огнём противника, выступали наши в полном смысле заслуженные фронтовые артисты. Однажды во время концерта случилась беда — в момент авианалёта фашистов был убит участник концертной бригады Лапшин. Все мы горько оплакивали смерть нашего товарища...

На передовой мы научились быстро передвигаться из блиндажа в блиндаж, из окопа в окоп. Но как же нас ждали на передовой, как встречали! Как бойцы хотели чем-нибудь нас отблагодарить. Этого я никогда не забуду».

Бесперебойно доставлялись на позиции газеты, журналы и даже художественная литература. Побывали на передовой писатели Константин Симонов, Василий Гроссман, Николай Вирта. В очерке «Сталинградская армия», опубликованном в газете «Красная звезда», Гроссман отметил:

«Здесь, в Сталинграде, особенно часто видишь людей, вкладывающих в войну не только всю кровь свою, всё сердце, но и все силы ума, всё напряжение мысли... И как некогда директора сталинградских заводов-гигантов и секретари райкомов партии гордились тем, что у них, а не в другом городском районе работает знатный стахановец, так и теперь командиры дивизий гордятся своими знатными людьми. Батюк, посмеиваясь, перечисляет по пальцам:

— Лучший снайпер В. Зайцев — у меня, лучший миномётчик И. Бездидько — у меня, лучший артиллерист в Сталинграде И. Шуклин — тоже у меня.

В славной дивизии Батюка принят тон украинского доброго гостеприимства, добродушной любовной на-смешки».

В октябре Волга покрылась льдом. Стало возможным соорудить через неё зимнюю переправу. Но 8 ноября лёд неожиданно тронулся, отрезая дивизию от Большой земли.

— Вот тебе и Волга-матушка, — подсадовал Батюк, — Похоже, для нас она станет нынче суровой мачехой.

Ноябрь и правда выдался крайне суровым. Не хватало боеприпасов, продовольствия. Бои за вершину Мамаева кургана не прекращались ни на один день. Не раз она переходила из рук в руки. Враг нёс огромные потери, но и дивизия Батюка потеряла около половины своего состава. Вот почему командование 62-й армии задумалось: а не пора ли вывести её за Волгу — во второй эшелон, заменить свежей дивизией? Но Батюк не согласился с таким решением:

— 284-я сибирская дивизия была направлена в Сталинград по личному указанию товарища Сталина! — напомнил он членам Военного совета. — За время боевых действий в Сталинграде она выполняла все приказы командования армии. Неужели теперь она лишится чести воевать за Сталинград? От имени бойцов и командиров дивизии смею заверить Военный Совет, что так же героически дивизия будет сражаться и в дальнейшем.

Твёрдость и прямота Батюка решили дело. Его поддержал начальник штаба армии Крылов, командующий артиллерией Пожарский, а затем и другие генералы. Подводя итог обсуждению, командарм Чуйков пожал Батюку руку — и не удержался от шутки:

— Противник нажимал на вас с фронта, но с места не сдвинул. Военный совет нажимал на вас с тыла, но тоже с места не сдвинул. Значит, так тому и быть. Держите его и дальше...

В середине декабря 284-я сибирская стрелковая дивизия отметила годовщину своего создания. О том, как именно она её отметила, узнаём из письма Батюка в Томск, где осталась его семья — жена, три дочери и сынишка.

«...у меня 15 декабря был хороший праздник, — сообщал он жене Марии Ефимовне, — годовщина моего соединения, а 19 декабря я именинник, приглашаю на именины. Годовщину отметили хорошим боем, уничтожили много фашистов, а именины думаем отметить ещё лучше... Вчера и сегодня у нас началась настоящая зима, крепкие морозы. Живу хорошо, только что-то нет от тебя писем. Пиши, Муся, как живёте, как учитесь, как твоё, Муся, здоровье?..

С приветом, моя дорогая. Твой Коля».

В те дни Батюку было присвоено звание полковника. Ему исполнилось 37 лет.

Сорок дней спустя 284-я сибирская стрелковая дивизия соединилась с частями 51-й Гвардейской дивизии 21-й армии на западных склонах Мамаева кургана, приступила к освобождению Каширской, Рязжской, Магистральной, Силикатной, Черноморской, Тарнопольской и других улиц, районов, заводов Сталинграда, участвовала в пленении Паулюса и штаба его армии. В приказе командования 62-й армии об этом сказано так:

«28 января 1943 года части 284-й дивизии, преодолевая упорное сопротивление противника, форсируя труднопреодолимые препятствия, ломая сильную систему оборонительных сооружений, успешно выполнила свою боевую задачу, очистив от немецко-фашистских оккупантов тридцать шесть кварталов в северной части города и продвинувшись вперёд на тысячу метров, сузила кольцо окружения южной группировки противника. В этих боях личный состав 284-й дивизии проявил смелость и решительность в кратчайший срок завершить разгром противника. Отмечая успешные действия 284-й дивизии, настойчивое проведение в жизнь принятого решения командиром — полковником Батюком, Военный совет армии объявляет благодарность всем бойцам, командирам и политработникам 284-й дивизии».

Вслед за этой благодарностью последовал Указ Президиума Верховного Совета СССР: наградить дивизию орденом Красного Знамени. Такой же награды удостоился комдив Батюк. Это был его первый орден. Чуть позже он

получил второй, на этот раз полководческий — орден Кутузова II степени, и ему было присвоено воинское звание генерал-майора, а 284-я дивизия была преобразована в 79-ю Гвардейскую...

28 июля 1943 года, уже на территории Украины, не выдержав напряжения, разорвалось сердце легендарного комдива Батюка. Там он и похоронен — в Славяногорске Донецкой области. Рядом с ним похоронен так и не поносивший звезду Героя Советского Союза артиллерист Илья Шуклин.

Они и тысячи солдат-сибиряков, погибших в решающих боях за Отечество, и ныне незримо крепят оборону страны — её дух, её память, её заветы. Они и сейчас, напоминая нам о Великой Победе, обороняясь, наступают...

Школа жизни

Ныне музеем боевой славы томской школы № 34 руководит учитель русского языка и литературы Наталья Ивановна Гранина. В то время, когда музей ещё только создавался, она была вожатой, затем, окончив филологический факультет Томского государственного университета, стала учителем, ещё позже — завучем. Всё это и помогло ей сохранить в своей работе лучшие традиции патриотического воспитания, присущие советской школе. Огромное влияние оказала на неё и мать, фронтовичка, ветеран 22-й стрелковой дивизии.

Музей занимает две комнаты на третьем этаже школы. В одной из них находится архив, в другой — учебный класс, а в нём, возле стен, по всем правилам музейного дела развёрнута постоянная экспозиция: стенды с документами, снимками, военными наградами, реликвиями и фоторассказ о боевом пути томской дивизии (так ребята её нередко называют).

Здесь регулярно собирается Совет музея — по одному представителю от каждого класса. Вместе с Натальей Ивановной ребята обсуждают план мероприятий, связанных с

всенародными датами воинской славы России. К ним они добавили ещё одну, как говорится, свою: 16 декабря — День рождения 79-й Гвардейской стрелковой четырежды орденоносной Запорожской дивизии. Подготовка к этой дате начинается неделей памяти, во время которой проводятся всевозможные конкурсы, военизированная эстафета, уроки мужества. А в памятный день в актовом зале под звуки российского гимна проходят совместный с ветеранами дивизии митинг и само торжество.

В том же классе-музее стажируются его экскурсоводы из числа старшеклассников. Это они проводят музейные уроки с учащимися седьмых-восьмых классов не только своей, но и других школ города, кадетского корпуса, с родителями и всеми желающими. Их с каждым годом становится всё больше.

Параллельно Наталья Ивановна готовит школьную команду, которая в рамках городской военно-патриотической программы несёт Вахту памяти в Лагерном саду, в Университетской роще или на Южном кладбище. Каждый из пятнадцати вахтовиков получает от неё много дополнительных сведений по истории, литературе, военной патриотике.

А ещё в этом классе собираются авторы инсценировок к памятным дням, обсуждаются доклады, подготовленные по материалам музея (один из них — «О чём рассказала винтовка Мосина» — недавно отмечен дипломом областного слёта юных краеведов), читаются не всегда складные, зато искренние именные стихотворные посвящения ветеранам 79-й Гвардейской дивизии — В. И. Малаховой, А. Д. Дарьенко, И. М. Барынычу, Д. М. Малышеву, А. А. Лесковскому, Н. А. Бойцовой, С. П. Толстоброву, К. А. Якимовичу, Н. Г. Горшкову, участнику первого парада Победы В. П. Осипову и другим.

В мемуарах одного из участников героического сражения на Волге встретились мне такие слова: «Сталинградская битва продолжается в наших сердцах». Продолжается — значит, тревожит, вспоминается, живёт. Продолжается — значит, учит, что внутренний враг не

менее опасен, чем внешний, и с ним надо столь же решительно бороться. Сегодня, когда мы живём в другой стране, смысл этих слов обретает новые краски и подтекст.

Многолетний опыт работы 34-й томской школы — четыре с половиной десятилетия! — показал, что музей боевой славы — это не только хранилище военных, исторических ценностей, но и школа жизни, возмужания, подвига.

А закончить этот рассказ мне хочется четверостишием одного из юных следопытов:

Под Мамаевым курганом
Плещет Волга в берега.
Здесь разбился враг коварный
О кулак сибиряка.

Обелиск

*Памяти земляка, Героя Советского Союза
Алексея Лебедева*

1

Малое словацкое село
под певучим именем Белá.
Видно, было до войны белó
от ромашек поле у села.
Видно, пели птахи у межи,
зазывая в светлый лес кого-то...
Здесь вот отбивала рубежи
в сорок пятом русская пехота.
Там, где прежде песнею шмеля
луг весенний возвещал о лете,
выжжена, измучена земля.
А по ней ещё идти к победе...
Кто сказал, что чёрное — бело?
Кровь и боль... Их время не остудит.
Притаилось малое село:
что же будет?

2

А было так: чтоб рота шла вперёд,
шагнул один — без страха и вопросов,
и грудью задавил немецкий дот,
как сделал это до него Матросов...
А было так: освободив село,
над ним в молчанье замерли солдаты.
Лежал простоволосо и светло
безусый мальчик. И была наградой
ему звезда в ночу. И тишина.
Село Бела... Спасённые солдаты...
Вот почему быстрее в сорок пятом
на целый миг окончилась война.

3

И вот теперь, когда бы жить и жить,
Свой путь торя, как время подсказало,
Мы вновь в беде... Спешит троянский конь
Свалить героев наших с пьедестала.
Чернится всё, что было до войны.
Но жизнь мудрей.
Но труд и подвиг святы.
Они, как корни,
Крепят твердь страны.
Поклон вам низкий, вечные солдаты.

Генка

(из поэмы «Пятьсот-весёлый»)

Кто знает, почему 500-весёлым
мы общежитье наше нарекли?
Ребята, не отвыкшие от школы,
мы поездов тех помнить не могли.
Нам приглянулось бойкое название.
А с чем его едят? —
Да лишь бы съесть!

И только позже к нам пришло сознание,
что не ошиблись мы, что сходство есть.
Шли на восток печальные составы
из-под Смоленска, Курска и Орла.
В разгар войны у маленькой заставы
рожёница на людях умерла.
Орал малыш, орал, не понимая,
зачем война, зачем далёкий путь.
И женщина, совсем ему чужая,
совала, плача, в жадный ротик грудь.
А он орал, надрывно и устало,
пред кем-то виноватый без вины.
Детей и женщин, раненых и старых
везла страна — подальше от войны.
На перегонах чайники гремели.
Скрипели торопливо костыли.
Бил с бреющего «мессершмитт» по цели,
и огрызались яростно тылы.
Рабочие, дорожники, артисты,
отпускники, колхозники, спецы
из тупиков следили, как плечисты,
как высоки сибирские бойцы.
Подростками запружены платформы —
на фронт, на фронт... А с боковых путей
им козыряли старики по форме,
те, что остались «соблюсти детей».
Вне графика спешили эшелоны —
на фронт, на фронт... А где-то под Москвой
отец мальчишки, к бою головой,
лежал на сером, безымянном склоне.
Внезапный взрыв остановил его,
ударив, словно вспышкой автогена...
Назвали сына люди без него
В 500-весёлом Веселковым Геной.
Здесь кто-то платье на пелёнки рвал.
Здесь кто-то мыло отдавал задаром.
Соседи в люльку превратили нары,
а сами рядом, на пол, возле нар.

Кто скажет, почему 500-весёлым
мы общежитье наше нарекли?
Не потому, что думали о горе, —
о братстве старших память берегли.
Пусть их больше никогда не будет,
500-весёлых-невесёлых, но
хотим, чтоб так же выводило в люди
нас это братство. Нам не всё равно,
как жить, в какие верить идеалы,
за что и перед кем держать ответ...
Ступеньками вперёд уходят шпалы.
Начало — там.
Конца, я верю, нет.

Баллада о художнике и соловье

Картон коробится уже,
Из ветхой рамки выпадает.
Довольно простенький сюжет.
Но так бывает, так бывает,
Что ни сказать, ни отойти —
Лишь сердце прыгает в груди...

Два землепашца на скамье
В пустынном поле у дороги...
Как на офортах у Домье —
Почти гротеск: босые ноги,
Седины в съеденных усах,
Намёк улыбки на устах.
А в уголке, между ветвей,
Едва приметный соловей.
И всё. Вот он, вот эти два.
Да изумрудная трава...

Но трели птахи всё вокруг
Согрели трепетом и светом.

Крестьяне переводят дух.
Молчат, не лезут за кисетом...

...Картон, картон, ты не забыл,
Как, примостив тебя на козлы,
Военнопленный кистью мёрзлой
Писал тебя? Он немцем был.
И прежде рисовал огнём
Под Сталинградом и Орлом,
И лишь потом, в сорок шестом,
Был растревожен соловьём...

А может, раньше? Может быть,
Он был им болен, но не волен...
Его теперь не расспросить:
Он из живых навек уволен
Виной и совестью своей.
Остался только соловей...

Приходит поздно осознание.
Как передать его другим?
Ведь где-то снова бравый гимн
Дробится в сводах мироздания.
Движение вскинутой руки...
И сапоги... И сапоги...

Упряма память. Смена дней:
То сапоги, то соловей...
Их невозможно заглушить.
Когда ж мы будем в мире жить?

И вновь возможен человек
С промёрзшей кистью над холстами...
Стучится в двадцать первый век
Майдан с его боевиками.
Но соловей — тот соловей! —
Поёт всё громче, всё больней...

Торговый праздник в Нюрнберге

От ворот и до ворот
шумно движется народ.
Каждый что-то покупает.
Каждый что-то продаёт.
Все товары на виду.
Так бывает раз в году.
Снова старая примета
в старом городе в ходу:
чтоб богатым завтра стать,
чтобы новое начать,
хоть за марку, хоть за пфеннинг
надо старое продать.
Вот замкú. Каких здесь нет!
Свой у каждого секрет.
Стоит взять их — разомкнётся,
распахнётся белый свет.
Шляпы с перьями — горой,
восковых фигурок строй.
Каждый камень стал прилавком —
не пройти по мостовой.
Цены сходные вполне.
Что б такое выбрать мне?
Там вон шахматы резные
продаются в стороне.
В землю меч, за рядом ряд,
пешки доблестно стоят.
Офицеры королевам
комплименты говорят.
Не ревнивы короли.
Лица жёлтые в пыли.
Королевские накидки
с плеч спадают до земли.
Покупаю. Шах и мат..
Только вдруг споткнулся взгляд
о фашистские награды,
что на бархате лежат.

Как же так? Средь бела дня...
Примеряет ребяшня
крест со свастикой и каску
с гордым видом на себя.
Гитлер в рост изображён.
«Шён, — кивают детям, — шён!».
А ведь это по-немецки
означает «Хорошо!».
Мир за несколько минут
стал другим... Неужто тут
позабыли, как вершился
в Нюрнберге правый суд?
От ворот и до ворот
шумно движется народ.
И никто не протестует:
разве нет других забот?
Дух свободы здесь воспет.
Со всего здесь снят запрет.
Вот свобода так свобода.
На неё управы нет.
Чтобы новое начать,
надо старое продать...
Но ведь те, что примеряют,
но ведь те, кто покупают,
могут двинуть время вспять...
От наград глаза болят.
Я шагаю наугад.
Короли и королевы
в такт моим шагам гремят.

У Вечного огня

При свете дня нет света у огня.
Но стоит одному померкнуть свету,
В два света загорается другой.
Он — память, опалённая войной.
Он — образ всех, погибших за Победу.

О, сколько Вечных памятных огней
Горит сегодня на земле повсюду!
И замирают люди на минуту
Перед огнём истории своей.

Она — одна, поскольку мир — один
Для всех людей, где бы они ни жили.
Отчизна-мать, её Защитник-сын
Над Томью, нет, над городом застыли.

Они венчают солнечный проспект,
Крутой уступ, заречные просторы.
Они венчают ратной славой город,
Его дела и свет его побед.

Лежат цветы у Вечного огня.
Всегда живые — символ вечной жизни.
Сюда идут в любое время дня,
Чтоб поклониться Матери-отчизне.

Владимир Бельчиков

* * *

Шаг атак
порывисто хлѣсток.
И горит
подбитая «броня».
Я — подранок.
Сосенки-подростки
заслоняют
ветками меня.
Ускользает
цепкое сознание.
Тело с болью
поглощает бред...
Милая!
Земля моя родная!
Мне сегодня
Девятнадцать лет...

Юность

Ты, мне, Родина, верь!
Мне осталось немного
до старта,
до бессонных ночей,
до тревожных солдатских дорог.
Если выпадет мне,
до последнего вражьего залпа
буду стойко беречь
я тебя от обид и тревог.
Полыхает заря —
кумачѣвые плещутся флаги,

на виски октября
оседает багрянец полей.
Я люблю эти светлые
чистые стяги
белоствольных берёз
и шагающих вдаль тополей.

Валерий Сердюк

* * *

Туман плывёт над спящею рекою,
баюкая ленивую волну.
Рассвет неслышно подойдёт к окну,
не нарушая этого покоя.

И кажется — за мирной тишиной
так далеки тревога и забота,
но каждый день, как Светлая Суббота
перед Отечественной войной.

Сон

Который год, который год,
уже который год
тебе, отец, всё снится взвод,
твой пулемётный взвод.
Тебе семнадцать лет всего —
пацан, сынок, птенец...
А тут от взвода твоего
отстал один боец.
Пора уже кончать привал
и далее идти,
но нет солдата... Он отстал,
замешкался в пути.
А завтра — бой. Твой первый бой.
...Усталые бойцы,
они стоят перед тобой,
любой — тебе в отцы.
А тот солдат весёлым был,
имел такой талант,

он ус крутил и говорил:
— Мой младший лейтенант,
твоя заботливость смешна,
мы знаем, что почём...

Ты командир. Идёт война.
И возраст ни при чём.
Что ж, на войне — как на войне.
И ты себе сказал:
«Начало есть. Ведь если не
найдем, под трибунал
пойдешь... Но если опоздать
на огневой рубеж,
то не кому-то отвечать,
не взводу, а тебе ж...»
И ты, подняв глаза на взвод,
сейчас проговоришь:
— Нале-во! Правое — вперед!..

Который год, который год
ты давний сон хранишь.
Тобою этот мир спасён,
в нём тихо, нет войны.
Но почему твой старый сон
в мои
стучится
сны?

Дом Павлова в Волгограде

«58 дней в огне» —
это надпись на старой стене.

Это дом-солдат, дом-герой.
Был изранен. Вернулся в строй.

С каждым годом всё горячей
память грозных дней и ночей.

Все они — в боях, под огнём, —
как осколки, засели в нём.

Но привольно в его дворе
подростающей детворе:

смерть выдавшему по душе
игры мирные малышей.

День уйдёт. Уснёт детвора.
Дом хранит её сон до утра.

Свет бессонный в ночном окне...
«58 дней в огне».

Присяга

В декабрьское воскресенье
я присягал России.

Сдержать волнение стараясь,
я выходил из строя.

Быть верным солдатской чести
я клялся пред знаменем части.

Всё сделал, как полагалось, —
вот разве что дрогнул голос,

да тесным казался ворот,
и расплывались лица...

В декабрьское воскресенье
я присягал России.

На марше

Над перелесками, над речками
плывут крутые облака.
Ещё идти, идти — до вечера.
Ещё дорога далека.
Пыль к сапогам устало лижется,
но на ученье — как в бою — держись!
Размеренно колышется
солдатский строй. И я в строю
иду. И пыльными дорогами
проходят тени облаков.
Ко мне приходит чувство Родины.
Неотвратимо.
Нелегко.

Минута молчания

...И наступила тишина.
Стоим, сурово сдвинув брови.
Мы знаем, что взяла война,
ценой каких побед и крови
был мир добыт... И те, кто пал
в жестоких битвах безымянно,
сегодня с нами. Их судьба
высоким светом осиянна.
Нам жить, покой земли храня,
чтоб травам цвести и ливням литься.
И отблеск Вечного огня
навечно лёг на наши лица.

Наш взвод поёт «Бородино»

Наш взвод поёт «Бородино»,
шагая строем на ученья.
Произнесённые давно,
слова особое значенье

приобретают в этот раз:
сдвигая даты все и сроки,
встают истории уроки —
Бородино и Сталинград.
Наверно, долго будут помнить
о горькой участи врагов
в бою на Бородинском поле,
в бою у волжских берегов.
Плохая им досталась доля!
Познали русские штыки
Наполеона и Адольфа
«непобедимые» полки.
И если снова враг ударит
по стороне моей родной —
скажи-ка, дядя, ведь недаром
наш взвод поёт «Бородино»?

Как лошадь тонула, как цыганка гадала

Участников Великой Отечественной войны осталось совсем немного. Мне довелось дружить с фронтовиками, слышать их рассказы. Потом я вместе с детьми солдат разбирал письма с фронта их отцов.

Жительница села Тимирязевского Валима Ахматнуровна Юсупова — уже внучка пропавшего без вести солдата. А историю военной поры рассказала ей тётя, старшая сестра отца Валимы. Так, от первого лица, мы её здесь и представим. Тётю зовут Фагима Зекрина, тогда ей было 13 лет.

Вот вам налицо живая память поколений, которая переходит по цепочке. Пока мы помним, эта нить не порвётся.

Мы жили в деревне Буляково в Башкирии. К началу войны мне было 13 лет, брату (будущему отцу Валимы) 6 лет и младшей сестрёнке 4 года. В 1940-м отец в свои 33 года пошёл учиться на тракториста, выучился. Потом пригнал в деревню первый трактор. Его прибытие на тракторе встречали всей деревней. Это было как, наверное, возвращение Гагарина из космоса. Всё было так же фантастично, вся деревня высыпала на улицу.

В 1941 году отец, его звали Ахматхан, поехал в Свердловск подзаработать денег, чтобы достроить дом и купить что-то из одежды. Там его и застала война. И он для себя решил: пока не повидаю детей, на фронт не уйду. И отпра-

вился пешком в родную деревню. 15 дней он добирался. А шёл пешком, понимая, что могут забрать как человека призывного возраста прямо с поезда. А ещё, чего доброго, и обвинят в дезертирстве. Мама, её звали Фархиямал, уже так и думала, что его заберут на войну там, в Свердловске, и они не увидятся. Мысленно с ним простилась. И вот вечером сидит, доит корову, вдруг из-за спины кто-то её окликнул. Она смотрит: Ахматхан пришёл! Побыл он с нами три дня, пришла повестка, и мы его проводили в райцентр километров за десять. Так и отправили на войну, простились, и он ушёл.

Мать пасла колхозных лошадей для фронта. И вот однажды осенью — уже приморозило — одна лошадка решила попить из реки, передними копытами продолбила лёд. Лёд проломился, она провалилась передними ногами и утонула. Лошадей вот-вот уже готовились отправить на фронт. Это была катастрофа. Председатель колхоза ей сказал: «Ты не лошадь утопила, ты солдата утопила. Вытаскивай из реки и хорони его». Я рассказала об этом в школе, и учительница говорит: «Пойдёмте все помогать, будем вытаскивать всей школой». Пришли: хвост лошади торчит, никто не решается лезть в ледяную воду. Мать взяла верёвку, пришлось нырять, обвязала эту лошадь, вышла на берег. Вода с неё льёт и тут же замерзает. Все ребятишки, женщины тащили эту утопленницу и вытаскивали. Мать и тут не пошла греться, взяла лопату, пошла копать могилу для лошади, и копала эту уже мёрзлую землю. Это, конечно, издевательство, но куда денешься! Время военное, жестокое. Она только сказала мне: «Иди топи баню». Но после бани её стало ломать и колотить. Как ни укутывали во всё, что было дома, дрожь не могли унять.

Этим дело не кончилось. После того её в райцентре судили. Как это тогда называли, «по всей строгости военного времени». Что могло облегчить её участь? Только то, что трое детей да муж на войне. Посадить не посадили, но нашли, чем наказать. Дома был бычок, его забрали в фонд обороны. А мать после тех ныряний в студёную воду так и

не поправилась, она болела и болела — то говорили: это тиф, то малярия. Временами получше становилось, потом снова плохо.

От отца редко вести приходили. Я нашла одно письмо и написала ему, сложила треугольником, отправила. Дошло моё письмо! Это был 1943 год. И отец ответил с Ленинградского фронта: голод, холод, грязь, есть совершенно нечего. Лошадь убьют, раздербаним её и как-то наедемся. После этого писем не было. Так он и сгинул, наверное, на этом голодном фронте. Пропал без вести.

И вот поздней осенью 1944 года появилась в деревне гадалка. Цыганка. И мать взяла меня за руку, и пошли мы в дом, где гадалка остановилась. Мама хотела узнать о муже, о нашем отце. Денег не было, чтобы дать за гадание, она принесла с собой семь варёных картофелин. А цыганка сказала: «Я у тебя не возьму». — «Почему?» — «А потому, что я у сирот не могу брать». Мать возразила: «Так я же живая». А цыганка говорит: «Тебе осталось жить ровно три месяца».

Мы с мамой заплакали. Но цыганка сказала: мол, с детьми твоими — с дочерьми и с сыном — всё хорошо будет; сказала: «Твой голубоглазый сын будет счастливым, хорошо проживёт». И меня тогда поразило, как же это она про сестрёнку и про братика знает.

А матери и в самом деле становилось хуже и хуже. Она слегла.

И вот мама однажды говорит: «Я так хочу есть, целую булку хлеба съела бы». Я ей предлагаю: ешь. Она, конечно, отказалась, и попросила меня посмотреть, сколько муки в доме осталось. Я перемерила пригоршнями, получилось шесть. «Вот шесть дней на этом без меня проживёте».

Мама умерла 29 января 1945 года. Нас, детей, хотели отдать в детский дом. Но родственники разобрали, не отдали, не отпустили, вырастили. Потом я всё-таки из колхоза уехала, удалось вырваться, непросто это было,

паспорта не давали, но я тоже шустрая была. А брат Ахматнур (будущий отец Валимы), умный парень, никуда не поехал. Он хорошо учился, ему советовали ехать дальше учиться, потом в институт поступать, а он остался. Он всё надеялся: вдруг отец вернётся. В военкоматовском архиве нам подтвердили: пропал без вести. Но брат так и жил в деревне. Наш Ахматнур, как цыганка и предсказала, прожил хорошую жизнь, умер в 75 лет, остались пятеро дочерей, которые его любили. Младшая сестрёнка Нагия сейчас живёт в городе Асбест.

Мои фронтовики

Отец ушёл на фронт добровольцем в 1942 году. Почему не был мобилизован с началом войны? Тут вот какое дело. В большинстве своём жители села Пудино нынешнего Парабельского района были ссыльными. Это так называемые кулаки, и ещё те, кто показался советской власти классово чуждым после присоединения Прибалтики, Западной Украины и Бессарабии. Заглядывая вперёд, скажу, что в нашем первом классе (а это уже 1956-й) был полный интернационал — русские, украинцы, евреи, латыши...

Так вот, мой отец к ссыльным не принадлежал. Происходил он из семьи алтайских староверов. И уже в конце 20-х его батя с братом почуяли, чем дело пахнет, стали испытывать некий дискомфорт в своём Мамонтовском районе. Выезжали на разведку в разные места, и кто-то подсказал укромный угол, где тайга и речки, то есть охота и рыбалка, а пашня родит хлеб. И перебрались они сюда, на годы опередив волну спецпереселенцев. Мой молодой отец оказался в выигрышном положении человека, которому можно доверять. Потому он выдвинулся в колхозные бригады, а с началом войны получил бронь.

Но отец с другом Алексеем подали заявления на фронт. И попали как раз под Сталинград. Друга через какие-то месяцы вырубил осколком в голову, он помаленьку оклемался, но в строй уже не вернулся. А отец протопал всю войну, завершив её в Чехословакии.

Вот он на фотографии летом 45-го. Ликует на солнце буйная листва. А папа смотрит невесело, наверное, думает о далёком доме. Как там мать и младшая сестра? На обороте снимка печать мастера «Antonin Charamza. Pardubice 2». Это Пардубице через много лет аукнется мне при чтении бессмертной истории про braveго солдата Швейка. Много чудесного в нашей жизни!

В ноябре 1945-го придёт в село ещё одна фотокарточка, с надписью «Любимой сестре Ксене. Жди, скоро приеду». И он приедет, и встретят его мама (моя любимая бабушка) и сестра, уже студентка Томского медицинского института.

Он очень мало мне рассказывал о том, что там было, что довелось пережить. В детстве я ждал героических шапкозакидательских историй в духе тогдашних киношек. Их не последовало. Во взрослом возрасте хоть что-то удалось услышать. Рассказал он, как форсировали какой-то водный рубеж (ей-богу, я забыл название реки, а врать не хочу). Артиллерия ещё не подтянулась, и авиация толком не поддерживала. А нужно было не снижать темпа наступления. И вот батальон за батальоном отправляли на верную гибель, потому что немцы основательно закрепились на другом берегу и хорошо простреливали реку. Подошёл их черёд, уже выдвинулись на позицию, и тут приказ был отменён. Отец был атеистом, на фронте вступил в партию, потому говорил просто: «Повезло», не адресуясь к Богу.

Как-то сидел я и слушал Высоцкого. Как раз с магнитофона звучало: «Мне этот бой не забыть никак...». «Я это слышал в госпитале в сорок четвёртом, — уверил подошедший к столу отец. — Молодой такой лейтенант пел». Я хотел было возразить, да тут же и передумал. Я уже знал

про такие случаи. Это говорило о том, как точно Высоцкий почувствовал другое время, как верно спел от лица тех, кто воевал.

Вообще с годами отец рассказывал даже не эпизоды, а впечатления. С большой симпатией он вспоминал полячек, воспроизводил несколько фраз, которым научился, и среди них — «дзенькую, пани»... В Чехословакии поразило его обилие велосипедов. В мае 45-го он там встретил Победу. Они спешили помочь своим, вступившим в бои с власовцами. Но справились без них, они пришли, когда деловито стучали выстрелы в недалёком овраге: наши расстреливали бывших наших. Отец с облегчением вспоминал, что не довелось принимать в этом расстреле участия.

Подсунул я ему «В августе 44-го» Богомолова. Читай, говорю, не оторвёшься. Через день он книгу вернул. Я недоуменно взглянул на него. «Смерш», — сказал отец с какой-то жёсткой усмешкой. Я не стал его просить объясниться. Наверное, зря. Может, он что-то и рассказал бы об этой контрразведке «Смерть шпионам». Знаю, что не он один, и другие фронтовики её не любили. Но в богомоловской-то истории рассказано про настоящих диверсантов-шпионов.

Не смотрел он и кино про войну, потому я и запомнил тот единственный случай, когда он по моей просьбе присел к телевизору, да так и досмотрел до конца. Это был фильм «Живые и мёртвые», который снял Александр Столпер по роману Константина Симонова. Фильм, в котором замечательно сыграли Кирилл Лавров и Анатолий Папанов. И я помню, что понравился ему эпизод, когда из окружения выходят бойцы со спасённым оружием и на вопрос комбрига, не страшно ли было, командир оружия просто отвечает: «А надоело бояться». Помню, отец одобрительно крикнул, подтвердив это коротким взмахом сжатой в кулак руки.

Со своим другом Алексеем, выбывшим по ранению, они встретились после войны. Я был свидетелем их трогательной многолетней дружбы. И финал её не забудется: отец умер в конце апреля 1988-го, а следом, в мае, ушёл Алексей Георгиевич. Как будто они были повязаны незримой нитью...

9 Мая был и остаётся для меня великим днём. Это дата не столько советская, сколько всенародная. День Победы, выстраданный нашими отцами и матерями, бабушками и дедушками, без разделения на фронт и тыл. И всё-таки больше праздновали его, конечно, фронтовики. И среди них было у меня много знакомых и старших товарищей.

Я вижу, как с каждым годом всё больше мифологизируется и война, и Победа. Сейчас доподлинно и не воссоздать, как оно всё было. Кто-то неглупо сказал, что сегодня это уже не история, а религия. Со мной можно заспорить, можно просто сказать, что это судьба всяких событий: на расстоянии всё предстаёт несколько иначе. Это так, если бы мифы о войне вырастали из тех самых изустных рассказов фронтовиков.

Но мои фронтовики не любили рассказывать о боях, обстрелах и бомбёжках. Я понимал, что это была другая, отдельная жизнь, которая их перетрясла и перепахала. Она приучила их к другому строю мыслей и дум, другому поведению и самоощущению. И просто человек там стал — на годы, месяцы, на сколько у кого жизни хватило — Человеком Войны. Там все они были равны, там были лишь живые и мёртвые. Чувство повязанности и родства возникло между своими в окопах и теплушках, а не с теми, кто занимал обустроенные блиндажи за линией фронта. Это я увидел позже — слово «фронтовик» не объединило штабных и солдат с передовой.

А штабные умели рассказывать. В школе на наших классных часах они уверенно водили указкой по карте,

прослеживая «направление главного удара», они красиво говорили о «великих полководцах», но не было в их рассказах ни гари пожарищ, ни пота и крови, ни слёз по погибшим товарищам.

Где-то классе в седьмом нам поручили найти и пригласить на встречу фронтовиков. Мы с другом Борей пришли к Илье Леонтьевичу Агафонову, его родственнику. Он поговорил с нами о том, о сём, но в школу прийти решительно отказался, сказал напоследок:

— Не могу я об этом вспоминать, сразу плачу.

Другие, может быть, не плакали, но говорить с пафосом не умели. Более того, иногда доводилось услышать то, к чему совсем готов не был.

Совсем юнцом сидел в гостях у Альки Блинова, пошкольному, Блина. Появился отец его, немного поддатый. С чего вдруг мы попросили его про войну рассказать, не помню. Он, сидя за столом, повернулся к нам, и вдруг сказал с такой пьяной свободой:

— Хотите, расскажу, как мы от фрица драпали, аж пятки сверкали?!

И, увидев нашу растерянность, смущение, расхохотался и продолжил трапезу за бутылкой.

О каких-то встречах и беседах с участниками войны поведал я на газетных страницах в былую пору. Но что-то и не понравилось тогда, и не прошло. Вот такой был эпизод. Столкнулись солдаты в бою у железнодорожного полотна. С одной стороны наши, с другой — немцы. Схватились врукопашную. Вдруг налетели наши истребители, и давай поливать железную дорогу из пулемётов. Все бросились наземь. И вот Иван Максимыч Аникин (мой рассказчик) поднимает голову, а рядом — фашист. И тот смотрит на него. Они не вцепились друг другу в глотки. Через какие-то секунды немец вскочил и бросился через насыпь к своим. Максимыч за всю войну так близко не видел лицо врага.

Теперь мы хорошо знаем, как досталась победа в этой войне, как были бездарно угроблены целые армии (это сотни тысяч жизней здоровых и по большей части молодых людей), знаем про заградотряды и штрафбаты, про штурм Берлина, авральный и непродуманный. И всё-таки День Победы — это праздник. Наши отцы и деды показали, сколь бесконечны возможности человека, в каких невероятных условиях можно выстоять и победить.

У этого подвига есть удивительное свойство — его отсвет лежит на наших лицах.

Я говорю это без патетики, это подлинное моё ощущение. Я любил быть с фронтовиками в этот день. В пору моей юности на родной улице Советской в Тимирязеве было немало ворот и калиток со звёздами. И я узнавал этих людей заново.

Тот же Максимыч вспоминал: «Я в день Победы ходил во-о-т с такой шишкой на лбу. А почему? На рассвете раздалась страшная пальба. Я был в палатке, вскочил и рванул наружу. И тут мне навстречу — лоб в лоб — наш ротный. Так звезданулись! А он смеётся сквозь слёзы: «Победа, Ваня! Победа!».

Иван Максимович был кузнецом. Я видел, как он делает свою работу, когда мы пришли на практику в механические мастерские леспромхоза. Можно было позавидовать, как ладно у него всё получается. Я видел, что сам он себе цену знает, и я думал: вот так нужно научиться своё дело делать — уверенно, спокойно.

Сегодня нет никого, с кем выпил бы рюмку водки за Победу. Они ушли за черту земную. Последним из старших товарищей с нашей улицы Советской покинул меня Захар Захарович Сулейманов. «Захар Захарович» — это в русской огласовке, так все его звали, а как по-татарски, не знаю. Ещё в начале нового века сидел он в тёплый день на лавочке перед калиткой своего дома, здоровался со мной за руку и говорил грустно:

— Что, Вовка, последний я фронтовик остался?

Давно нет в живых и Анатолия Ивановича Стужакова. Меня познакомил с ним отец. Заговорили о войне, и Анатолий Иванович показал свои фотографии.

— Вот, — сказал он, — весна 45-го. Уже в Германии. Скоро всему конец.

— Что ж они такие грустные, наши ребята? — спросил я.

— Они не грустные, — ответил Анатолий Иванович. — Они смертельно усталые. Ночью мы напоролись на немцев. Те всегда дрались крепко, а тут, на своей земле, и вовсе отчаянно. Когда рассветало, стянулись мы на эту поляну, кого-то уже и недосчитались. Тогда я и сделал несколько кадров...

Я смотрю на фотографию, подаренную мне. Наверняка не все из этих солдат дошли до Берлина — полегли в кровопролитных боях последних месяцев. Кто-то умер после войны. Об этом — фронтовик Семён Гудзенко: «Мы не от старости умрём, от старых ран умрём».

Дай Бог здоровья тем, последним, кто сегодня среди живых.

Неужели так устроена жизнь, что необходимы жестокие, смертельные испытания, чтобы сформировать хорошего, достойного человека? Что же, без войны не пробудиться лучшим человеческим чувствам и качествам — братству, взаимовыручке, готовности к самопожертвованию? Как будто в мирное время они не могут возникнуть. Нет, потом я убедился, что могут, и узнал таких людей (уже другого возраста). У них был свой опыт, не обязательно такой катастрофичный.

Но ведь и вправду в том военном поколении — и среди фронтовиков, и среди тех, кто работал внадрыв в тылу, — не было хитрожопых и лицемерных. Или мне так вспоминается? Но не я придумал людей, готовых всегда помочь, открытых, не жаловавших сплетников и завистников.

Может, с несправедливостью они не так яростно боролись, или я застал их уже в годы усталости. Или опять же смотрел иногда сквозь киношную призму, где бывшие солдаты резали правду-матку в лицо бюрократу и чиновнику, а подвернувшийся тут же парторг помогал этих прохиндеев одолеть.

Да, это были замечательные люди, закалённые и отобранные войной. Но очень дорога цена этого отбора.

В послевоенном стихотворении Бориса Пастернака есть убедительная попытка героизировать эту ситуацию:

И великой эпохи
След на каждом шагу
В толчее, в суматохе,
В метках шин на снегу.
...И в значеньи двояком
Жизни, бедной на взгляд,
Но великой под знаком
Понесённых утрат.

Геннадий Скарлыгин

Дед

Сказали — без вести пропал.
Но я не верю, сводки стёрты.
Ко мне приходит Петрован,
Мой дед, в линялой гимнастёрке.

Садится с краю на кровать,
Высокий и сорокалетний.
«Устал я, паря, воевать.
Верни меня, внучок, в деревню.

Ты дай мне в руки мой топор,
Ведь я был плотником от бога.
Да и в деревне до сих пор
Моя нужна людям подмога».

Фронтовики

Какие лица смотрят на меня!
Не убежать от этих фотографий.
Какой-то добрый свет живёт во взгляде,
В манере встать и в простеньком наряде,
В морщинах рук, в открытости лица...

Как удалось, пройдя через огонь,
Им сохранить не злобу, не жестокость,
А тихую любовь, и даже робость.
И даже нашей жизни однобокость
Не затуманит взгляда до конца.

Такое свойство истинной души,
Овеянной и порохом, и дымом.
Она не ходит тёмным пилигримом,
А каждой пядью жизни дорожит.

Калина

Зимой простояла калина,
Красным огнём горя.
А вечерами длинными
Она согревала меня.

Сладким, с горчинкой, соком
Её напоила земля.
И в этом был смысл высокий,
Как всё в этом мире не зря.

Калину к себе я вывез
С бабушкиного двора.
Листьев зелёный вырез —
Слова в них шумят, ветра.

Услышу опять, как прежде,
С хитринкой её говорок.
А меж деревьев вешних
Мелькнёт её рюкзачок.

Когда нахлынули беды,
Осталась она одна.
Для фронта и для Победы
Вязала носки она.

И нас, лоботрясов, выходила —
Бог нам её даровал...
Ухнет в калине выхухоль.
Вздвогнув, зажгу дрова.

Сладким, с горчинкой, соком
Её напоила земля.
И в этом был смысл высокий,
Как всё в этом мире не зря.

* * *

Затосковала мать по сыну.
Упали плечи, голос стих.
И вечер, вечер звонко-синий
К стеклу оконному преник.

Затосковала мать по сыну,
Глаза ударились в бега.
И показалась очень длинной
Жизнь у родного очага.

Затосковала мать по сыну.
Её вытягивал, маня,
Там на колосьях серый иней,
Что пал на милые поля.

Затосковала мать по сыну.
На догорающий закат
Молилась долго. И просила,
Чтоб встал из мёртвых сын-солдат.

Крым

Здесь что ни камень — память наша.
Здесь что ни поле — наша боль.
Найди просторы этих краше.
Наверно, можно. Но уволь.

Над этим краем дым Отечества
Ядрён, как русский самосад.
Пускай подышит человечество.
Ему на пользу... И стократ

Пусть будет славен этот край,
Где отдыхать душе и сердцу.
Здесь русский дух в себя вбей,
Чтобы задать подонкам перцу.

Сергей Яковлев

На войну

Ещё не остыли мозоли
От жарких покосных трудов,
Ещё ратоборцы — на воле,
Где пламень закатный бордов.
Ещё только в самом начале
Та ночь, над которой — рок...
И кто-то развёл на причале
Последний родной костерок...

Заря! Промежуток полынный,
Черта, за которой — приказ.
Нелепый, прощальный, надрывный
В окошки врывается час.
На речке туманно, угарно,
Развёл пароходик пары.
Под берег спускались попарно,
Другие — в гурьбе детворы...
И надо готовую с ночи
Котомку сыночку подать...
Бессонные высохли очи,
И сил уже нету рыдать...
Гудок. И объятья разъяты.
Весь мир потускнел и ослаб.
И вот развязали канаты
И убран затоптанный трап,
И первая хлопнула плица,
И множество вскинулось рук!..
И, людям мешая проститься,
Вопила какая-то птица
И низко летала вокруг...

Шальная пуля

Пуля была хоть и круглой дурой,
Но угодила прямо в висок.
Прячется солнце за тучей хмурой,
Кровью дымитесь мёрзлый песок.

Суток не пробыл солдат во взводе.
«Экий длиннющий-то, ровно шест,
Как его звали?» — «Иваном вроде...
Ехал сюда из сибирских мест».

Молча могилку ему отрыли,
Час погребальный недолог был.
Рыщущий ветер, когда курили,
Горестней плакальщиц рядом взвыл.

Выглядит холмик немой вопросом.
Взводный всего и сказал в ответ:
«Был бы ты, парень, пониже ростом —
Пуля попала бы в белый свет...»

Вдова

Кончилась последняя картошка.
В поле не найти и лебеды.
Пасмурное мёрзлое окошко
Дрогнуло от голоса беды:
Ворон — распроклятая же птица! —
Сделал круг и сел перед избой...
Чтоб тебе немедля подавиться
Нашею голодною судьбой!
Каркнул ворон — аж до самых пашен
Раздробились своды тишины:
«Голод — он не так ещё и страшен,
Вести мои чёрные страшны...»

Вздрогнула она и пробудилась,
В ужасе ребёнка обняла,
Но и в сон поверить не решилась,
Печку затопила... Подмела...
Вихри поднимались, голосили,
В сенцах кто-то стукнул раза три...
— Кто там? —
И за дверью попросили:
— Марья, почтальонке отвори...

Горе

Сыны его, все трое,
Не встретили рассвет.
Их нет в шеренгах строя
И в эшелонах нет.

Взахлёб ликуют хромки,
Гуляет майский день!
Три серых похоронки
В сплошную слиты тень.

Старик идёт с вокзала,
На праздных не во зле,
И лишь сильнее стало
Клонить его к земле.

Да как ещё погнуло, —
У горя страшный вес.
Душа глядит понуро,
Не чувствуя небес...

Александр Казанцев

Детство мамы

Сорок первый. Лето.
Мама ещё маленькая.
Жрёт фашист галеты,
Сидя на завалинке.
Виснут вишни с веток,
И свистят птицы,
И хрустят галеты
На зубах фрица.
Льёт жару полдень
На листвы кипень,
Фриц сидит, потен,
Расстегнул китель.
Подмигнул маме,
Всколыхнул жир
И галетой манит:
— Комм цу мир!*
Да от жути такой
В горле, верно, ком.
Ну а мир-то какой,
Ведь война кругом?!

Старуха

Сижу на скамье у высоких ворот
И слушаю в плюше нелепом старуху.
«А мой как ушёл в сорок первом на фронт,
Да так не вернулся — ни слуху ни духу.

Не знаю, за что мне такая напасть.
Жила себе тихо и вроде безвредно.

* Иди ко мне! (нем.)

Ну как это без вести можно пропасть?!
Мужик не иголка, чтоб сгинуть бесследно.

Ещё говорит: «Не смирилась никак...
Сама уж не верю, что он возвратится,
Но каждой весной сажаю табак
Ему на махорку. Авось пригодится».

В крайней избе у реки

Чтоб смог рассказать он с экрана
О битвах, гремевших давно,
В деревню снимать ветерана
Нагрянули «люди кино».
В грязи перемазали джинсы —
Нашли, где живёт ветеран.
Да бабка-хозяйка божится,
Что болен сегодня Иван.
А тот вдруг закашлялся сухо
Да песню рванул на печи.
Всплеснула руками старуха:
«Уж коли напился — молчи!».
И сразу гостям — извиненья:
«Мол, это, конечно, грешно,
Да выпил старик от волнения —
Ведь страшно сниматься в кино!...»
Срывается съёмочный график,
Ворчит оператор в сердцах:
«Герой ведь... А ну его на фиг!
Залил самогонкою страх!...»
Обратно киношники едут.
А в крайней избе у реки
Поёт ветеран про Победу
И машет культяпкой руки.
Жена его взглядом не колет —
Негромко толкует своё:
«Ну полно... Поспал бы, соколик!
Герой ты мой, горе моё!...»

Леонид Шелудько

Седой

Он был застенчив, даже робок.
Когда пришёл его черёд,
уже седой от «похоронок»,
он, как и все, пошёл на фронт.

И на войне, всё так же робок,
под минный вой над головой
он полз с гранатой меж воронок,
как сын, убитый под Москвой.

Ему бывало очень страшно.
Но, проклиная войну,
он добегал до рукопашной,
как сын, погибший на Дону.

Не раз его убить хотели.
Бывало, убивал и он.
Ведь пули с двух сторон летели.
Летели пули с двух сторон.

И на седой от снега пашне
в Восточной Пруссии, в конце,
убил солдата в рукопашной
седой немецкий офицер.

* * *

А пуля летела,
летела и пела!
Но песню её оборвавшее тело
о счастье полёта, конечно, не знало
и так некрасиво
упало...

Русская судьба

Родной брат моей мамы воевал в авиации. Двоюродный защищал Брестскую крепость. Папа двоюродной сестры умер в военном госпитале блокадного Ленинграда. Мы были детьми поколения победителей. Эти люди ходили по улицам моего посёлка и жили в соседних домах. А награды они надевали только в исключительных случаях.

У друга детства Юры от отца одни награды и остались. Целая россыпь медалей. Две медали «За отвагу», медаль «За боевые заслуги». «За оборону Сталинграда», «За освобождение Киева», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Японией» — это только те, которые мне запомнились. Два ордена — Красной Звезды и Отечественной войны. Гвардейский знак и три нашивки за ранения.

Настоящим русским солдатом, храбрым и стойким, был этот танкист, гвардии капитан Владимир Усков. А погиб уже в мирное время. И погиб глупо. Поехали офицеры на речку отдохнуть и затеяли глушить рыбу гранатами. Лихость ли свою боевую показывали, или просто со снастью возиться лень было, но у гранаты в его руке оказался бракованный взрыватель, и рванула она мгновенно.

Чем старше я становлюсь, тем острее понимаю — таков русский характер, такова русская судьба.

Солдаты

Мне было семнадцать лет, я работал на угольном разрезе учеником электрослесаря, когда к нам устроился новый слесарь Сергей Васильевич, ровесник нашего мастера Алексея Фомича.

Как-то заговорили они о своей армейской молодости. И выяснилось, что оба участвовали в боях с японцами, один в пехоте, другой в артиллерии. Даже воевали рядом — мелькали в их разговоре одни и те же названия

китайских городов и рек, одни и те же генеральские фамилии. Дошёл разговор до штурма Харбина.

— Наш полк брал Харбин со стороны Священной рощи. Семь раз в атаку ходили, половина полка полегла, а японцы держатся! Запросил наш командир в дивизии помощь «катюшами» — выжечь их, к чёртовой матери, из рощи. А ему отвечают, что не будет «катюш». А не возьмёт рощу через час — под трибунал пойдёт за неисполнение приказа.

Собрал командир полка всех оставшихся в строю офицеров и коммунистов и сам повёл их в восьмую атаку. Ворвались они в эту проклятую рощу. И даже не успели доложить о взятии, как ударили по роще «катюши». И выжгли всех — и последних сопротивлявшихся японских «смертников», и все остатки нашего полка. Меня-то ещё в седьмой атаке ранило, я в это время уже на пути в медсанбат был. А ты где был?

Молчание.

— Ты-то в это время где был?

Молчание.

— Ладно. Не хочешь, не говори.

— Я в это время из своей «катюши» по Священной роще бил.

Прошло сорок лет. Я намного старше, чем были тогда мои первые рабочие наставники. И лишь теперь понимаю меру мужества, потребовавшуюся одному из этих русских солдат для такого ответа.

Мститель

В первые годы после войны в соседнем посёлке размещался лагерь японских военнопленных. Японцы работали в подземном руднике, добывая касситеритовую руду.

У начальника лагеря был младший брат, служивший в военные годы на одной из погранзастав по Аргуни. Году в сорок третьем или сорок четвёртом японцы похитили его с нашей территории, замучили до смерти и перекинули

изуродованное тело назад. Когда закончилась война, старший из братьев был назначен начальником лагеря и решил мстить за младшего.

Зимой, в ледяные ветра, он приказывал охране загрузить пленными полный кузов лагерного грузовика. Потом сам садился за руль. Часа два или три, сколько хватало бензина, колесил по степным дорогам вокруг посёлка. Возвращался и приказывал разгрузить машину. Разгружали её пленные. Они снимали из кузова тела своих насмерть замёрзших товарищей и складывали в штабель. Бывало, что среди тел оказывался ещё живой человек. Его уносили в барак, а там — как получится.

Несколько раз делал так этот начальник. А потом пленные японские офицеры пригрозили ему массовым самоубийством — харакири. Только боязнь огласки и остановила его. Но когда японцы вернулись домой, дело всё же дошло до суда. Его судили по советским законам, и какое-то наказание он понёс.

Историю эту рассказал мне коллега. В первые послевоенные годы было ему лет десять — двенадцать. А рассказывал он уже шестидесятилетним, не скрывая своего восхищения мстителем.

— Они его ещё судить посмели! — так закончился рассказ.

Мой тогдашний коллега не был ни злым, ни жестоким. Он искренне верил: кто победил, тот и прав. Тем более, что победили наши.

Николай Серебренников

Это письма моего отца Валентина Васильевича Серебренникова (1910—1975) к его невесте Валентине Александровне Сергеевой (1922—1990), впоследствии моей матери, и к его родителям — Серебренниковым Василию Ивановичу (1880—1963) и Александре Алипьевне (1881—1970).

В 1941 г. отец окончил санитарный факультет Томского мединститута, с августа 1941-го по май 1942-го был врачом медпункта запасного стрелкового полка, затем — старшим врачом полка 232 стрелковой дивизии 60 армии Воронежского фронта, с августа 1943-го — командиром медсанбата 232 стрелковой дивизии 40 армии 1 Украинского фронта, с февраля 1944-го по июнь 1946 — старшим врачом полка 42 стрелковой дивизии 40 армии 2 Украинского фронта. Награждён орденом Красной Звезды (1944), орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией». Уволен в запас в звании гвардии майора.

Мать была медсестрой. Награждена медалью «За отвагу» (1942; потом в народе медали 42-го приравнивались к орденам), «За боевые заслуги» (1943), «За победу над Германией», орденом Отечественной войны I степени. В 1945 ранена в висок осколком гранаты. Уволена в запас в звании гвардии старшины.

В публикуемых письмах к невесте отображено время, когда в январе 1944 г. он отправил её в тыл — рожать. Вес-



ной она сорвалась: «Вызывай, я еду. Я не могу. Я хочу быть с тобой», — потеряла плод и ринулась на фронт.

В боях с июня 1942-го, от Воронежа до Киева и дальше — по Румынии, Венгрии, Австрии, Чехословакии — они почти весь путь прошли вместе. Их бракосочетание состоялось 9 мая 1945 г. в освобождённой Праге.

Я родился девять лет спустя, но всё моё раннее детство — это гул рассказов о войне, о войне, о войне...

В. В. Серебренников

Из писем с фронта

В. А. Сергеевой, 2 марта 1944

Дорогая Валя!

Уже полтора м-ца прошло, когда тебя унёс от меня товарный порожняк, а писем от тебя нет, и не знаю, дождусь ли, хватит ли у меня терпенья получить весть, что ты благополучно или с небольшими неприятностями (последние же почти всегда сопровождают далёкий путь) добралась до родного очага.

Вчера несколько взял влево, изменилась обстановка, жизнь приблизилась к полевой, близкой к Яблочной (Кочетовке)*. В этом месте немцев вынудили отступить**. Он оставил массу самоходных пушек, танки, даже мне довелось увидеть «сопливого ганса»*** и его спаренный (10-ствольный миномёт). Мы видели немало разбитых автомашин, пушек, но такого кладбища техники я не видел, их мы могли лишь встретить на фотографиях боёв, вошед-

* Кочетовку (юго-западнее Воронежа) освободили с большими потерями 29 января 1943. Наступление шло из Яблочного, где находился полевой госпиталь.

** Прорыв немецкой обороны севернее Умани.

*** Немецкий реактивный миномёт, обычно 6-ствольный.

ших в историю Отечественной войны. Сожалел, что тебя в это время нет и твоё естественное любопытство не удовлетворено.

В. А. Сергеевой, 19 марта 1944

Валентина!

Почему ты не пишешь? Сегодня на новый адрес получил письмо от матери, которая сообщает, что от тебя получила письмо от 4.2.44 г., от тебя же мне нет ни строчки.

Полтора м-ца движемся вперёд, топчем уже более недели «румынскую землю»*, скоро собираемся быть на границе собственно Румынии. Румыны ведут себя так же, как мадьяры зимой 42—43 г.** Они пачками сдаются в плен, а к Пасхе вообще собираются закончить войну. Хотя было бы так! Это бы сильно ускорило нашу встречу. Наскучался я досыта. Мама пишет, что ты собираешься ко мне. Я считаю, это безрассудно. Живи дома, если тебя там не притесняют.

Здоровье и настроение хорошее. Живу надеждой на скорую встречу.

Пиши. Ведь я до сих пор в неизвестности, как ты доехала. Правда, я не сомневаюсь, что твой путь прошёл благополучно, однако тревожусь неизвестностью. Ты же бессовестно молчишь. Первое письмо по новому адресу ждал от тебя, ибо тебе пишу первым, а вторым нашим.

Будь здорова.

Твой Валентин.

В. А. Сергеевой, 1 апреля 1944

Походная жизнь продолжается на чужой территории. Сегодня особо был трогательный митинг, устроенный населением небольшого городка (румын. местечка). Люди проклинают своих правителей и главного виновника их

* Транснистрия (оккупированная Румынией территория Винницкой, Одесской, Николаевской областей и левобережной Молдавской ССР).

** Зимой 1942/43 была разбита 2-я венгерская армия.

несчастья — немецкий фашизм и его главаря. Трудно себе представить людей, плачущих от радости. Ещё труднее — прочувствовать эту радость, не испытав её. А это было в этом местечке. При произношении о том, что Красная Армия лишь освобождает, а не захватывает чужой территории — дружное ура в честь её и слёзы радости на глазах у многих, проклятье на устах по адресу немецких насильников.

Из разговоров с румынами — Румыния едва ли будет воевать с нами. Она скорее повернёт оружие в сторону немцев. Немцы немало насолили румынам. Они забрали у них всех лошадей, некоторые (многие) недосчитались коров, овец или свиней. Чувство ненависти за устроенную войну растёт в румынском народе.

Сегодня очень хорошо вымылся в бане. Напарился, что насилу отдышался. Хожу в баню раз в 10—12 дней, однако, таскаясь всюду, валяясь где попало, получаешь неприятности.

В. А. Сергеевой, 3 апреля 1944

Дорогая Валя!

Посылаю тебе требуемую тобой справку. Может быть, она несколько улучшит твоё материальное положение.

На дворе ужасный буран. Зима хочет наверстать упущенное в своё время. Холодно, как глубокой осенью. Погода такая дрянная, что портит самое лучшее настроение, и по этой грязи, непогоде наши войска развивают такую фантастическую скорость продвижения. Взгляни на карту, откуда ты уехала и где сейчас линия фронта! Если бы ты захотела приехать вновь ко мне, то это бы удлинит твой путь минимум на 250—300 км. (Но этого тебе делать не нужно, и ты не сделаешь. Немцы при отходе порядочно попортили ж. дор. полотно. Докуда сейчас ходят поезда — неизвестно; потом, будем надеяться, что война долго не протянется и наша встреча состоится на берегу Волги*.)

Третий день имеем передышку. Вымылись, подчистились, выпалились. Теперь можно будет шагать снова

* В Чебоксарах, на родине В. А. Сергеевой.

сотню-две по западным областям страны или по другой территории, по которой укажет приказ.

Вчера или позавчера тебе послал письмо, ответ на твоё первое ко мне. Ты терпеливо задержалась с ответом дня на 4—5. За это от меня не получала цельную декаду или больше. Мы расквитались, дальше давай не испытывать друг друга.

От своих имею тоже лишь одно письмо. Почта из-за грязи задерживается в пути, и получение писем удлинится на неделю и больше.

Немного скучаю, немного временами делается тоскливо, и появляется желание безмятежного покоя. Сказывается утомлённость, тем более что перед войной пять лет было непрерывной работы с прекрасными перспективами в будущем. В эти минуты грезится Томск и ты студенткой. Долго ли до исполнения этого полёта фантазии, скажет будущее. Однако к военной жизни привычки не приобрету.

Учись, читай, пиши мне чаще.

Будь, дорогая, здорова, береги себя и наше драгоценное существо.

Крепко целую. Твой Валентин.

В. А. Сергеевой, 13 апреля 1944

Движемся по 40—50 км в сутки. Пословица русская оправдалась: «Русские на Прут, румын за Серет»*. Сопровождение очень незначительное.

Сегодня днёвка. Немного отоспимся, приведём себя в порядок.

Пиши чаще.

Целую. Твой Валентин.

В. А. Сергеевой, 20 апреля 1944

Дорогая Валюшка!

Что же ты редко пишешь. Времени у тебя хоть отбавляй, пишешь, что скучаешь, а письма от тебя поступают раз в декаду. Ведь за все эти долгие три м-ца я получил

* Игра слов. Прут и Серет – притоки Дуная.

от тебя всего-навсего два раза (три корреспонденции). Не дело так. Выходит — ты меня тревожишь больше, чем сама тревожишься за меня. Пусть это не звучит упрёком, но это так.

В предыдущем письме* я тебе подробно написал все новости, которые тебя могли интересовать. За эту пятидневку такого богатства новостей не имею, и поэтому чем-нибудь развеселить тебя не могу.

Всю эту пятидневку находился только при части, и наши экскурсии были в районе одного десятка километров. Вследствие этого ни случайных, ни нарочных встреч с общими нашими знакомыми не было. Если оперативная пауза протянется несколько дней, постараюсь повидать Сурову и почесать с ней язык. Это немного развеселит и рассеет донельзя странное тоскливое настроение и чувство одиночества, которое появилось тотчас после замедления наступательного движения. Поверь, хочется что-то живого, определённого, видимого в своих результатах дела. Я согласен работать до изнеможения, но чтобы быть удовлетворённым работой. То, что приносит день, ежедневное однообразие и идеализированные результаты, не утоляют жажды жизни и разбалтывают волю к труду. А с моей работой ты знакома. Первое время здесь я чувствовал отдых после той работы, которая была в последнее время при тебе, теперь же есть потребность к действию более широкому и тяжёлому. В конечном итоге всё сходится, что война рано или поздно окончится через несколько м-цев и в этом году, может быть, до осени.

Другое — это отсутствие тебя. Привязанность и привычка к тебе так велики, что временами я не в силах сдерживать себя от мысли, что дни, отделяющие твой отъезд и встречу, вновь бесконечны. На самом деле: ни я, ни ты не знаем, когда опять может улыбнуться счастье быть вместе и как долго протянутся эти дни ожидания. А при всём том, что бывает на фронте, эти дни могут казаться нескончаемыми.

* Письмо не сохранилось.

Однако не будем пессимистами! До осени встреча должна состояться.

На днях прошла Пасха. Я лазил на колокольню, но не для того, чтобы благовестом сообщить о празднике христиан, а посмотреть на доты противника. Эти земляные, бетонированные холмы на лугу немало нам причиняют беспокойства. Румыны не закончили войны к Пасхе. Наоборот они в Пасху начали войну на своей проклятой земле*. Старые овцы перенарядились в волчьи шкуры! Но их положение таково, что ни доты, ни помощь им немцев не спасут от их неминуемой военной катастрофы в ближайшие 2—3 м-ца: волчья шкура на овечьем хребте быстро изнашивается, и эта раболепная сволочь вновь станет низко ломать высокую ягнячью шапку.

Ты поверь: какой парадокс между населением деревень и городов, настроенных мирно, и той военной падалью, которая что-то пытается сделать своим ненужным положительно никому военным ухарством. Первые раболепно, временами приторно коленопреклонно унижаются своим изъявлением приветствия нашим войскам, другие — продолжают бойню в целях неминуемой своей гибели. Такая противоположность долго существовать явно не может. Румынское население не хочет войны, устало от неё, она не была, а сейчас и подавно непопулярна среди него, и один крепкий удар обрушит последние надежды ещё у некоторой части солдат, надеющихся на свою линию укрепления. А она, вероятно, имеет агитационный смысл воинственного значения!

Жизнь моя, милая, течёт ото дня в день без эксцессов, без толчков и крупных событий. Я по-прежнему питаюсь хорошо, доволен тем, что день прошёл и завтра будет другой; ночь сплю большей частью крепко, хотя редко раздеваюсь (обстановка, теснота и т.п.). От ф. № 20 свободен**.

* В апреле 1944 правительство Антонеску запросило условия перемирия, которые отвергло. 17-го, в понедельник, на второй день Пасхальной седмицы, вновь начались боевые действия.

** Форма № 20 – справка о вшивости.

Этим обстоятельством тоже доволен (ведь здесь почти не было немцев и оборванных румын). Вот так и живу: доволен всем и недостаёт многого: жены и мира.

В. А. Сергеевой, 28 апреля 1944

О месте переправы через Днестр ты примерно угадала. Мы переправлялись километров 80 севернее. А за Прутом повернули на юго-запад. Как-то уйдя не по своему направлению, были в 70 км юго-восточнее Черновиц. Из этого ты можешь примерно на карте представить наш путь. Но точно представить тебе будет трудно. Да и нет надобности.

В. А. Сергеевой, 3 мая 1944

Событий пока нет, но ожидать можно со дня на день.

В воздухе и на участке стало много живее, чем было в апреле. Идёт война наподобие под Ямным*, но разница здесь в том, что перед собой имеем доты и укреплённый годами район. Район действия для моей работы несколько сложный, особенно для тяжёлых. Однако вчера со своей работой справились неплохо.

Родителям, 1 декабря 1944

Дорогие папа и мама!

От мамы получил сразу два письма, в которых она поздравляет с праздником**. В одном из писем я тоже поздравил, но с опозданием. В этот праздник мы вели сильный бой за один водный рубеж, по величине который равен Колве***. Поэтому праздника как такового не видели.

Пишу неаккуратно, ибо это не оборона, а непрерывные бои и движение. Неаккуратность моя не должна вас беспокоить, как о чём-то случившемся со мною. Живу очень

* В конце 1942 г. 232-я стрелковая дивизия вела оборонительные бои севернее Воронежа под с. Ямным. С 1 мая 1944 по август дивизия стояла в обороне на р. Серет.

** Праздник Иверской иконы Божьей Матери (26 октября).

*** Форсирование Тисы (Венгрия). Колва – река на родине Серебренниковых, в Чердынском у. Пермской губ.

неплохо, но жизнью полной тревог. Чувствуется некоторая утомлённость и потребность в отдыхе.

У вас зима, мы были лишь побалованы одну ночь мокрым снегом. Стоит сырая дождливая погода; размыло дороги и поля. Время очень походит на то, когда Украинские фронты двинулись весной и вышли в Румынию. Война в этих условиях требует большого напряжения и упорства.

Будьте здоровы. Привет от Вали.

Ваш Валентин.

Родителям, 8 мая 1945

Дорогие мои!

Вчера и дня два тому назад получил от вас два письма. Благодарю за поздравление. Именины в этом году не справлял*. Был в пути, в жаркую годину работы и на перепутьи между военной и мирной жизнью.

* Тезоименитство мученика Валентина (7 мая). В. В. Серебренников родился 30 июня.

Александр Панов

* * *

Я слушал землю, лёжа на земле.
Ночь нависала жадной чёрной птицей,
Но глубоко, в бездонной вечной мгле,
Земное сердце продолжало биться.
Земля жила, тревогою полна.
Шли по коре сейсмические волны,
И войны побеждала тишина,
И тишину расстреливали войны.
И вздрагивало сердце с сердцем в такт.
И время, замирая, шло по кругу,
И тяжело, как лязгающий танк,
Сенокосилка ползала по лугу.

* * *

Кони в лентах. Выбора!
В клубе музыка с утра.
И бесплатно в кинозале
О войне кино казали.
В зал спешили пацаны
Пережить восторг войны.
Шла война. В набитом зале
Её правильно казали.
Только пьяный Михаил
Сорок первый костерил.
Михаила выводили,
Как положено, стыдили,
И домой его везли,
В сани сунув костыли.
А война гремела в зале,
Заливала зал слезами,
И сидели пацаны,
Как участники войны.

* * *

Я ещё на заречном лугу
Собираю упавшие звёзды
И зорю, уподобясь врагу,
На деревьях сорочьи гнёзда.
Я ещё не оставил себя,
Не покинул отцовского дома,
И с ватагой соседских ребят
Разбиваю Мамая у Дона.
Слышу шелест летящей стрелы,
Зов тяжёлой, встревоженной меди.
Я ещё у засохшей ветлы
Не подумал о жизни и смерти.
И звучанье миров надо мной
Растворяется в зарослях мыса.
Я ещё восхищаюсь войной,
Не поняв её страшного смысла.

Александр Цыганков

Вершина

Распятые читаются в каждом окне,
И тень возникает на каждой стене.
Следы оставляет любая ступня.
И пепел останется после огня.

Но символ полёта — не крылья, а крест.
И место героя — не крепость, а Брест.
И ночь, поглотившая крики беды,
Прозрачнее всякой проточной воды.

Как всякая правда коварнее лжи,
Опаснее бритвы тупые ножи.
Рождённое слово острее пера,
Но ниже Голгофы любая гора.

Часовой

Вдруг станет близким всё, что дико
Тогда ревело на ветру.
Летели в ночь обрывки крика
И вспыхивали на яру.
И заслоняла нас держава,
Как небо, тучей грозовой,
Пока негромко Окуджава
Всё пел и пел про долгий бой...

Зарево

Луна — в радугу ряженая —
Простужена.
Улица — нервная, ржавая —
Натружена.
Над крышами шлейф самолёта —
Оранжево,
Словно сжигают пилота —
Заживо.

Солярный знак

Шипы терновника и свастики паук,
И мак, алеющий на ниве вместо хлеба.
Цветок распущенный разительней, чем звук
Бомбардировщика, летающего с неба
В окно, прорубленное в тот заморский край,
Где век тому назад пропахшие железом
Баварцы brave, выкрикивая «хайль!»,
Приветствовали смерть в диктаторе нетрезвом...

Солярный знак — тавро, каким клеймили скот, —
В зеркалах памяти опутан паутиной.
И возводящий вновь из праха эшафот
На собственную казнь ещё придёт с повинной.
И эхом прозвучат крылатые слова
На языке, давно забытом, словно вера,
Тех жалких зрителей, качающих права, —
Убийственных времён Септимия Севера.

Всё это было здесь, и всё вернётся к нам —
И страх, и смертный грех, и слёзы, и расплата
За зрелище всего, за жертвы всем богам.
На всех одна вина — за каждого солдата.

Северное сияние

Алексею Буховскому

Ты помнишь, как ярко светили огни с небосклона,
Мы шли с гауптвахты, и ротного матерный крик
Разрезал пространство до рудников Каларгона
И вдруг обернулся песнею «про материк».
Ты помнишь, Алёша, как строем ходили и пели,
По белым дорогам, и грудью вдыхали пургу.
О чём-то далёком слагали стихи, как умели,
Но строчки забыли в глубоком таймырском снегу.

Мы даже не знали, куда прилетели с гражданки.
Надели шинели! И каждому стало теплей,
Когда, как виденье, под звуки «Прощанья славянки»
Вдруг вспыхнуло в небе сиянье магнитных полей!
Пусть кто-то не помнит метелей нестройное пенье,
Казармы под снегом и ротного крики вдали,
Но высветит память полярное это свечение
Над белой дорогой — у самого края земли.

Елена Кириллова

* * *

*Растаял в далёком тумане Рыбачий,
Родимая наша земля*

Николай Букин.

Холодная магия слова
И музыки — вроде простой:
Я слушаю снова и снова,
Как волны шумят за кормой

И стонут — в любую погоду,
Ревут — в устрашение врага.
Откроется через полгода,
Чем песня мне так дорога —

Расскажут, что дед мой Василий
Три года от дома вдали
Стоял за победу России
На славном участке земли.

Мой дед — на «гранитном линкоре»*,
Где немцы — с одной стороны,
А с трёх — безграничное море,
Куда уплывают сыны

Старинных рыбацких становищ,
Далёких и братских краёв.
С судьбою, увы, не поспоришь —
Вернутся ли все из боёв?..

«А волны и стонут, и плачут»,
И строим идут корабли,
И тонет в тумане Рыбачий —
Окраина русской земли.

* «гранитный линкор» — так моряки называли полуостров Рыбачий

Сергей Максимов

Солдату Николаю Асадчему

Гарь прохаркали и полезли танки полем,
И с лязгом траки разрывают в клочья рань.
Ты справедливо захандрил, Асадчий Коля:
С калибром вашим против танков — дело дрянь...
Не дальнобойным пушкам бить прямой наводкой,
Но приказали, и пехотой не прикрыв...
Уже комбат хрипит в кровь сорванную глоткой:
«К прицелу, Коля!». Наводи, ты будешь жив...

А то, что бьют по вам, — терпи. Знай, будет хуже.
Но ты расплатишься, придёт и твой черёд.
Не чем-нибудь отплатишь, залпами «катюши»,
За этот бой, за сорок первый горький год.
Ты будешь месяц с лишним скован немотою,
Но то, что будет, даже мысленно не тронь.
Знакомь их с русскою немеряной верстою,
Вставляй фугасный, бегло целься и — «огонь».

Ползи, ровесник мой, землюцу обнимая, —
Она спасёт тебя, на то она и мать.
Ты знай, что будет день в таком далёком мае,
И будет время вспоминать и поминать.
И будет гладить внук простреленную руку,
И будет чтить тебя немалая семья.
Пошлёт ещё тебе Господь детей и внуков.
Уж я-то знаю... Деда, это знаю я...

Солдатская песня

На восток мы шли дорогами разбитыми.
Мимо сёл шагали, пряча в горе взор.

Вышивали по России «мессершмиттами»
злые вороги убийственный узор.

Даже солнышко казалось нам неласковым.
А по полю, по дороге, по стерне
вшами к нам ползли, кусая, рая, лязгая,
танки с чёрными крестами на броне.

И потери были часто, что напрасные,
но дрались и воевали как могли.
Вырывали с воем бомбами фугасными
супостаты душу из родной земли.

Только зрело в горе время переломное,
и солдат, кто жив был, кровью пот запил.
И вставала на врага страна огромная
против нечисти и против тёмных сил.

Не вместили всех солдат могилы братские.
Точно русской не хватило нам земли.
И расхристанные косточки солдатские
от Кавказских гор до Одера легли...

На восток мы шли дорогами разбитыми.
Мимо сёл шагали, пряча в горе взор.
Вышивали по России «мессершмиттами»
злые вороги убийственный узор.

Ведущий-ведомый

Мы были нестерпимо молодыми,
и нам хотелось драться и летать,
и «мессершмитты» называть «худыми»,
и «фоккевульфы» «фокерами» звать.
Война уже на запад покатилась.
Он встал в ряды гвардейского полка,

когда в боях дошла и раскалилась
до крайней точки Курская дуга.

Жму на гашетки, этот бой итожа.
Бью по «тузу», и первый раз в эфир
кричу ему: «Прикрой меня, Серёжа!».
И он кричит: «Вас понял, командир!».

Мы вместе не один день налетали.
Мы лезли дружно, позабыв про страх,
на самые крутые вертикали,
не копошась на скромных виражах.
И нам хотелось слышать вой знакомый,
и больше их огнём к земле пришить.
Бой, как челнок: ведущий и ведомый —
сведённые в одно — игла и нить.

Свалился наш. У них пылает тоже.
А у меня фонарь свистит от дыр.
— Четвёрка слева... Атакуй, Серёжа!
— Вас понял. Прикрывайте, командир!

Своим огнём дырявя лонжероны,
нас смерть хотела приписать к земле.
Нас побратали в небе «эрликоны»,
и даже рота в чёрном на земле.
Я сел в болото. Только что не в тине...
Стреляют. Он заходит... Брось, дурак!
Потом вдвоём мы стиснуты в кабине...
И взлёт под пулемёт и лай собак!

И снова с холодком, а то и с дрожью
прошу его, чертя огнём пунктир:
— Бью «юнкерса». Прикрой меня, Серёжа!
— Вас понял. Слева «фокер», командир!

Погиб Серёжа. Вспыхнул, точно факел,
и штопором ревушим — до земли.

А я орал, я одурел, я спятил.
Я сбившего его вмиг завалил.
Мне снится до сих пор: сознание тает,
мой «Як» теряет быстро в высоте,
и на земле Серёжка догорает,
патронов нет, и два «худых» в хвосте...

И пламя с болью слизывает кожу,
и музыкой чужой бренчит эфир,
и, как в бреду, кричу: «Прикрой, Серёжа!».
Но он не крикнет: «Понял, командир».

Мамбаба

Полине нетрудно было найти нужную улицу и дом под номером тринадцать.

— Вот он, тот самый тринадцатый, — вполголоса сказала сама себе Полина. И, чтобы окончательно убедиться, порывшись в сумочке, нашла записку: «Садовая, номер тринадцать, Крутова Анастасия Васильевна».

— Настенька, Настёнка, милая девчонка, — открыв калитку и напевая, пробиралась по узенькой тропке, кругом заросшей лопухами и настырно цеплявшимся за юбку репейником.

На двери кнопки для звонка не было, да и откуда ей в деревне-то появиться. Здесь всё нараспашку — и души, и двери. Лишь на ночь затворяют изнутри на крючок.

Постучала в дверь, затем ещё и ещё. Но к двери никто не подходил и не было слышно приглашения. Так и не дождавшись ответа, Полина, слегка приоткрыв входную дверь, для храбрости крикнула:

— Есть кто живой?..

Но тишина настораживала.

— Бабушка, Анастасия Васильевна-а-а, где вы-ы? Ау-у.

Наконец в ответ откуда-то с печи донёсся приглушённый хрипловатый голос:

— Ну, что, что раскудахталась? Заходи, не в лесу же, — раззаукалась....

— А вы всё молчите да молчите, и я испугалась. Тишина какая-то...

— А с кем мне тут ворковать-то? Рыжик был и тот сбёг, а может, собаки задрали, вон их сколь развелось, чуть ли не в каждом дворе... А я, девка, знала, что тебя ко мне отравили, располагайся, — всё мне веселей будет. Кровать

выбирай, у меня их целых две, а я здесь, на печке, косточки прогреваю. С утра протопила, а всё жарит.

В квартире действительно было тепло, уютно и светло. От герани, которой заставлены все подоконники, по квартире исходил аромат. И Анастасии Васильевне, похоже, наскучило одной, или сама по себе говорунья, не давала вымолвить словечка Поле, продолжила: — Верчусь вот с боку на бок, пока жива — смерть не берёт, устала уже... Ноги-то на погоду ноют, никудышные они у меня, всё испытывали. Да что это я о ногах... Торопко, но с усилием бабуля слезла с печки и подошла к Полине:

— Да ты, я смотрю, худющая-то какая... Как звать-то тебя?

— Полина, — ответила девушка, доверительно глядя на бабушку.

— Полюшка, значит. Ты присядь, присядь, в ногах правды нет, устала, поди, с дороги. Сейчас чайку попьём, свеженького заварю, смородинного листку подброшу, всё вкусней будет, — захлопотала бабуля.

— Спасибо, — потирая руки, довольная, ответила Поля, присев на старинный деревянный сундук. Она действительно чувствовала усталость.

Бабуля села напротив неё на табурет, и, сунув ноженьки в коротко, как тапочки, обрезанные валенки, продолжила разговор:

— Блузка на тебе вон богата, а коса-то, коса-то какая... — и потянулась к своей голове. Воткнула гребёнку в тончайшие волосёнки, понуро продолжила:

— Была у меня коса... да сплыла... — после тифа весь волос вылез, голова коростами покрылась, под пацана потом стриглась. Всё в платок куталась. Но коросты-то меня и спасли...

Старческие губы дрогнули, бабуля замолчала, и в комнате зависла тишина. Но спустя несколько мгновений Анастасия Васильевна, совладав с собой, продолжила:

— Когда война началась, мне девятнадцатый год шёл, братику моему Феденьке — шестой. Славный был парнишечка, с детства судьбой обиженный — немой родился.

Меня сильно любил, и я его тоже. Мамонька наша в болоте утопла, батя на фронте погиб, остались мы с Феденькой вдвоём.

Немцы, когда в наше село пришли, стали свои порядки наводить, над народом измываться. Как-то утром к нам в хату немецкий офицер заявился, начал ко мне приставать. Феденька защищать меня хотел, укусил его за руку. Фриц этот, фашист, кулаком его ударил, зуб ему выбил, и опять ко мне полез. А я незадолго перед этим тифом переболела, наголо острижена была. Сорвала с себя платок. Голова моя вся в коростах... Кричу ему: «Полюбуйся, фашист поганый, на меня!» — немец плюнул и из хаты вон.

А на другой день немцы окна нашей хаты досками забили, дверь подпёрли и подожгли. И ещё две хаты, где тифозные больные были, сожгли. Боялись, чтоб не заразиться.

Нам-то с Феденькой после того, как у нас немецкий офицер побывал, сразу бежать из села надо было, так ведь не думала я, что так всё обернётся... Анастасия Васильевна опять, на сей раз надолго, умолкла.

Полина, видя, что ей тяжело вспоминать то страшное прошлое, хотела отвлечь её от горьких воспоминаний, сказать о чём-то не связанном с ними, но поняла, что старушке станет легче, если она выговорится. И Анастасия Васильевна, справившись с волнением, продолжила:

— Подпол в нашей хате был глубокий, спустились в него. Задыхаемся от дыма. Федюшу, Феденьку на руки, прижимаю мальчонку к себе, и он ко мне жмётся, защиту ищет... Что-то сказать хочет и не может... Задохнулся у меня на руках.

Анастасия Васильевна истово перекрестилась.

— Безгрешный ребёночек, поди, встретился на небесах с родителями. А меня сосед, дядя Илья, спас — чуть живую из подпола вызволил. Только не мил мне был тогда белый свет — ведь братика своего я не спасла, из-за меня погиб...

Надо было, когда немцы пришли, из села бежать, надо было...

Феденьку на погосте схоронила, соседи помогли. И решила с собой покончить.

Болото неподалёку от нашего села большое, теперь-то оно подсохло, а тогда топкое было, считай, заросшее озеро. Пошла к нему. Мамоньку там трясина затянула, и я утоплюсь. Бреду по топи, чую, как она меня всё глубже затягивает... Вдруг слышу — кто-то позади свистит. Неужто, думаю, немцы за мной гонятся? Обернулась, вижу, кто-то по колено в болотине стоит и мне машет. Пало на ум — может, батя мой не погиб, может, фамилию в похоронке перепутали и он домой воротился и меня зовёт...

Пригляделась — нет, не батя, а из соседнего села мужик. Я его малость знала, когда немцы пришли, он к партизанам подался. И тут, значит, зачем-то к болоту пришёл и меня увидел. Стою, смотрю на него, а он ко мне кое-как подошёл и за руку схватил: «Дурра, жить надоело? Пошли со мной, ворочаться тебе некуда, будешь в партизанском отряде фашистам за отца и братишку мстить». Так в партизанском отряде без малого год я и пробыла.

Несколько раз на краю могилы была, да вот — уцелела.

Замуж вышла за Николая, за того самого, который меня из болота вызволил. Советно с ним жили. Он смиренный был, печник хороший, вот эту печку он клал. А детей у нас не было, не довелось, в болоте, видно, всё позамораживала... Чужих детей растила, нянькой была.

И Анастасия Васильевна погладила Полинины волосы: «Хорошая у тебя, Поля, коса, а у меня волосы там, где коросты были, так и не отросли. Мазали мне в отряде дёгтем и синькой, ничего не помогло...

Что же это я про чай забыла, — спохватилась Анастасия Васильевна.

Сейчас, сейчас всё улажу, и борщ наваристый есть с пусткой квашеной.

А мне ещё вчера сказали, что с города к нам новую учительку пришлют. Комнату тебе в бараке дадут, бабы, что помоложе, вчера её белили, завхоз сказал: «Пусть покамест учительница у бабки Настасьи поживёт, а к сентябрю квартиру ей наладим».

Так там холодно. А ты оставайся у меня, внучкой мне будешь?» — «Буду, — кивнула Поля, — у меня нет бабушки... И мамы тоже нет, детдомовская я. Можно, буду звать тебя Мамбабой?»

— Да мне только в радость будет, — ответила довольная Анастасия Васильевна. — Тебя сам Бог ко мне послал....

Больше трёх лет жили они душа в душу. Полина Анастасию Васильевну так и звала Мамбабой.

В летний солнечный день умерла Мамбаба. И деревни той уже в помине нет. Лишь на кладбище кое-где холмики и крестики уцелели. Уцелел и Анастасин крест с надписью «Дорогая Мамбаба».

Подвиг

Наверное, многие из вас в детстве играли в войну. И каждому хотелось быть победителем, совершить какой-то подвиг, почувствовать себя героем. Так вот и мы с Юркой, с племянником моим. Было нам лет по семь, не более. Разница в возрасте в три месяца. Старшей я себя считала. Может, поэтому всегда я Юрку на подвиги санивала. Жили в Батурино, посёлок большой, людный, труженики все.

Лето, жара, июль. Мы с Юркой плюхаемся в речке Болван, мелкая, правда, речушка, зато родители нас смело отпускали одних. В самых глубоких местах вода достигала нам по горло, но мы туда не лезли, нам и по пояс хватало.

Накупавшись досыта, собрались домой. Вдруг слышим шум — трактор едет.

— Юрка, танк! — кричу я. Ну, это мы понарошку так его называли. А трактор большой, издалека видать. — Успеем?

— Успеем! — быстро подхватил Юрка. И мы бросились бежать на дорогу. Юрка ещё прихватил бутылку, которую мы нашли на берегу реки. Хотели сдать, а на вырученные деньги халвы купить.

— Бутылку-то брось, потом возьмём!

Но он рвался вперёд, не выпуская её из рук:

— Дура ты, это граната у меня!

— А-а-а, тогда ладно.

Но бутылку мне всё равно было жалко. «Не видать нам халвы, — думала я. — Взорвёт «гранату» Юрка!»

«Танк» всё ближе и ближе. Времени совсем мало, и вот мы на дороге. Ложимся в более глубокую ложбинку, зарываясь в рыхлый, как пух, торф. Не шевелимся. Нам почему-то очень хотелось проявить свою смелость. Танк над нами проедет, а мы живыми останемся. Бутылка не выходит из головы: вдруг Юрка руку не так вытянет, и танк бутылку раздавит? И вот последние минутки.

Сказать, что в тот момент не ощутила страха, я просто не могу, но и выглядеть трусихой тоже не могла. «Лезть, — твердила я себе. — А как же на войне?»

И вдруг резкая тишина. Громкий рёв трактора прекратился. Он остановился буквально в двух-трёх метрах от нас. Мы не успели увидеть, как выскочил «танкист», так как были закопаны по уши в торфе. Но зато я хорошо ощутила боль, тракторист трепал меня за волосы, при этом громко орал, он был просто в истерике. Юрке же досталось меньше, то ли потому, что у него волосы короткие, а за уши долго не потянешь, то ли оттого, что у меня уши маленькие, а волосам больше досталось. Да-а-а, влипли... О «подвиге» мы решили смолчать. Но на следующий день о нас говорил весь посёлок. Боялась — папка узнает, совсем лысой останусь.

Узнал и папка...

— Расскажи, доченька, как это было?

— А помнишь, ты мне про войну говорил, как там танки немецкие взрывались? Вот и мы с Юркой...

— Так это же была война! И танки немецкие. Не воюй, доченька, живи в мире.

А вместо того, чтобы оттаскать меня за волосы, крепко обнял и задумался. Похоже, он вспомнил ту, настоящую, страшную войну. Войну, которая наделала столько горя и бед.

Ирина Неклюдова

Лагерный сад в Томске

В ночи растревожены ели,
Но скорбную память хранят.
Здесь вписаны намертво в стелы
Фамилии наших ребят.

Живой, на вершине кургана
Горит, не потухнет огонь.
В нём — все побеждённые страны
И всех победителей стон.

Земли беззащитные дети.
Гранитная совесть чиста.
Девятого мая всем светит
Печальное солнце Христа.

* * *

Светлый праздник — Девятое мая!
В нём начало грядущих побед.
Мир впотьмах, на ходу прозревая,
Ищет в нём и находит ответ!

По России живые колонны
Память подвигов с гордостью чтят.
Поклоняются высям Поклонным
Поколения новых ребят.

В этом слове — ПОБЕДА — незримо
Счастье детского хлеба живёт.
Над Россией, любовью хранимой,
Пусть лишь мирный горит небосвод.

Первая фотография

Книга жизни моей семьи —
Обтрепавшийся фотоальбом:
Мама — девочка лет семи —
Мажет глиной саманный дом.

Казахстанская степь вокруг
Заслоняет от мин войны.
Белорусский соседний луг
Стал могилой для всей родни.

Знает девочка лишь одно —
Трудно выжить, когда ты слаб.
«Если сдашься — уйдёшь на дно», —
Повторял её дед Остап.

Помогает хозяйке злой,
У которой вчера овец
Рано утром угнал конвой,
Обещая: войне — конец.

Лижет раны степей огонь —
Расцветающий красный мак.
Время, маму мою не тронь,
Не сжимай всех в один кулак.

Мы с сестрою там не были, — нет...
Там, где девочку лет семи
Любит жгучий небесный свет,
Обнимают, любя, ковыли.

Китель

Весна нынче — бесшабашная, весёлая, распевается птичьим гомоном на все лады. Отогревается Сибирь на щедром солнышке. Сельские жители рады. Теплицы полны зелени и света. А девятого мая словно летний день в гости заглянул. Постучал в окошки, прокричал петухами. Спит дед Матвей непривычно крепким сном. Накатили вчера воспоминания, — вдруг это последний его победный праздник на грешной земле? Успокоиться долго не мог. Правнук Митяй, Митенька, вперёд него свалился. А ведь рассказы может слушать до бесконечности. И куда только в него влезает?

— Митька! — кричит мать. Потеряла. Заглянула в комнату. Поправила одеяло. Оба дышат беспокойно, будто воевали всю ночь. Ладно, пусть отсыпаются. Успеют до митинга собраться. Да и что тут собираться? Китель с наградами надел да пошёл. Село Сибирка большое. Дед Матвей был местной достопримечательностью. Ни у кого, как у него, столько орденов и медалей не было. Как накинёт китель свой потёртый, спину сгорбившуюся разогнёт, идёт, позвякивает, всем пацанам на зависть. Не зря он — гордость районного масштаба, а то и городского. Сколько раз уж на грандиозные праздники Победы забирали. Но юбилей только на следующий год, да ещё какой — 70 лет с 1945-го года прошло. Мало их, ветеранов, всего двое осталось. Недавно ещё один двор опустел. Дед Монтий помер, внучка сразу в район перебралась, её давно в местный детский сад музыкальным работником звали. А свой вот опустел пока. И родители старенькие одни остались.

Праздновали День Победы всегда масштабно, нарядно. Всем селом на площади перед конторой собирались. Местный умелец, трудовик школьный, с учениками памятник обновили, ещё с советских времён установленный. Женщина с ребёнком на руках обнимает бойца, а он, словно вырываясь из её объятий, с винтовкой в руках смотрит вдаль. Что там видит? Сибирка — старинная. Никто не знал точно,

сколько ей лет. Говорили, что первыми старообрядцы здесь поселились, да они отрицали это, мол, местные, селькупы, приняли и научили, как в суровых условиях выживать. Разрослась за много веков Сибирка вширь и вглубь, леса и поля отвоевала, к нуждам своим приспособила. На каждом митинге, конечно, начальство речи говорило и кого надо награждало. Но без деда Матвея праздник каким-то половинчатым воспринимался. Не нравилось односельчанам его в город на главный парад отпускать. Самим нужен! Из каждого родного двора когда-то, как и по всей стране, мужики на фронт ушли. Только несколько человек возвратилось.

— Митька, — мать опять в комнате, — дед, вставайте. Пока позавтракаете, время-то быстро идёт. Нехорошо опаздывать. Сам знаешь, без тебя не начнут.

— Ой, Зинка, — дед Матвей открыл глаза, — что-то тяжело мне, сердце давит.

— Ой, деда, не пугай.

— Да не бойсь, внучка, обойдётся. Да только слабость вот проклятушая опять накатила.

— Да вы всю ночь шушукались, я пить ходила, не говоритесь всё. Во сколько уснули?

— Да петухи не пели вроде.

— Счас таблетку принесу. Лежи пока. А ты, Митька, вставай!

Шестилетний внучок потянулся сладко, протёр глазки, обнял деда, подпрыгнул на кровати, от чего дед болезненно сморщился, и вылетел за дверь. «Победа, победа», — прокричал он громко. Пёс по кличке «Победа» ответил радостным лаем. Глаза прадеда наполнились слезами. «Только бы встать». И он, словно готовясь к атаке, собрался было из последних сил, приподнялся, да рухнул на подушку. «Нет, отлежаться придётся сегодня. Вот невезуха». Приготовленный с вечера заботливой Зинаидой китель укоризненно блеснул начищенными наградами и ждал своего торжественного часа. Весь год до этого спрятанный в огромном старинном шкафу, висел в тёмной и тесной глубине, зажатый с обеих сторон ворохом женских одежд.

А на площади потихоньку собирался народ.

— Что-то деда Матвея не видать, обычно он раньше приходит, — заволновался кто-то.

Младшие мальчишки крутились, поднимая пыль. Кружили на велосипедах, гонялись туда-сюда. Кто-то сообщал новость, испугав изрядно односельчан:

— Деду Матвею плохо.

— Да не баламуть ты воду! — Это соседка. — Отлежится и придёт. Он у нас крепкий.

— Ну да, а то с кем фотографироваться будем?! — В толпе видны были незнакомые лица. Молодёжь спешила запечатлеть сэлфи, прикоснуться хоть краешком любопытного сознания к уходящей эпохе, ускользающей, непонятной, полной героизма и патриотизма. О пролитой крови, потерях близких, голоде и нужде думалось меньше, а то и не представлялось вообще.

Вихрастый Митька прилетел, встал в строй рядом с вечно поддатым дедом Семёном. Зато у него на стареньком пиджаке две медали, как два глаза огромных выглядывают. Его правнук, больно пнув Митьку грязной ногой, зло прошипел над ухом: «Сегодня мой дед главный, понял?». Митька огляделся кругом, шмыгнул носом, было больно, но не подал вида. Все односельчане смотрели на него, словно спрашивая: «Награды где? Где дед?». И Митька рванул домой. Сорвал со спинки стула сверкающий китель, напялил на себя, путаясь в неподдающихся рукавах, дед только вопрошающе крякнул, когда правнук прозвенел: «Не дрейфь, деда. Ты — в строю!». И выбежал. Левая пола перевешивала, волочилась по полу, круглые медяшки стучали по коленке, но Митька, на ходу обняв болтающимися рукавами награды и выправив, подтянув к животу тяжёлую одежду, помчался по опустевшей улице изо всех сил, чтобы успеть к началу митинга.

Директор уже начал говорить приветственную речь, когда запыхавшийся мальчишка выбежал на круг, остановился, выпрямил спину и, размахивая по-военному широ-

ченными рукавами, прошагал гордо через центр, встал рядом с ветераном. Дед Семён икнул и невольно расправил плечи. Глаза его часто заморгали и наполнились слезами. Рядом из большой горловины торчала маленькая, но гордо вскинута Митькина голова, плечи кителя свисали чуть не до локтей. Вся его нескладная детская фигурка передавала пусть не до конца осознанную ещё, но такую горькую и ликующую истинность момента. Женщины начали всхлипывать. Мальчишки помладше сорвались со своих мест, старшие, чуть помедлив, убежали тоже. Над площадью зависла странная тишина. Баба Катя, ударница тыла, с медалью на цветастой кофте, обняла Митьку и заулыбалась всем.

Первым примчался Алёшка. Он жил ближе всех. Прадеда своего он не знал, родился, когда того уже схоронили. Но обмундирование военное родные берегли, и за праздничным столом в День Победы наградным почестям отводилось самое почётное место. И стопочка перед этим стулом пустым, как полагается, ставилась, и корочка чёрного хлеба сверху. И фотография деда в центре стола стояла, рядом с цветами. Малышне, конечно, разрешалось недолго на главном, хоть и старом, скрипучем стуле посидеть, на спинку не облокачиваясь, да и взрослые за особую гордость почитали.

Со всех сторон села прибегали мальчишки. Кто в чистом костюме, кто в мятом, видно, только что из какого-то сундука или дальнего угла вытащенном. Четырёхлетний Славка, недавно приехавший с родителями-беженцами, из картона вырезал не очень ровный, но зато по размеру бóльший орден, фломастером быстренько обвёл, главное, что подписал «ОДИН» и вместе со всеми в строй ветеранский встал. Семиклассник Юра надел форму отца, что в Афганистане воевал и не вернулся. Девочка Дарья чуть не подралась с братом, разбираясь, кто имеет больше прав китель прадедушкин надеть. Старшая была, одолела брата. Он стоял теперь надутый и рассерженный, но вот кто-то из стариков фуражку ему свою военную отдал, оттаял парень сразу.

Митинг праздничный долго не начинали, пока от каждой семьи кто-нибудь да не пришёл. словно чуда ждали, как когда-то с фронта. В селе много было тружениц тыла, и про их награды правнуки не забыли. Девяностолетняя Аглая первый раз в жизни пришла. До этого все митинги, по любому поводу, игнорировала, властей не боялась. Пять сыновей и мужа с фронта не дождалась. А тут и её сердце оттаяло, смягчилось. Дочь рядом плакала, а она нет. Выправился строй ветеранский, в центре — протрезвевший дед Семён и Митька, и, словно ожившие, пришедшие в гости навсегда прадеды, деды, отцы.

Дед Матвей охал, волновался, переживал. Вроде полегче стало, охота на митинг сходить. Вдруг шум на улице услышал, да как Зинка по дому забежала, засуетилась. Распахнулось окно в его комнату, словно солнце само лучами растворило. Гул радостный влетел, забился в стены. Ох, рано помирать ещё, односельчанам нужен! Придвинули вошедшие мужики кровать его к подоконнику, изголовье выше подняли, чтобы видел всё. Пора митинг начинать. Стопку водки исподтишка налили, дали глотнуть, закусончик из карманов. И... поехали. Слов много красивых было сказано. Да слов не хватило. Соорудили прямо во дворе (и часть улицы прихватили) громаднейший стол, яств вкусных натащали, а как сели дружно, вспомнили, что в 1955 году вот так же за единым столом всем селом собирались. Дед Матвей не улежал больше, такое пропустить нельзя.

Картинки сего праздника по Интернету быстро разбежались, и во многих городах и молодёжь, и люди постарше в военных мундирах ушедших безвозвратно родных на парад пришли. Вместе с безымянными полками цветы к стенам и памятникам возложили.

А Митька, невольный виновник новой традиции, ни о чём не подозревая, поедал с нескрываемым аппетитом хрустящие постряпушки бабы Дарьи. Она ими на всё село славилась. И хорошо, а то дед Матвей за китель пережи-

вал. Не ровён час, запачкает. Маленький ещё, чего с него взять. На своих плечах кителю спокойнее.

Поживи ещё, дед Матвей, пожалуйста, поживи...

Слёзы

Сегодня 9 Мая. Все родственники, как всегда, съедутся к нему в деревню. Некоторых раз в год только и видит. Жена суетится на кухне уже два дня. Холодец наварила, булок настряпала. Малышня обязательно побежит на речку, благо вода спала, но мостика их любимого ещё не видать. Взрослые рассядутся вокруг большого стола на солнечной веранде, будут пить, есть, закусывать, расспрашивать, песни петь. Только бы не расплакаться снова. Никто ведь его не понимает. Смотрят изумлёнными, а то и возмущёнными глазами: чего это все радуются, веселятся, а он — единственный из всей многочисленной родни с войны возвратившийся — плачет. Как можно? Старик, одним словом. Сентиментальный, беспомощный старик. Своих детей нет, не нажил. Жена моложе на 15 лет, тоже одинокая, из детдома. Всех родственников родная младшая сестра, неугомонная, вокруг себя сплывает и объединяет. А ему давно хочется только покоя и тишины. Никогда не осмелится всей правды о войне рассказать. Той, о которой газеты не напишут. При его жизни, по крайней мере. Как командиры своих расстреливали, как в бессмысленные атаки посылали на верную смерть, порой без оружия и боеприпасов, лишь бы приказ выполнить. Он — выжил, потому что танкист. И взяли в 43-м, на сломе войны. Отец ушёл в 41-м и погиб почти сразу, как дядя и старшие братья, как все, кто не был ранен в первые месяцы войны и тем спасён, отсрочен. А он через всю Европу прошёл, в боях за Берлин сражался, есть что рассказать. Ребята на стенах рейхстага фамилии свои, победные росписи начёркивали, а он тогда впервые расплакался, слёз не стесня-

ясь, беспомощно, страдальчески, навзрыд, как девчонка, как баба бестолковая. И наплевать было на историческую значимость момента. Потому что друга единственного на кануне потерял, и удар этот был страшнее любого проигранного боя. Это как потерять часть себя. Сколько раз шептались с ним и делились неизбежным, мыслями молодости шальной, молодости не выдавшей, не целованные оба. Сколько раз друг другу клялись. Шутка ли, в 17 лет попасть на фронт. Видеть войну, бои бесконечные сквозь узкую прорезь стального окошка. Быть в броне. А сейчас — беззащитный. Три поколения придут. Конечно, он рад. Но только бы не расплакаться. Опять будут приставать: Расскажи да Расскажи. И опять не выдержу, сдамся. И опять зависнет пауза неловкая на несколько минут, а потом кто-то затынет песню, её подхватят другие. А он уйдёт в свою комнату или выпьет водки за единственного друга, остающегося вечно молодым, улыбающимся и простившим его за то, что, несмотря ни на что и вопреки всему жизнь всё равно продолжается.

Немец

Вся контора гудела, обсуждая доклад Хрущёва, «культ личности», прошедший съезд. Кто дал волю резким словам, кто тихо плакал о невозвратимом и навек утраченном. Равнодушных не было. Одна Зина, по-прежнему уставившись в чертёжную доску, пыталась понять: где ошибка? Расчёты не сходились. Задерживаться не хотелось, сама настояла записать сына в кружок авиамоделлистов. Может, хоть этим заинтересуется. В школе — сплошные тройки. Только учительница немецкого языка довольна. Здесь он — впереди планеты всей. Вызвался даже помогать на факультативах пятиклассникам. И откуда такой интерес? У Ивана и кличка была поэтому — немец. За подобное имя чужаки и побить могли. Память войны жила и побеждала. Но русоволосого Ивана это, ка-

залось, не трогало. Он сам не мог понять, почему из всех предметов ему нравится именно немецкий. Отшучивался не по-детски. А потому, что Зинаида Павловна — красавица. И имя у неё как у мамы. Ich werde mem Bestes tun. (Я сделаю всё возможное). Его даже прибабило недавно стишок сочинить, естественно, не на русском. «Странный мальчик», — говорила учительница словесности. Ей было обидно: родной язык знает хуже, чем чужой. Ванька часто любил пропадать на окраине, где скученными дворами жили немецкие переселенцы.

Зине повезло после войны выйти замуж. Отставной майор, покалеченный, без руки. Пять лет прожили душа в душу, а как узнал муж, что отцом станет, выгнал молодуху из дому. Ушла в чём пришла, и больше о себе не напоминала. Наоборот, молилась всё чаще, чтобы не нашёл. Иногда накатывал страх, что Ваньку заберут, отправят в детдом или того хуже. Что могло быть хуже, Зинаида не знала и гнала мысли прочь. Осторожно прислушивалась к неутрачивающим и не утешающим разговорам в конторе; нет, они не давали ей новой окрыляющей надежды. Что будет дальше, не знает никто. И почему сына заклинило с этим немецким, warum? Надо срочно заинтересовать его чем-то другим. Но перепробовано было в их маленьком городе, казалось, всё. Оставался ещё кружок авиамоделлистов. Может самолётики начнёт мастерить. Всё-таки его настоящий отец — лётчик, военнопленный немец, с которым случайно схлестнула судьба. Или не случайно? Глаза его — огромные, голодные, влагой туманились, как только её видел. Двухнедельная практика, старая избушка; старуха, вздыхающая за печкой, не мешала им никогда, хотя всё понимала. Зина заметила однажды, как перекрестила их украдкой. А ведь у самой двое сыновей с фронта не вернулись. Старшего звали Ваня. Ваня — имя русское, это — как защита, как дополнительный оберег.

«Ох, будет наш Ванька переводчиком! Помните моё слово! Что заявил недавно: Ich mochte alle Sprachen sprechen! (Я хотел бы говорить на всех языках!)» Какой учитель не гордится своим учеником! Зинаида только

вздыхала. У мужа, как оказалось, не могло быть детей. А от неё скрыл, боялся, что уйдёт. Своих детей нет, и чужому не обрадовался. Как живётся теперь ему, с кем? Только бы копать не начал, от кого! Ведь если узнает, страшно. За Ваньку, да и Отто не поздоровилось бы. А вдруг знает уже, сразу узнал? Нет, тогда такой шум бы поднялся, ой-ой-ой. О любви своей Зинаида молчала, похоронив заживо. Нельзя! Никакой партийный съезд её горю не поможет. Никто её не поймёт. Любой осудит. И Ваньку со света сживут.

Домой пришла, как чаще бывает, поздно. Сына не было. В стопке аккуратных тетрадок лежал листок с непонятными немецкими строчками, последняя из которых выстрелила ярко, знакомо, осветив всё вокруг. Или это в слезинке, как в увеличительном стекле, прошлое обозначилось, изогнулось. *Ich liebe mein Fraulein nur dich...* Я люблю, моя девочка, только тебя...

*

Leider, ich leide nicht heute (Ляйдер, ихь ляйдэ нихт хойтэ), К сожалению, я не страдаю сегодня,

Liebe mein Fraulein. (Либэ майн фройляйн). Дорогая моя девушка.

Die Leute (Ди лёйтэ) Люди

Spazieren oder laufen leicht. (Шпацирэн одэр лауфэн ляйх). Гуляют или бегут легко.

Ich weiss, dass ich bin reich. (Ихь вайс, дас ихь бин райх). Я знаю, что я прав.

Ich rufe: «Es lebe die Liebe!». (Ихь руфэ: «Эс лэбэ ди лиэбе!»). Я кричу: «Да здравствует любовь!».

Das Leben macht das Licht. (Дас лэбен махт дас лихт). Жизнь зажигает свет.

Ich schreibe heute die Lieder. (Ихь шрайбэ хойтэ ди лиэдер). Я пишу сегодня песни.

Ich liebe mein Fraulein nur dich... (Ихь лиэбе майн фройляйн нур дих)... Я люблю, моя девушка, только тебя...

Ноша

Тяжело на Руси с пьянством бороться. Как только ни искореняли, ничего не помогает. А дед Артём единственный на селе не пил. Так, чуть-чуть пригубит и всё. К нему давно уж не приставал никто, не дразнил. А раньше, по молодости, и побить мужики могли, особенно когда особо словоохотливые жёны его в пример своим мужьям ставили. А ведь причина была: не в наследственности, не в родительском воспитании — война. Мальчишка белобрысый Артёмка, очкарик со школьной скамьи, прибыл на фронт в составе таких же новобранцев, как он. Патриотизмом горели, на фронт едучи, а приехав, испугались, увидев грязные шинели, обувки рваные да глаза уставшие. Сидели бойцы в окопе, ложками по котелкам стучали, из которых еле заметный парок шёл. Окидывали молча взглядом — и дальше за дело. Артёма с матерящимся сержантом в штаб отправили, какие-то бумаги надо было срочно с немецкого языка перевести; он один мало-мальски помочь мог, других не оказалось. Помощника командира накануне убили. Сержант есть хотел, зло плевался, дорогу показывая. Понял, что придётся всё-таки чуть ли не за ручку вести. Пошли. Вдоль дороги бойцы сидели, а поодаль, у орудия, пьяный солдат песню орал. Единственный живой остался из всей своей роты, простительно, никто ему не мешал, но и к песне не присоединялся. Всяк горе посвоему переживает. А на войне его хватает с избытком. Каждый день. Не успеваешь привыкать. Артём невольно отшатнулся, а потом и вовсе на другую сторону дороги перешёл, пока сержант к бедолаге с фляжкой своей двинулся. Мог бы следом отправиться, нет. Сам не понял, чего уж так побрезговал, не стесняясь, то ли неприятно стало от картины безысходной, то ли от всего увиденного, с юношеским задором не совпавшего, то ли запах сразил... Внезапный, случайный снаряд ударил, в воронку стерев и сердобольного сержанта, и солдата, и орудие. С тех пор не может Артём, дед уже, пить спиртного. Не зря же его тогда Бог отвёл. Зачем-то в живых оставил?

Отец отца

Эту историю рассказал мой отец. Ему было лет пять, заканчивалась, но ещё шла Великая Отечественная война. Отец моего отца был на фронте, а мой отец, тогда ещё не отец, а мальчик, жил со своей матерью у родственников в алтайской деревне.

В тот день на часах было не так много времени, но уже начинало мгновенно темнеть, словно белая роза сменялась на чёрную, — и тень от её лепестков, ещё более тёмная, пластом упала на земную карту, из-за чего быстро вечерело, словно мальчик стремительно старился и мог бы в скором времени умереть, если бы немецкие самолёты сумели долететь до Алтая и сбросить бомбы, сделав дыру в карте на месте этой небольшой деревеньки.

Мальчик находился дома один, в комнатах становилось темно и даже страшно, как вдруг он услышал негромкую, необычную музыку. Осторожно встав на пол, паренёк тихо направился по направлению звучания, и вошёл в соседнюю комнату, где на прикреплённой к стене доске стояла небольшая икона.

Именно из иконы, словно из репродуктора, доносилась музыка. Икона пела, лучилась звуками и отгоняла от мальчика все страхи, словно лёгким прикосновением сдувала с него чёрную пыль, пепел войны, как будто снимала с него порчу — упавшие на страну, а вместе со страной и на него, проклятия.

Музыка явственно шла от иконы — и, не поверив, мальчик скорее вышел из комнаты, а затем выбежал из дома, надеясь, что музыка принадлежала улице. Но на улице стояла тишина. Вновь зайдя в дом, паренёк снова услышал

дивную мелодию, которая явственно веялась от иконы, как если бы она мироточила — и от появляющихся капель источался бы аромат. И эти ароматные капли вдруг преобразились бы в музыку, словно глаза и нос превратились в уши, — и слышал мальчик тихую, светлую игру, нежную и напоминающую радостную радугу, из которой можно было бы получить разноцветную мармеладину, никогда ещё этим мальчиком не виденную.

Икона пела минут пять, а потом замолчала и вновь прикинулась неживой, деревянной. Когда поздно вечером вернулись взрослые, мальчик рассказал им о случившемся чуде. Взрослые, услышав рассказ о поющей иконе, не удивились, а встали перед ней в ряд и начали молиться.

Недели через две после этого происшествия на отца моего отца пришла похоронка — и мальчик решил, что его дед, отец отца, когда был убит, то в этот момент не умер, а думал о сыне и даже спел ему песню, когда сам через божий громкоговоритель передал сообщение про себя, солдата. Через икону передал он песню, словно он своего на этот раз спасовавшего ангела-хранителя напоследок попросил для сына спеть, перед смертью попросил показать сына, и в икону, словно в открывшееся окошечко, на мальчика смотрел, пока тот возле окошка-иконы стоял, музыкой замороженный.

Николай Хоничев

Синюха

Цветы синюхи хороши.
Их тьма — больших и малых.
Растает сердце невзначай
От голубой струны.
Сверкают капельки небес
В лазоревых бокалах.
А судьбы в небесах видны
И Томска, и страны.

Война. И в поисках лекарств
Настойчивые тропы.
Синюха, что несёт покой
И утоляет боль...
Один из тех профессоров,
Что изучали травы,
Совсем недавно из тюрьмы
Был выпущен домой.

И через круглые очки,
Счастливо и устало,
Профессор видел, как в судьбе
Разъялся страшный круг.
И небо мудрое над ним...
Синюховое... пело,
И золотой тычинкой луч
Сочувствовал, как друг.

* * *

О чём-то говорят, свисая с крыш, сосульки,
На озере грустит и тихо тает лёд.
А в доме номер пять, в Кустарном переулке,
Прабабушка моя поклоны ночью бьёт.

А утром — снова бьёт, перебирая чётки.
Внук с внучкой — на войне. И оклеветан зять.
И приговором путь безвинно перечёркнут.
Но, может быть, тюрьма вернёт его назад.

Такие времена, что ложь остра, как бритва.
И корчится страна от беспросветных мук.
Сгибается спина — и звёздочка молитвы
Летит под Сталинград, где исчезает внук...

Прабабушка не зря по сто поклонов била
И верила в свою счастливую звезду.
Хоть внучку у войны, у Бога отмолила.
А зять расстрелян был в тридцать восьмом году.

Корольков
Михаил Алексеевич

1916—1944

О существовании этого человека я узнала совершенно случайно. Осматривала во время велопохода кладбище исчезающей деревни Милоновка (Воронинское СП Томского района). Как известно, погосты — самый доступный архив любой деревни. Хожу меж разновременных надгробий и заброшенных могил, и вдруг резануло. На синенькой пирамидке под крестом двойное фото: солдат в пилотке и гимнастёрке без погон и маленькая девочка с огромными печальными глазами. Подошла поближе — табличка тоже двойная. Отец и дочь. Девочка Рита родилась в марте 1942 и ушла в ноябре 1944. Отец — Михаил Алексеевич Корольков, самого призывного возраста, 1916 года рождения, дата смерти — 1943 год...

Первая мысль — что солдату, погибшему в разгар Великой Отечественной, делать на глубоко тыловом кладбище? Сразу выстроила несколько версий: либо израненный вернулся, да уже на родной земле умер, либо — могила невесты где, родные устроили памятник тут. Потом уже, сопоставляя дату рождения девочки с событиями недоброй памяти 1941 года, понимаю: отец никогда не видел своей дочери. А девочка, зачатая в последние мирные дни, никогда не знала мирной жизни. Женской могилы рядом нет — неужели жена ещё жива? Или уехала из бесперспективной деревни в город?

Почему-то я не смогла забыть об этом человеке, так всё и думалось о нём. Подруга посоветовала проверить судьбу Михаила Королькова по «Книге памяти». Точно, есть такой. Призванный в 1941 году Туганским РВК рядовой Корольков пропал без вести в мае-июне 1943 года. Вот и ответ на вопрос о происхождении странной могилы.

Но кто бы мне ответил, почему я всё продолжала думать об этом совершенно чужом для меня человеке? Таких вот рядовых было много на той войне. Не надо далеко ходить, довольно свою семью вспомнить. Мой дед Николай Александрович Громов погиб под Старой Руссой, отчим моего отца Александр Дмитриевич Назаренко и дядя моей мамы — Устимов Николай Иванович — без вести... Поговаривали, что Устимов жив, даже возвращался на родину, но постеснялся показаться на глаза своему брату, моему деду. Тот младших братьев при отправке на фронт напутствовал коротко: «Поймёте, что попадёте в плен, — стреляйтесь. Лучше смерть, чем плен»...

Но вот не выходит из головы человек, о котором я и знаю всего ничего. Какой он был до войны? Где воевал? Что стало с ним летом 1943 года?

На одной из районных школьных конференций выступали ребята из Кожевниковской средней школы № 1. Их музей «Альтаир» проводит поиски сведений о солдатах Великой Отечественной, пропавших без вести. Я попросила поискать информацию и о своих пропавших. Они ничего не обещали, но данные взяли. Спустя несколько месяцев — поздний звонок от руководителя, Светланы Добровольской...

— Я ничего нового не могу сказать о судьбах ваших близких. А вот о Королькове кое-что есть. Вы знаете, что он — кавалер ордена Отечественной войны II степени? Даже известно, когда и за что он его получил. Материалы высылаю...

В письме — такие важные для меня сведения. Жил он не в Милоновке, а в посёлке Первомайском, недалеко от деревни. Рядовой, стрелок. Последнее письмо было в марте 1943 года... Полевая почта 22136. Его маму звали

Ульяна Семёновна, и известить её надлежало в с. Семилуженском. Это в 7 километрах от Милоновки.

Но самое главное:

Приказ 13 /н от 30 марта 1944 года. (Обратите внимание на дату!)

«Неоднократно раненный в боях с немецкими оккупантами тов. Корольков продолжает с честью выполнять боевые задачи. В бою под Синявино Мгинского р-на Ленинградской обл. 2.9.42 года, несмотря на полученное ранение, продолжал выполнять боевую задачу. В бою 17 и 18.2.44 года под д. Медведь Ленинградской обл., находясь с пушкой прямой наводки, первым обнаружил дзот противника и метким огнём уничтожил его, что обеспечило захват опорного пункта противника». И — да, удостоен высокой награды.

Но на памятнике-то стоит другая дата — 1943 год. Полно, он ли это? И почему в документах военкомата... кстати, какого они года? 1947, послевоенные... А всё же, если это правда он, — насколько приятно осознавать, что Михаил Корольков был достойным бойцом!

Иногда судьба играет с нами в странные игры. Я сменила работу и занялась сбором информации о потомках столыпинских переселенцев, живущих на томской земле. В 1911 году на месте Милоновки были хутора белорусских крестьян-переселенцев, в основном из Могилёвской губернии, которые прибыли сюда в годы столыпинской реформы.

Первая же встреча с потомками жителей Милоновки дарит интересные сведения. Лидия Ивановна Белик принесла в наш музей фотографии своих родственников и вещи, вышитые «тётей Маней».

Я спросила о Королькове — кто устроил могилу, есть ли у него другие дети?

— Так это та самая тётя Маня Слепакова сделала, жена его. Других детей у неё не было. Тёти Мани уже нет. Племянница за ней ухаживала. В Северске живёт. Хотите адрес?

Я уточняю, была ли тётя Маня замужем вторично, раз она Слепакова, а не Королькова.

— Нет! Это дочка Евмена Афанасьевича Слепакова, вы его могилу видели. Она официально с ним не была расписана, но в Милоновке это случалось часто.

— А почему замуж вторично не вышла? Молодая, детишек уже нет...

— Так уж любила. Кстати, вот это военное письмо — это он тётё Мане писал.

На письме стоит дата — 14 февраля 1944 года. Как раз перед теми самыми боями, за которые удостоен он высокой награды. Значит, это в списках пропавших без вести ошибка. Кто знает, может, в очередной канцелярской суете последнее письмо, написанное в 1944 году, превратилось в письмо, полученное в 1943. Никто и никогда не застрахован от описки, особенно если пишешь много и информация однообразна. Но родным-то не всё равно! Ещё раз осматриваю копии документов. Оказывается, Мария Евменовна обращалась с просьбой уточнить дату, и даже резолюция красным карандашом в углу, что пропавшим без вести Королькова М. А. надо считать с 1944 года.

Пробиваю по адресу полевой почты со штемпеля письма воинское подразделение. Да, куда был призван, там до той роковой даты и служил... 119 стрелковый корпус 56-й армии Ленинградского фронта. Заглядываю в историю воинского подразделения — в 1943 году период с апреля по июнь был спокойнее, чем в 1944, когда она оказалась задействована в неудачной операции под Псковом.

Встречаюсь с Маргаритой Ивановной Марининой, в девичестве Барыгиной, племянницей Марии Евменовны Слепаковой. Узнаю, что опоздала я на какую-то пару лет — ещё недавно была жива и сама тётя Маня. Она бы, конечно, больше рассказала о Михаиле Алексеевиче. Но уже не спросишь.

Тем не менее, среди того, что запомнила Маргарита Ивановна, есть немало сведений, которые помогают мне узнать о Михаиле Алексеевиче больше.

— Не знаю, почему они не расписались, — говорит Маргарита Ивановна, — неужели так уж некогда было?

Потом, уже после войны, пришлось в судебном порядке доказывать брак.

Показывает документ. В постановлении суда установлено, что имели место фактические брачные отношения Марии и Михаила с 1939 года по 1941.

Причин может быть несколько. Во-первых, в то время многие люди, сыграв свадьбу по обычаю, не спешили закрепить отношения официально: церкви закрыты, сельсовет не воспринимается как нечто обязательное. С другой стороны, в семье Марии Евменовны уже был случай неудачного союза такого рода. Её старшая сестра Екатерина сошлась с красивым, но непутёвым парнем. Отец, Евмен Афанасьевич Слепаков, браку решительно воспротивился. Женщина сперва ушла к мужу, но в той семье не зажила. Дома её с ребёнком тоже постоянно попрекали. В результате несчастная Екатерина подалась на лесозаготовки, и там простыла. Ей не было и 26 лет, когда она умерла. А непутёвый муж её вскоре сел за разбой и убийство.

У Михаила Королькова репутация была другая. По смутным сведениям, он одно время возглавлял колхоз. Правда, недолго, после начала войны и до того, как его самого призвали в армию в августе 1941 года. Но он был комсомолец и в бога не веровал. А Евмен Слепаков, напротив, был набожным человеком. В общем, ещё одна дочка пошла против воли отца, но тот со временем смирился и союз таки признал. Гордая Мария в эту пору укладывала волосы по-бабьи и временами подписывалась не Слепаковой, как во всех документах, а Корольковой. «Он был спокойный и непьющий», — подытожила Маргарита Ивановна. И, посмотрев на меня, вдруг спросила: «А может, он жив остался? Хотя нет, он бы не бросил тётю Маню. Разве что такой оказался, что калека, всем в обузу».

Я киваю и рассматриваю фотографию, на которой деревенский парень и счастливая женщина ещё не знают, что будет война. У парня на пиджаке комсомольский значок.

Неверующий был. Наверно, религиозной Марии Евменовне было трудно это принять. Она и потом всё вспоми-



Михаил Алексеевич Корольков с женой, Марией Евменовной Слепаковой. 1940—1941 гг. Из личного архива М. И. Марининой.



«Мой милый, если б не было войны...» Послевоенный коллаж, заказанный М.Е. Слепаковой. Из личного архива М.И. Марининой.

нала: когда их с Иваном Слепаковым призывали, матери вынули из сундуков иконы, просили поцеловать. Иван согласился, Михаил отказался наотрез. «Слепак вот икону поцеловал, и, хоть раненый, но вернулся. А мой...» — подытоживала горько тётя Маня, рассказывая эту историю. Ей очень хотелось узнать, где он похоронен. Писала в архивы, искала, но безуспешно.

Маргарита Ивановна бережно расправляет письма:

— Было больше, но осталось всего два. Отдала в какой-то школьный музей, а потом уже не помнила, в какой.

В первом письме, 1942 года, упоминается о деньгах. Как выяснилось, отправлены они были на имя Корольковой М. Е., которая по всем документам была всё же Слепакова. Зато на почте работала Королькова М. А., сестра Михаила. Дальше продолжать не буду, вы сами догадались, что случилось с деньгами.

Отношения с семьёй мужа у Марии Евменовны были далеко не благополучные, и потом, жалуясь на свекровь, вспоминала Мария Евменовна и про эти деньги. Может, оно и лишнее — но мне дорога каждая мелочь в биографии Михаила Алексеевича и его близких.

Ещё фотографии. На них Михаил Корольков в Омском военном училище. И в гимнастёрке рядового, и с сержантскими треугольниками.

Послевоенные фотоколлажи царапают душу. Мария Евменовна больше замуж не пошла. Но она точно знала, как должна была сложиться её судьба. И в фотомастерских несчастная женщина заказывала фотографии, на которых запечатлевала ту жизнь с любимым мужем, с дочкой, которую не успела прожить. Вот Михаил Алексеевич уже в костюме и с галстуком, а Мария Евменовна в платье с кружевным воротничком и с модной в послевоенные годы причёской. Михаил Алексеевич ничуть не переменился, а вот Мария Евменовна выглядит старше. Была ещё одна фотография. Там между родителями сидит дочка Рита. Эту фотографию Мария Евменовна попросила положить с собой в гроб.



Мария Евменовна Слепакова с дочкой Ритой и сестрой Таисьей.
1943 г. Из личного архива М. И. Марининой.



На обороте фотографии —
надпись, сделанная
М. Е. Слепаковой
в день смерти
Риты Корольковой:

*«Умерла Рита. 8 ноября
7 часов вечера 1944 года.
День был суббота,
было ей время
всего 2 года с половиной.
Королькова
Маргарита Михайловна».*

Могила
Михаила Алексеевича
и Маргариты Михайловны
Корольковых.
Фото О. С. Асратяна.
Милоновка, 2013 год.

Эх...Останься её дочка в живых, смотреть на эти коллажи было бы легче.

Рита, Риточка, Маргарита Михайловна Королькова, ребёнок с печальными глазами. Девочка, которой не довелось узнать, что значит «нет войны». Есть другая фотография — малышка, похожая на чахлый цветочек, пробившийся сквозь утоптанную землю, стоит между мамой и тётёй Таисьей. На обороте надпись: «Умерла Рита 18 ноября в 7 часов вечера 1944 года день был суббота было ей время всего два года половиной Королькова Маргарита Михайловна». В этих расплывающихся строчках, в испуганной растрёпанности фраз столько горя. «У неё слегка повысилась температура. Тётя Маня пошла в больницу. А Рита там прыгала-скакала. Их и развернули: «Сумасшедшая мамашка, здорового ребёнка принесла». Пришли домой, а у неё жар, и плёночками её задавило», — рассказывает Маргарита Ивановна много раз слышанное от тёти Мани.

Был ли в это время жив Ритин отец? И если был — то где? В госпитале? В немецком плену? А если погиб — когда, где? Почему не значится в списках убитых? Или его просто не нашли на поле боя в военной неразберихе? Или второпях похоронили, забыв справиться по документам? Или... версий много, и ни одного доказательства в пользу любой из них!

— А орден... Вы знали, что он был награждён?

— Да, тётя Маня говорила. Орден остался у его мамы, Ульяны Семёновны. Если его братья или сестра его сохранили, то он в семье. Но я о его родственниках ничего не знаю.

Могила Михаила Алексеевича Королькова не найдена. Мы с Маргаритой Ивановной снова составили запросы, приложив к ним новые сведения. Покуда вестей нет.

Маргарита Ивановна продолжает поиски как дань памяти Марии Евменовне, любимой тёте. Но и моя судьба почему-то сплелась с судьбой пропавшего без вести солдата. И пока ещё не отпускает.

Почему? Что-то я должна этому человеку. Должна за то, что благодаря таким вот солдатам я выросла в спокойном



Михаил Алексеевич Корольков (справа) с боевым товарищем.
Омск. 1941 год. Из личного архива М. И. Марининой.

Копия 14.5.41
Здравствуй, моя родная!
Моя семья, мои и все родные
здоровы и счастливы. Дом твой
Корольков, и я очень люблю
тебя и желаю тебе и всем твоим
близким здоровья и счастья. Вспомни
меня и от всех твоих близких
приветствую. Все благополучно.
Чтобы ты не забывала меня и
всегда была счастлива. Твой
Михаил. Это письмо можно
показать твоим близким. Оно
для тебя. Когда ты получишь
его, то обязательно напиши
мне. Я очень хочу узнать
все. Твой Михаил.

Михаил
Тран
Скучно
Самый лучший
Скучно
Михаил
Корольков
Получено 14.5.41
Копия
Моя семья, мои и все родные
здоровы и счастливы. Дом твой
Корольков, и я очень люблю
тебя и желаю тебе и всем твоим
близким здоровья и счастья. Вспомни
меня и от всех твоих близких
приветствую. Все благополучно.
Чтобы ты не забывала меня и
всегда была счастлива. Твой
Михаил.

Письмо с войны.

и благополучном мире. Разумеется, слова, затёртые от многократного употребления, но ведь именно так!

Но что я должна ему? Может быть, всё же обнаружится могила, или хотя бы прояснится судьба? В 2013 году нашлось место, где похоронен мой погибший в 1943 году дед. Может, и этому солдату великой войны повезёт?

А может, я просто должна сказать: жил на свете такой человек, Михаил Алексеевич Корольков. Он не хотел быть солдатом. Но началась война, и он делал своё дело по-крестьянски добросовестно. В 1944 году он пропал без вести. Не его вина, что скоро уйдут все люди, которым он был дорог.

Светлая ему память.

Письма

Михаила Алексеевича Королькова с фронта.
(Орфография и пунктуация сохранены)

1.

Писал 12 VII 1942 года.

Привет с фронта Здравствуй Мария Евменовна и доч Рида Папаша и мамаша а также Настя и Надя и Нюра и Сережа Шура с приветом к вам всем Корольков Михаил А.

Я пока нахожусь жив и здоров чего и вам желаю желаю в вашей жизни и успехах. Письма я от тебя получил которое писала Настя 12 VII 42 г закоторое я вас несколько раз благодарю что вы про меня не забываете. Маня ты пишешь насчет денег — я мог бы выслать. Но я уже 700 руб высылал но от (зачеркнуто) тебе 300 руб и своим 400 руб. Но ни от кого нет никакого известия получили вы их или нет. Сестренка Маня пишет что они не получали ни каких денег и ты тоже писала в (пропуск, видимо, «в письме») что не получала ни каких денег то мне охото

знать точно ли это если это в самом деле так то у меня даже сомнение берет не ужели эти деньги пропали ни кто их не получили ни кто если получила то сообщи мне а так я боюсь высылать чтоб опять и эти деньги (не пропали) если ты мне не вериш что я тебе высылал 300 руб то я в следующем письме могу выслать ту квитанцию на 300 руб но ладно Маня сейчас я сообщу как я поживаю я пока нахожусь на тем же направлении около Новгорода бои идут каждый день сильные с обеих сторон но со мной пока все благополучно не знаю как дальше будет Кормят хорошо и также табаку дают а больше ничего не надо но только одно я маленько стал на уши туг от выстрелов Артиллерии и т д. но это все ни чего живой вот буду то все заживет.

Но ладно Маня сейчас я буду у тебя спрашивать какой нонешний год урожай хороший или плохой как яри и также озимый и как идёт работа в колхозе и кто с муж(чин) остался дома как в вашем колхозе так и в нашем к-з пиши нам как вы посадили чего или нет ну ладно маня на этом я заканчиваю писать своё письмо передай свой пламенный привет ж. Мане доч(ери) Риде папаше и мамаше Насте Наде Нюре Сереже и всем родным и знакомым не (неразборчиво, видимо «не обижайтесь» или «не обессудьте») что мало написалось и должна понять как на фронт(е) (неразборчиво) Пиши почаще письма тоже буду писать о чём пока могу жму руку Маня и (неразборчиво) М. Корольков 13 VII 1942 г

2.

«Писал 14 II 44 г.

Привет с фронта

Здравствуй многоуважаемая моя моя (так!) жена Маня и доч Рита и тд. с приветом к вам ваш муж Корольков М я пока нахожусь жив и здоров чего и вам желаю в вашей жизни и также здоровья Маня я от вас письмо получил за которое я вам благодарен что вы меня не забываете я тоже не забуду пока жив буду

Маня, ты обижаешься на мою мать, что она плохо помогает Ладно Маня живи пока как. бо я жив буду тогда сам разберусь кто прав кто виноват а сейчас некогда разбираться я пока ещё живой здоровья моё не голосу нет сов(сем) разговариваю только шепотком так же руки болят и плохо слышу калека кругом и то духом не падаю. Маня я тебе высылал 550 руб как получишь то собщи мне

Пока у меня все дос(...) пишу последнее письмо пойду в бой не знаю что получится ранят или убьют Извиняйся (?) что плохо писал торопился досвидания передай привет папаше и мамаше и также всем Корольков»

Николай Хоничев

Кровохлёбка

Торя к Победе крохотную тропку,
Искали дети, да во все глаза,
Траву красноголовник-кровохлёбку,
Что может кровь остановить-связать.

С сердцами золотыми, с жизнью нищей...
И мама с ними... — ту траву в лесах.
Её копают вместе с корневищем,
Используя потом в госпиталях.

Красноголовник мама собирала,
Чтоб отцвела кошмарная война,
Чтоб кровохлёбка кровь бойцов вязала,
И раны заживали бы до дна.

Я сам студентом травку эту ловко
Копал, сушил — в гербарии хранить.
Но где найти такую кровохлёбку,
Чтоб в новых войнах кровь остановить?

Содержание

Сергей Заплавный. Парад победителей	3
Давид Лившиц (1911—1964)	
«Ты принесла букет лесных гвоздик...»	4
Солнце	4
Руфь Тамарина (1921—2005)	
Фронтная ночь	6
Михаил Карбышев (1922—2007)	
Деревянный ковшик	7
Отец жалел коня... ..	8
Поводырь. Поэма	9
Вадим Макшеев (1926 г. р.)	
Мост	16
Тоня, Антон, Антонина Дмитриевна... ..	21
Лев Пичурин (1928 г. р.)	
Наш генерал	38
Эдуард Бурмакин (1929 г. р.)	
Галина-Мандолина	56
Борис Климычев (1930—2013)	
Венера	85
Зеркала	85
Цирк 1943-го года	86
Валентин Решетько (1936 г. р.)	
Вернулся... ..	88
День Победы	101
Вениамин Колыхалов (1938 г. р.)	
Из книги «В снегах глубоких»	116
Надпись на могиле солдата	137

Штрафники	137
Ты не плачь, Ярославна.....	138
Рассказ гвардейца	139
Память.....	140
Рождённая в повозке	140
Золотая свадьба	142
Вечный огонь.....	143

Тамара Калёнова (1941 г. р.)

Тыловой город.....	144
--------------------	-----

Владимир Шкаликов (1942 г. р.)

Первый	175
Почтовый ящик.....	178
Отец.....	182
Парад Победы.....	183
Посвящение ВВС (Сон).....	185

Сергей Заплавный (1942 г. р.)

Четырежды воробей	186
Душа сражения	201
Обелиск.....	227
Генка.....	228
Баллада о художнике и соловье	230
Торговый праздник в Нюрнберге	232
У Вечного огня.....	233

Владимир Бельчиков (1944—2011)

«Шаг атак...»	235
Юность.....	235

Валерий Сердюк (1945 г. р.)

Сон.....	237
Дом Павлова в Волгограде.....	238
Присяга	239
На марше.....	240
Минута молчания.....	240
Наш взвод поёт «Бородино»	240

Владимир Крюков (1949 г. р.)

Как лошадь тонула, как цыганка гадала	242
Мои фронтовики.....	245

Геннадий Скарлыгин (1950 г. р.)

Дед	253
Фронтовики	253
Калина	254
«Затосковала мать по сыну...»	255
Крым	255

Сергей Яковлев (1950 г. р.)

На войну	256
Шальная пуля	257
Вдова	257
Горе	258

Александр Казанцев (1952—2007)

Детство мамы	259
Старуха	259
В крайней избе у реки	260

Леонид Шелудько (1952 г. р.)

Седой	261
«А пуля летела...»	261
Русская судьба	262
Солдаты	262
Мститель	263

Николай Серебренников (1954 г. р.)

Письма моего отца	265
-------------------------	-----

Александр Панов (1956 г. р.)

«Я слушал землю, лёжа на земле...»	274
«Кони в лентах. Выбора!..»	274
«Я ещё на заречном лугу...»	275

Александр Цыганков (1959 г. р.)

Вершина	276
Часовой	276
Зарево	277
Солярный знак	277
Северное сияние	278

Елена Кириллова (1959 г. р.)

«Холодная магия слова...»	279
---------------------------------	-----

Сергей Максимов (1959 г. р.)	
Солдату Николаю Асадчему	280
Солдатская песня	280
Ведущий-ведомый	281
Валентина Чубковец (1960 г. р.)	
Мамбаба	284
Подвиг	288
Ирина Неклюдова (1960 г. р.)	
Лагерный сад в Томске	290
«Светлый праздник — Девятое мая!..»	290
Первая фотография	291
Китель	292
Слёзы	297
Немец	298
Ноша	301
Олег Лапшин (1963 г. р.)	
Отец отца	302
Николай Хоничев (1964 г. р.)	
Синюха	304
О чём-то говорят, свисая с крыш, сосульки,...».	304
Татьяна Назаренко (1970 г. р.)	
Корольков Михаил Алексеевич	306
Николай Хоничев. Кровохлёбка	
319	

Литературно-художественное издание

Путь памяти

*Томские писатели
о Великой Отечественной войне*

Редколлегия сборника:

Г. К. Скарлыгин

Т. Ю. Назаренко

А. И. Панов

С. К. Яковлев

В. М. Решетько

Н. В. Хоничев

Редактор-составитель *Н. В. Хоничев*

Технический редактор *А. Р. Рубан*

Корректор *И. А. Сердюк*

Издание Томской писательской организации.

Отпечатано в ООО «Томская полиграфическая компания».

Подписано в печать 25.02.2015 г. Печать офсетная.

Формат 130×200 мм. Шрифт Cambria.

Усл. печ. л 15,6 Уч.-изд. л. 11,98. Тираж 1 000 экз.

